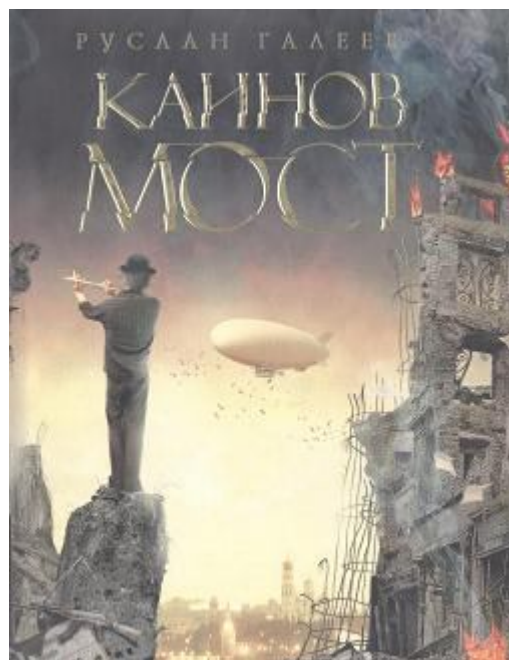


Руслан Галеев Каинов мост



Mazay (dr_mazay@mail.ru)

«Каинов мост»: Астрель: Литпром; Москва; 2008

ISBN ISBN 978-5-903873-02-9

Аннотация

Действие романа разворачивается в Москве будущего посреди хаоса и всеобщего отчаяния. Руслан Галеев — тонкий психолог и отличный рассказчик, до самого конца книги не дает ответа на вопрос, кто из ее героев положительный, а кто — отрицательный. Автору важно другое: каждый из нас однажды делает самый важный выбор в жизни. И от этого зависит, сумеем ли мы спасти цивилизацию или сами превратимся в чудовищ...

Моим друзьям: Евгении, Андрею и Павлу

Круг первый КУРЬЕР

I.1

Пластиковый конверт с документами был передан человеку с незапоминающейся внешностью, человек растворился в серой дымке провинциального городка-спутника, город-спутник переместился за окна плацкартного вагона, а вагон под вопли раненых слонов двинулся в сторону Москвы. Работа сделана, день прожит, деньги перечислены. Мы возвращаемся вдвоем, я и Черчилль. Матрица накладывается на матрицу, круги на воде слишком похожи один на другой, а любая опасность, становясь привычной, превращается в рутину. И все же мы возвращаемся, и это единственное, что имеет значение.

Хотя Черчилль, наверное, не в счет, ведь он из тех, кого вроде бы нет. Я хочу сказать, что места он не занимал, денег на билеты не тратил, не пил в купе чай со вкусом недавно постиранного белья, и так далее и тому подобное. С точки зрения проводника Черчилля не было. С точки зрения большинства других людей — тоже. Черчилль был моим

дополнительным шансом.

Минут через пятнадцать после того как поезд, вздрогнув всеми членами своего стального тела, отошел от тамбовской платформы, я закинул полупустую сумку на третью полку, переложил сигареты и документы в карман рубашки и собрался было выйти в тамбур, но заметил приближающегося проводника. Он был похож на снулую крысу, носил квадратные очки и неопрятную бороду. Кроме того, на нем был потрепанный, весь в катышках синий китель. Я заплатил за белье, попросил один стакан чая и отправился в тамбур. Терпеть не могу путаться под ногами у расстилающих белье пассажиров. Черчилль потащился со мной. Разумеется.

— Ты много куришь в последнее время, — заметил он, когда мы проходили туалетный предбанник, но там стояла какая-то молодая мамаша с ребенком, и я не стал отвечать. Ведь она могла решить, что я разговариваю сам с собою. Не хотелось выглядеть идиотом в чужих глазах. Если бы не ребенок, она показалась бы мне очень симпатичной девчонкой, а я, в частности, ненавижу выглядеть идиотом в глазах симпатичных девчонок. Несмотря на ее маленького спиногрыза, который проводил меня взглядом голодного аллигатора.

Зато в тамбуре никого не было, и я прошептал:

— Слушай, ты опять за свое? Это ведь Я курю, понимаешь, я. Какое тебе до этого дело?...

— Мне все равно, куришь ТЫ или нет, — равнодушно ответил Черчилль, — но меня не прельщает перспектива слинять из-за тебя раньше срока. Понимаешь?

— Слушай, я просто решил выкурить сигарету. Просто. Решил. Выкурить. Сигарету. Я.

— И что это меняет? — Черчилль любил уточнять с ехидной, всегда бесившей меня усмешкой. Вот и теперь он усмехнулся и повернулся ко мне боком, так что я смог разглядеть ножны черного вакидзаси и жесткую серую шерсть на короткой шее.

— ОК, это ничего не меняет. Теперь просто постарайся помолчать, ладно? Дай мне спокойно покурить. Сделай вид, что тебя нет, тем более что тебя действительно нет...

— Это спорный вопрос. — Черчилль умел быть настоящим занудой.

В нашей перепалке не было ничего особенного. Мы частенько цапались с Черчиллем. У него были свои взгляды на жизнь, у меня — свои. В детстве нас воспитывали разные родители и по телевизору мы смотрели разные мультфильмы. Обычное дело. Не думаю, что Черчилль обиделся, к тому времени он знал меня едва ли не как себя самого. А я был не самой комфортной личностью в плане общения. Да и чтобы пронять Черчилля, требовалось много больше, чем банальная просьба заткнуться. Поэтому я молча вывел на покрытом изморосью стекле слово «Х...Й» и не подумал извиниться. Хотя, наверное, стоило бы...

— Ты когда-нибудь слышал о Слепом Стороже Пристани? — заговорил Черчилль, когда моя сигарета истлела почти наполовину.

— Нет. Кто это?

— Ну... — Черчилль пожал плечами, — неважно. Он тоже жил в другом месте и в другое время.

— Что ты говоришь? — Почти все истории Черчилля происходили в другом месте и в другое время. — И ты, конечно, не скажешь мне, где это, а?

— Не скажу. Тебе интересно про Сторожа или снова сделать вид, что меня нет?

За окном плыли неприятные сумерки непонятного времени года. Одним словом, межсезонье. Смутное время. Ржавчина. Окно было грязное.

— Рассказывай...

Мало кто знал, что Сторож Пристани был слепым. По крайней мере, по представлениям большинства людей это принято называть слепотой. Люди таковы, каковы они есть, им на все хочется навесить ярлык, и все ярлыки у них далеко не первой свежести.

Но еще меньше людей знало о том, что у Слепого Сторожа Пристани был дополнительный шанс. Про это как-то не принято говорить, понимаете? К тому же в том времени и в том месте наличие дополнительного шанса считалось признаком вырождения,

чем-то вроде болезни крови или врожденного уродства. В общем, Слепой Сторож Пристани не особенно этот факт афишировал, хотя на медицинском осмотре при приеме на работу был вынужден о нем сообщить. На него посмотрели косо, но тем не менее взяли.

Так вот, у Слепого Сторожа Пристани были плохие отношения с его дополнительным шансом. Они все время ссорились, иногда не разговаривали месяцами. Старались все делать назло друг другу, словно престарелые, до ужаса надоевшие друг другу супруги. И как-то раз дошло до того, что Слепой Сторож Пристани сбросился с крыши пятиэтажки — только чтобы избавиться от надоевшего дополнительного шанса. А на следующую ночь Слепого Сторожа Пристани сожрала Большая Мурена. Мораль проста: никогда не знаешь, что тебя ждет, понимаете? А раз так — семь раз отмерь, один раз — сбрасывайся...

Но Сторож не погиб. Большая Мурена просто срыгнула его на пристань и сказала, что с этого момента не будет у него ни прошлого, ни будущего. Только ожидание на пустой пристани и слепота. Так и случилось.

— Ну, и к чему ты это рассказал? — спросил я, вминая опаленный фильтр в брюхо пепельницы. — То есть история занятная, не спорю, но ты же не просто так ее рассказал, да?

— Вроде того, — кивнул Черчилль, вглядываясь в сумерки за окном. Шерсть на его загривке отливала серебром с примесью все той же ржавчины. — Шансом Слепого Сторожа Пристани был я. Это от меня он избавился тогда. Я пытался помочь ему. Так же, как и тебе. Но дело, если честно, не в этом. Просто мне нужно было тебе об этом рассказать, а тебе не стоит забывать про Слепого Сторожа.

— Ах, ну да, мораль всегда полезна и так далее.

— Нет. Мне плевать, запомнишь ты, о чем эта история, или нет. Главное, просто помни про Слепого Сторожа. Когда-нибудь тебе понадобится помощь, и...

Если бы я знал в тот момент, о чем говорит Черчилль... Но я даже не догадывался и потому понял его по-своему.

— Черчилль... Понимаешь, я вовсе неуверен, что мне нужна помощь... Но и расставаться с тобой я не собираюсь. Кто будет держать меня в курьерах, если я останусь без тебя? Но я отнюдь не воспринимаю тебя как возможность...

— А разве ты можешь знать наперед? — перебил меня Черчилль. — Разве ты умнее Слепого Сторожа Пристани? Как бы мы ни относились друг к другу, что бы ты ни говорил, но я именно возможность. А все остальное — довесок за счет заведения.

— И все равно ты напрасно читаешь мне мораль. И если я что ляпну сгоряча, не обращай внимания. Мы же вроде как друзья...

Мы помолчали. Я достал еще одну сигарету, долго крутил в пальцах. Курить не хотелось, возвращаться в купе — тем более, а стоять просто так... Ну, вы понимаете. Есть такая тишина — пустая и гулкая, как барабан. Поэтому я все-таки закурил.

— Сколько у тебя жизней, Черчилль?

— Как обычно, девять. А почему ты спросил?

— Я имел в виду... Ну... То есть сколько осталось?

Вообще-то задавать такие вопросы неправильно. Потому что это нам, людям, смерть видится чем-то нереальным, чем-то, во что трудно поверить применительно к собственной шкуре. А они, наши дополнительные шансы, умирают по девять раз. И помнят о каждом. Для них смерть — это не финал существования, а его составляющая. Им приходится с этим мириться, но говорить об этом они не любят.

— Я умирал восемь раз, — помолчав, ответил Черчилль (а я уже начал надеяться, что он промолчит), — осталась последняя попытка. Так что, — он усмехнулся, пожал плечами и вскинул хвост трубой, — так что в чем-то я теперь — человек. Почти. А ты ответишь на мой вопрос?

— А ты задал мне вопрос? — удивился я.

— Нет, но задам.

— Валяй.

Дверь с шумом распахнулась, и влетело трое подростков в спортивных костюмах. Через мгновение тамбур наполнился шумом, матом, дымом и фразами: «Соловьева — сука, но чикса клевая, не дает ни х..я пока, ну, х..ли, время есть, подождем...» Подростки демонстративно сплевывали на пол и стены тамбура, с вызовом поглядывая на меня. Я мог бы заставить их слизать собственные плевки, пройти по вагону голыми и почистить обувь всем пассажирам. Любой курьер мог бы заставить этих молодых ублюдков раз и навсегда забыть о вызывающих взглядах. Но ни один курьер не стал бы делать это без крайней необходимости, если он возвращается из трипа и везет на корке мозга слишком много воспоминаний об адресате. У курьеров масса неписаных законов, а моя гордость и чувство самоуважения не страдают от неумной черной энергии, характерной для подростков. В Библии сказано: мир зол в юности своей. Или что-то вроде того. Это очень точное замечание. Поэтому я терпеливо ждал, когда стадо молодое и знакомое свалит из тамбура. Черчилль молчал. Я тоже. Минут через пять подростки дружно сплюнули сквозь зубы и, бросив на меня последние взгляды, переполненные робкой надежды на потасовку в крошечном тамбуре, скрылись в туалетном предбаннике... Я пожалел, что не ношу с собой хозяйственный инвентарь, — в задымленном пространстве можно было без особого труда развесить десяток-другой топоров.

— Не открывай междвагонную дверь, — попросил Черчилль.

— Почему? Тут такой дымаганище — дышать нечем.

— Ну... В принципе какая разница? Открывай, если хочешь. Пойдем по кругам.

— Что?

— Ничего.

Я пожал плечами, затушил сигарету и открыл междвагонную дверь.

Тварь была там. Уверен, она была там все это время и слышала наш разговор. Четыре когтя грязно-желтого цвета рассекли мою грудную клетку, и в какой-то момент я заметил пульсирующий комок там, между белыми с красным осколками костей и обрывками плоти. Мое сердце?

Тусклый свет отразился на двух коротких лезвиях. С раздирающим нервное окончания звуком сталь встретила когти, и Тварь дико завизжала, но не отступила. Именно в этот момент я почему-то подумал, что ведь вакидзаси — непарное оружие и что-то тут не так. Еще я успел заметить, как кошачье тело Черчилля мелькнуло размытым мазком акварели, и сквозь него — черными шрамами — написанное на дверном стекле бранное слово. И потерял сознание. Не думаю, что надолго.

Когда я пришел в себя, Тварь уже спокойно стояла, откинувшись назад на толстый чешуйчатый хвост, и на ее вараньей морде играла довольная улыбка. Она была ранена, по зеленой с желтыми подпалинами шерсти расплзалось бурое пятно крови... Я поднял глаза и увидел за ее плечами рукояти черного и красного вакидзаси. А вакидзаси ведь непарное оружие. В глазах то темнело, то прояснялось, как будто прямо надо мной кто-то раскачивал лампочку без абажура. Но сознание я больше не терял. Не давала боль в срастающихся ребрах...

— Вот и все, — прошипела Тварь, становясь прозрачной и уходя в междвагонный пролет, — куда проще, чем мне казалось.

Она исчезла, а я стоял на коленях, и из моей все еще раскрытой груди выплескивалась равномерными толчками похожая на свежесваренный кофе кровь.

— Ты хотел меня о чем-то спросить, — сказал я.

— Я уже передумал, — прошептал Черчилль, — да и времени нет...

— Мы встретимся, Черчилль?

— Нет... Вернее, не совсем. Ты что, забыл, что у меня оставалась последняя попытка? Я ее использовал, брат. Теперь твоя очередь... Я постараюсь с тобой связаться. Попробую вытянуть тебя. Может, смогу объяснить тебе кое-что, но не сейчас...

— Почему не сейчас?

— Потому что сейчас уже почти утро, и ты меня не услышишь. Прости...

Я не понял его слов. Вряд ли я смог бы понять их тогда... А потом уже было не до того.

Думаю, он умер легко. Я, честно говоря, не знаю, как умирают дополнительные шансы, мы об этом так и не успели поговорить. Мы о многом не успели поговорить.

Я медленно, хватаясь за стену, встал с колен. Голова слегка кружилась. Грудь была уже в порядке, кровь с пола исчезла. Все, что осталось, — я знал это — четыре едва заметных рубца на груди. Факсимиле Твари. Медленно повернув голову, я увидел, что мой окурок снова задымился. Видимо, плохо забычковал... Я вытащил его из пепельницы. Затянулся. Я почти ничего не ощущал. И не хотел ничего ощущать. Я только думал, что если слезы прожгут мне лицо и вырвутся наружу, то эта ночь потеряет цвет и сигарета перестанет горчить.

I.2

— Ты уволен, Ром.

Знаете, так однажды случается с каждым. В жизни появляется слишком много тишины, так много, что кажется, будто ничего уже не изменить, и это не пугает, это почти устраивает, становится привычным, более того, единственно возможным — появляется идиотское убеждение, что ты касаешься кончиками пальцев вечности и ничего никогда не изменится. И вдруг это штилевое пространство взрывается банальным телефонным звонком, и оказывается, что вошедшие в привычку покой, тишина, штиль — всего лишь хлипкие гипсокартонные стены, прикрывавшие тебя от гигантского провала там, за границами обжитой пустоты. И вот ты сидишь голый посреди огромной площади, и по свежему срезу твоего тела дети изучают анатомию. И спрятаться больше не за что, да и незачем. Короткие замыкания слов проскакивают по телефонным кабелям пустоты, и у тебя только три минуты на разговор. Всего каких-то три жалких минуты на разговор. И ни хрена уже не успеть за эти три минуты — жизнь не пересказать, прошлое не переделать, будущее не разобрать. Короткие замыкания ненужных слов, просто трехминутный лепет — вот и все, что осталось от твоей вечности... Жизнь в эту минуту кажется потерянной, напрасно прожитой, бессмысленно потраченной. Это не так, но ты ведь не станешь возражать самому себе.

— Коль, я...

— Ром, ничего не надо говорить, ладно? Seriously, я просто не ожидал от тебя подставы, особенно такой подставы, старик. Неужели ты думаешь, что мы не нашли бы выхода? Не придумали бы, как поступить? С твоим опытом можно смело идти в инструкторы... Если бы ты не промолчал, как...

— Кто на меня наступал?

— Ром...

— Коль, между нами, слово даю. Кто стукнул, что я потерял дополнительный шанс? Механ? Черкес? Кто?...

— Ром, давай так... сегодня вечером в баре на Маяковке, ладно? Там поговорим...

С тех пор как Тварь убила Черчилля, прошло три месяца. Вполне достаточно, чтобы привыкнуть к этому, обмозговать и принять решение. Зима сошла на нет серыми оспинами на снегу, промозглыми закатами, из которых исчезла морозная перчинка, и еще прозрачными стеклами в окнах городского транспорта. Снова началось межсезонье. На Маяке, прямо перед рестораном «Пекин», снова сидит на цепи Зеленый. Зимой он впадает в спячку, и его увозят куда-то на огромном грузовике. Отличный экземпляр, кстати, размером с хороший рефрижератор. И рудиментарные крылья на спинном горбу заметить не трудно... Я разглядываю его сквозь стекло будки телефона-автомата. Только что мой приятель уволил меня с работы. Я не в обиде. В принципе никто, кроме меня, не виноват в том, что за вполне достаточный срок я не привык, не принял решения. Промолчал. Что так и не сумел смириться.

Зеленый почти не двигается, он провожает машины своим единственным глазом и явно чувствует себя не в своей тарелке. Как и я.

Дело не в работе. Дело в моей жизни. Я всегда был курьером. Я таскал на себе ампулы с вирусом «B.I.—COOL», я трижды пересекал границу с урановым зернышком, которое вкалывали мне в вену и от которого нужно было избавиться в течение нескольких часов. Мои мозги разрывались от информации, как в кино про Джонни Мнемоника. Дерьмовая работка? Для кого-то, наверное, так оно и есть. Но для меня это не было работой, это была сама жизнь. Моя жизнь, мое предназначение, если хотите. Призвания бывают разными: кто-то рождается, чтобы написать единственную симфонию, кто-то — чтобы годами писать единственную картину. Я всю жизнь был полевым курьером, я не умею ничего другого и не хочу уметь ничего другого. Я был создан для этой жизни. Но Тварь прикончила Черчилля.

А кому нужен курьер с единственной жизнью? Я вам отвечаю: никому. По ряду причин. И ни одна из них не имеет отношения к самому курьеру. Бизнес есть бизнес, там, где играют роль деньги, человеческая жизнь и человеческие причины ничего не значат. Крашенные кусочки бумаги довлеют над всем остальным. И хотя этот жернов — бумажный, он перемалывает кости с легкостью и изяществом бетономешалки.

Солнце над Москвой заволакивает тучами. Недобрыми тучами, которые появляются только в неопределенное время межсезонья, словно напоминание о том, что, уходя, непременно возвращается. Я ей, зиме, завидую. Ей есть куда возвращаться. А мне — уже нет.

— Извини, Коль, не стоит, — говорю я в трубку, — я сегодня вечером занят. Соединимся как-нибудь... на днях.

— Да, конечно. И... тут деньги твои за трип, приходи за ними, когда сможешь. — Я слышу голос друга, я знаю, что ему нелегко произносить эти слова. Но мне сейчас тяжелее в тысячу раз, а в тяжелых ситуациях мы эгоистичны.

— Спасибо, старик. Перекинь мне их на карточку.

— Да, конечно.

Трубка с холодным щелчком ложится в лапы держателя. Эту историю больше нет смысла описывать в настоящем времени.

На улице громко, с какой-то совершенно непостижимой для человека печалью плененного гиганта, вздохнул Зеленый. Две едва заметные струйки дыма вырвались из его ноздрей и тут же исчезли. Говорят, еще в детстве им удаляют огневые железы. А чуть позже подрезают крылья, так что они перестают развиваться. Вообще-то рано или поздно это происходит с каждым из нас.

Я сунул руку под мышку — в последнее время этот жест стал автоматическим. Старый «макар» времен еще не дымящегося МКАДа, раритетнейшая вещь, подаренная мне курьером Юрким, царствие ему небесное... А в обойме восемь пуль — сплав золота, свинца, желчи гюрзы и еще какой-то хрени. Стандартный набор. И хотя будущее не особенно радовало разнообразием красок, по крайней мере на первое время дело у меня было.

Найти Тварь...

А потом — посмотрим. Таксофон сожрал карточку и глухо заурчал наборным диском. Откуда-то с потолка тихий монотонный голос устало проговаривал рекламные слоганы. Вокруг памятника Маяковскому бродили унылые квадратноголовые фанаты «Dereche Mode» — депеша, — изредка отчаливая в сторону ближайших пивных ларьков. Зеленый все так же вяло провожал глазами машины. На башне гостиницы «Пекин» часовые стрелки замерли в районе двух часов дня. Жизнь продолжалась. Рано или поздно это происходит с каждым из нас. Механизм дает сбой, замирает ненадолго, но уже в следующее мгновение колесики возобновляют бег, и жизнь продолжается.

— Агентство «Каспаров и Гамбит», — знакомый голос знакомой секретарши на ресепшн. — Добрый день.

— Соедините меня с Турбиным, пожалуйста, — попросил я, левой рукой нашаривая в

кармане пачку сигарет и зажигалку.

Пока в трубке играла стандартная пластмассовая мелодия, из-за крыши гостиницы «Пекин» выползла гигантская туша рекламного дирижабля, засыпав площадь серым гравием медлительной тени. Я поднял глаза и, щурясь, прочитал: «КЛОН-Дайк для каждого. Всего 40\$, и у тебя появляется возможность прикончить клона своего врага. Тел. 100-666-0».

— Турбин на проводе.

— Алекс, это я, Роман. Есть дело.

— Говори.

— Не телефонный разговор.

— Не вопрос, подъезжай. Я в офисе до вечера.

— Я подъеду минут через сорок. Нормально?

— Вполне.

Я вышел из будки, закурил и медленно побрел к своему «буги», припаркованному неподалеку от театра Сатиры. Зеленый неторопливо повернул голову и посмотрел на меня печальным глазом. Механическая стрекоза-чистильщица трижды облетела его голову и скрылась в сероватом небе.

Едва выехав на Садовое, я попал в безнадежнейшую пробку. Машины не то что встали — они практически вросли колесами в асфальт, исторгая кубометры смрадного дыма и истошно завывая клаксонами. На двух колесах это было бы не так страшно, но на тротуаре, метрах в сорока по ходу движения виднелся синий маркер дорожно-постовой службы. Синий знак радиации и перевернутая литера «А» не обещали ничего хорошего тому, кто решится нарушить запрет касаться тротуарного полотна колесами.

За мной в мгновение ока собралась изрядная автоколонна, так что дать задний ход тоже не светило. Я надвинул щиток забрала, включил фильтры и застегнул воротник куртки. Над Садовым начинали скапливаться плотные облака серо-зеленого дыма. Там, внутри этого облака, что-то уже шевелилось и набухало, но я не мог разглядеть ничего конкретного. Минуты ползли, как покалеченные гусеницы, которым уже никогда не стать бабочками. Клаксоны один за другим смолкли, над улицей повисла напряженная тишина. Из машин начали выскакивать водители, но убежать не торопились. Никому не хотелось потом искать свою машину на государственных автостоянках. Если, конечно, в этот раз все закончится очередным пшиком. Из ближайшего переулка вынырнула команда ловцов с сетями и электрошокерами, но пока смог был недостаточно плотным, чтоб в его утробе могло сформироваться что-то действительно опасное. Так мне по крайней мере казалось. Я привстал, чтоб разглядеть причину пробки, но что бы там ни произошло, я был слишком далеко. Впереди суетились люди в желтых жилетах и что-то растаскивали огромными баграми. Мимо по тротуару пролетели несколько человек в таких же жилетах, у каждого в руках — красный баллон огнетушителя.

— Не видно, надолго там? — спросил кто-то за моей спиной. Я оглянулся и увидел высывающуюся из окна новенькой иномарки взлохмаченную светлую шевелюру над вполне себе симпатичным личиком. Лет двадцать, подумал я. Беспорядок на голове тщательно продуман. Машина дорогая. Шлюха или дочка богатого папы.

— Понятия не имею. Мне даже не видно, что там случилось, — ответил я.

— Наверняка «Юность» снова развалилась, — сказала шевелюра и спряталась. Зеленоватое тонированное стекло бесшумно встало на место, и я остался наедине со своим отражением...

История «Юности», в общем, стандартна для всех толстых журналов. На заре перестройки, сразу после того, как опьяненная запахом крови толпа растерзала шестерых старших цензоров на Кремлевской набережной, толстые журналы поднялись и в цене, и в популярности. В то время никто не имел ни возможности, ни средств для издания запрещенных еще несколько лет назад писателей и поэтов: Аксенов, Пастернак, Бродский, Хлебников, Солженицын... Журналы выпускались гигантскими тиражами, и все равно их не

хватало. «Смена», «Нева», «Звезда», «Новый мир», «Юность»...

Однако продолжалось это недолго. Открытые границы, отмена цензуры и общая псевдосвобода сделали свое дело, и уже через пару-тройку лет книжный рынок России был перенасыщен. Необходимость в толстых журналах отпала, и они стали загибаться. Но снизить тиражи было уже невозможно, поскольку тиражный план был принят на два десятка лет вперед, деньги вложены, договоры с авторами подписаны. В общем, несмотря ни на что, журналы печатались. И печатаются по сию пору. Торговые точки отказались от их реализации, крупные книжные магазины не желают делать ставку на полумертвые тела литературных динозавров, а мелкие заказы школьных и университетских библиотек не способны поглотить и десяти процентов выпускаемой бумажной продукции. Вскоре все редакции толстых журналов были закрыты, коллективы распущены или перепрофилированы под иные издания, менее серьезные, но с большей финансовой перспективой... А тиражи все свозили и свозили к бывшим офисам редакций. Росли гигантские торосы макулатуры, и службы города не успевали разгрести этот хлам. Он копился годами, и вспоминали о нем лишь в случаях самовозгорания или вот таких вот бумажных оползней: огромное здание досталинского ампира оказалось переполнено журналами, и в конечном счете его стены не выдержали, по ним пошли огромные трещины, и в них хлынули потоки испещренной типографскими литерами бумаги. Мгновенно перегородив проезжую часть на Садовом кольце и парализовав движение. Если бы это случилось ночью, все было бы проще. Но сейчас над приливной волной бумаги формировалось серо-зеленое облако смога, и что там, внутри этого облака, развивалось, не мог сказать никто. Бумага могла оказаться охваченной пламенем... Да, пожалуй, такой вариант самовозгорания устроил бы многих. Пострадало бы несколько автомобилей, но пожар устранили бы в кратчайшие сроки, и никаких серьезных последствий бы не было. Как известно, из двух зол следует выбирать то, что уже знакомо. Но непрочитанные статьи, не нашедшие читателя повести, не дошедшие до адресата стихи несли в себе мощный нереализованный посыл, и никто не смог бы сказать, как на это среагирует то, что формировалось на моих глазах в серо-зеленом облаке смога.

Едва выстроив в голове эту нехитрую логическую цепочку, я понял, что придется, видно, проигнорировать синий маркер и спасти шкуру... Перекинув переднее колесо мотоцикла через тротуарный бордюр, я отпустил тормоз и вылетел с проезжей части. Двое рабочих в желтых жилетах испуганно прижались к стене дома. Краем глаза я заметил, как по асфальту стремительно растеклось синее пятно маркера и рвануло в мою сторону, оставляя за собой маслянистый след.

— Ну, ОК, давай посмотрим, кто быстрее...

Движок «буги» взревел, я быстро сунул руку под бак и вырвал предохранитель ограничения скорости. Черт с ним, правила я все равно уже нарушил. Маркер наверняка быстро вычислит и марку, и номер мотоцикла. А заодно и то, что уже несколько лет он числится в угоне...

Я свернул в переулок, потом в какие-то дворы. Маркер отстал уже после третьего поворота. Еще некоторое время я гнал по незнакомым переулкам, все глубже уходя в лабиринт старых улочек, выпавших из времени особняков, застывших во времени деревьев-великанов... В какой-то момент я понял, что за мной никто не гонится, припарковал байк к витой решетке забора с многочисленными виньетками «К» в чугунных овалах и дальше пошел пешком. В первой попавшейся урне осталась куртка. Документы, кредитка и сигареты перекочевали в задний карман джинсов. Было знобко...

Я закурил и, сделав солидный крюк, снова вышел к метро «Маяковская». Со стороны Садового донесся первый глухой и отчетливый хлопок.

Надеюсь, хозяин машины догадался убратся, прежде чем взорвался бензобак, подумал я, спускаясь в сумрак московского метрополитена.

Я осознавал, насколько нелепо смотрюсь среди демисезонной толпы в джинсах и помятой футболке цвета хаки, но вариантов не было. Чтобы отгородиться от атакующих наглым и неумным любопытством взглядов, я перетащил с шеи на голову наушники и

почти мгновенно ушел в монотонный голос чернокожей певицы соул, пробирающей хрипотцой до самых пыльных закоулков души, запахом мускуса напоминающей о чем-то трогательном и ненужном, без чего жизнь теряет всякий смысл и напоминает корабли, на которых мачты и паруса заменили коптящими трубами. В общем, сопли и лирика, к которым я питал слабость. Уносящиеся ввысь мозаичные потолки, арочные своды и листы гофрированной жести, которые закрывали ремонтирующийся последние полвека выход, — я слишком давно не видел всего этого, предпочитая метро наземный транспорт. Прежде всего — исходя из специфики работы курьера. Задержать человека в метро не так сложно, как кажется на первый взгляд. И даже в часы пик из-за постоянного видеонаблюдения и огромного количества милицейских маркеров подземка — не самое комфортное место для курьеров. А толпа, в которой на первый взгляд легко затеряться, при необходимости срочно уносить ноги может стать настоящим препятствием. Поэтому курьеры старались избегать метрополитена.

Поезд всосал в себя толпу пассажиров. Толпа прихватила меня. Вагон едва заметно покачивало и заносило на поворотах. Лампы мигали и временами тускнели, так что свет периодически становился мутным, как разбавленное пиво. Пластиковые стены нелепого бледно-голубого цвета пестрели рекламными плакатами, которые требовали потреблять, употреблять или в крайнем случае (и только за очень большие деньги) быть употребленным. Дорогие публичные дома, право участвовать или наблюдать за смертной казнью, право быть казненным, льготное открытие счетов, льготное вскрытие вен на дому, массаж, минет, оружие в рассрочку, парфюмерия и средства от насекомых, виртуальный секс... Надоевшая до безобразия обыденность и пошлость. Прямо напротив меня, слева от схемы линий московского метрополитена, так определенно напоминающей классическую пентаграмму, жгучая темноволосая красавица сладострастно облизывала батончик шоколадки «ФАС»...

Я отвернулся...

И эти люди еще удивляются потере интереса к сексу и стремительному снижению количества естественных зачатий, посвящают этой теме часовые ток-шоу... Мир кретинов. Да большинство постоянных пассажиров метрополитена просто прозомбировано этой рекламой, и как минимум треть из них употребляет шоколадные батончики не по назначению. Хотя черт знает, каково теперь их истинное назначение.

Тверская. Вагон срыгивает меня на платформу, чтоб поглотить новую порцию человеческого материала.

Уже на эскалаторе я проверил мобильник и обнаружил один непринятый и неопределившийся номер. Это мог быть кто угодно...

Залитые неестественным светом витрины подземного торгового центра желтым пятном впечатались в сетчатку глаз, но я миновал десяток ступеней, и сорвавшееся с цепи солнце хлынуло на серый маслянистый асфальт сквозь порез в серых тучах. Оно выглянуло как раз в тот момент, когда я покинул подземелья метрополитена. Стало ясно — весна набирает силу...

Около выхода из метро грязный раста с всклокоченными дредами дубасил ладонями по бонгам. Прохожие с легкой брезгливостью кидали монеты в грязную цветастую кепку, валяющуюся прямо на асфальте. Рядом с растой стоял милиционер, алчно взирая на растущую горку мелочи. Подавать не было смысла, я знал, куда пойдет большая часть заработанных уличным перкуссионистом денег. А милиции я и без того платил, исправно отчисляя немалый кус личных доходов в виде налогов.

Однако милиционер обратил на меня внимание, издали кивнул и, отдав честь вальяжным жестом, неторопливо направился ко мне. Я достал документы.

— Гость столицы? — с кривой усмешкой спросил блюститель, проводя по штрих-коду в паспорте перстнем с перевернутой литерой «А» в круге. — А... нет, смотри-ка... А я думаю, жаркий такой, гость, наверно.

— Куртку в метро забыл. Опомнися, а поезд уже пошел, — соврал я, глядя менту в глаза.

— Бывает, — кивнул тот и взялся за трудовую карточку.

— Вообще-то меня сегодня уволили.

— Вчера, если быть точным, — сказал мент, возвращая мне документы. — Законы, надеюсь, помним? Три рабочие недели на то, чтоб организовать свою трудовую деятельность, в противном случае — депортация за границы МКАД.

— Да, я в курсе...

Милиционер снова приложил вялую ладонь к козырьку и отошел к расте наблюдать за ростом собственных доходов. Жаль, что нет официального налога на поборы. Жаль, что это снулое человеческое недоразумение не попросило у меня документов ночью и не на такой людной улице. Жаль...

Я быстро пересек проезжую часть. На огромном уличном экране транслировали последние новости. Прилизанный репортер беззвучно шевелил губами над микрофоном с лейблом «Эртеррор». На заднем фоне — Садовая в районе Маяковки. Мелькнула грудка искореженного метала, кипы журналов, двое санитаров в зеленой форме, носилки, из-под полиэтиленового пакета выбивается беспорядок знакомых светлых волос. Продуманность из беспорядка исчезла, кое-где волосы склеила темная бурая масса... Я было отвернулся, но тут же снова перевел взгляд на экран. Мой «буги», припаркованный к витиеватой чугунной решетке с виньеткой в виде буквы «К» в чугунном овале. Ну-ну, ищите... По крайней мере, у вас теперь есть на кого списать как минимум одну смерть. Мелькнула мысль, что с этих ребят станет повесить на меня всю байду с обвалом здания, но я постарался ее отбросить... Мотоцикл я вел в перчатках. На лице было забрало шлема. Нет, вряд ли они смогут найти меня в ближайшее время. А через день-другой я сделаю себе новые документы, и тогда — ищи ветра в поле. Благо, деньги есть. Надо только добраться до Турбина. Они, конечно, рано или поздно найдут куртку, потом узнают о странном субъекте, разгуливающем в одной футболке. Но на это тоже потребуется время. А пока их головы заняты другими проблемами. Мимо репортера пронесли еще одни носилки, потом еще...

Из-за крыши «Известий» неторопливо и вальяжно выползла туша рекламного дирижабля, единственного хозяина неба над Москвой. Густая тень легла на площадь маслянистым пятном. Откуда-то налетел ветер, и я прибавил шаг, потирая голые руки.

Чуть попозже свернул в знакомую улочку, нашел глазами вывеску «Каспаров и Гамбит. Разнообразные юридические услуги. Если вам нужна непрофессиональная помощь, то это не к нам». Желтостенный трехэтажный дом-особняк, в окнах — стеклопакеты, отдельная стоянка, отгороженная тяжелой цепью, вооруженный автоматом «узи» секьюрити с остановившимся, как у трехнедельного трупа, взглядом на входе.

Меня тут хорошо знают, пропускают без вопросов.

Алекс Турбин вот уже несколько лет является моим финансовым управляющим. Большую часть денег, причитавшихся мне за трипы, я перечислял на счет юридической конторы «Каспаров и Гамбит», детища Алекса Турбина. Что с ними происходило дальше — понятия не имею. Главное, что мои счета росли. Алекс был дельцом настолько нечистым на руку, что его имя постоянно окружала дурная аура каких-то жутких слухов о выловленных в Москве-реке трупах конкурентов, отмывании грязных денег и участии в незаконной торговле оружием. Словом, Турбин был обычным процветающим мерзавцем своего времени, но при всем том человеком слова. Не знаю уж, как эти качества уживались в нем, но понятие чести ему было знакомо. И вот однажды, при не имеющих значения обстоятельствах Турбин стал моим должником. Я подумал, что быть кредитором человека с репутацией гризли — не самая выгодная позиция, и предложил Турбину заняться моими финансовыми делами. С тех пор всеми моими деньгами распоряжается юридическая контора «Каспаров и Гамбит». И мне ни разу не пришлось об этом пожалеть.

Итак, я бегом взлетаю на второй этаж, прохожу коротким гулким коридором, потом еще по одной лестнице взбегаю на третий. На площадке между этажами стоит вылизанная до блеска пепельница. На стене — табличка: «Think before smoking».

Сердце колотится обезумевшей рыбой в разбитом аквариуме. Дверь Алекса Турбина

приоткрыта... Я вхожу осторожно, вхожу, хотя уже понимаю, что делать этого не стоит. По кабинету разбросаны какие-то бумаги, на мониторе — скринсейвер: улыбающаяся звезда Playboy с монументальным выменем. Сам Алекс умиротворенно осел в кресле, глядя пустыми глазами в идеально чистое окно. На столе — несколько дорожек кокаина. Левая рука Алекса сжимает «парабеллум», обойма валяется на полу около кресла. Рядом с кокаином — несколько испачканных в белом порошке патронов. Во лбу Алекса — идеально круглое отверстие. Крови почти нет... Это даже красиво, черт побери.

Но почему же в лоб? Почему не в висок, не в рот, а именно в лоб? Я поднимаю глаза. В углу окна — маленький паук разбегающихся от круглого отверстия трещин. Точно такого же отверстия, как во лбу моего финансового управляющего Алекса Турбина.

Иногда все начинается с телефонного звонка. Или с трескотни будильника. Или с крика соседа за стеной. Или с выстрела на соседней улице. Ты втекаешь в канву событий, становишься одним из элементов происходящего, что-то творишь, что-то творится с тобой. И не важно, хотел ты этого минуту назад или не хотел. Даже самому себе ты не можешь задать эти вопросы: не хватает времени, сил, сноровки, смекалки. Но чаще всего все-таки времени. И вот ты в очередной раз обнаруживаешь себя бегущим по улице в джинсах и мятой футболке. И ты ни хрена, ни хрена не понимаешь. Тебя охватывает паника, водоворот, из которого почти нереально вынырнуть. Разве что куда-то в сторону, туда, где тебя никто не ждет. Это в тебе вдруг срабатывают рефлексy, заложенные еще во время обучения работе курьера. Простые правила, вбитые в голову и почти забытые, в какой-то момент они становятся единственно важными, и на фоне багровой дымки ужаса, которая застит глаза, всплывает морщинистое лицо учителя. Он говорит: «Когда ты уверен, что тебя загнали в угол, помни — загонщик думает точно так же. И это хорошо. Это прибавляет ему самоуверенности. Самоуверенность отнимает разум. А дурака легко обмануть...»

«Эгей, — говорит Монгол за спиной учителя (хотя между тем днем, когда убили учителя, и тем, когда на одной кислотной вечеринке меня познакомили с Монголом, разница в несколько лет), — я давно не работаю курьером, — говорит Монгол, и кивает дредлатой головой, и называет меня «старый нига Рома». — Но ты же знаешь, перестать быть курьером невозможно. Я курьер, только особой квалификации. Если тебя, нига Рома, загонят в угол, приходи ко мне, и Монгол поможет тебе выкрутиться».

Надо только успеть.

II.1

У Монгола есть две отвратительные привычки: курить в туалете и все называть своими именами. То есть, скажем, сидит он в туалете, курит и называет дерьмо дерьмом... Точно так же он относится к чужим проблемам. Как хирург называет открытый перелом открытым переломом, так Монгол называет дерьмо дерьмом... Иногда, чтобы помочь человеку, ему приходится сделать больно, говорит одиозный персонаж советского кинематографа. Монгол — тоже хирург. Но особой квалификации.

— Ты влип, старый нига, ты не-ре-аль-но влип. Даже если пэпээсовский маркер не вычислил тебя, что в принципе вероятно... Хотя нет, перчатки найдут, там твои пальцы, сопоставят... — Упакованная в густые дреды голова плавно качнулась, плечи вяло поднялись и опустились. — Но даже если и не вычислят... А им выгодно вычислить и повесить на тебя всю эту байду с редакцией и смогом. Там, между прочим, люди пострадали, ты в курсе? Но даже если не вычислят... Тот тип у офиса, каким бы гамадрилом он ни был, сопоставит все, или те, кому он расскажет про тебя, сопоставят... Это уже неважно. Кто-нибудь что-нибудь непременно сопоставит. Потому что кто-нибудь что-нибудь все время сопоставляет. Короче, ты все равно нереально влип, старый нига Рома.

— Так... влип. — Я кивнул, чувствуя, как тело наливается приятной тяжестью. Монгол перехватил у меня косяк, подлечил пенек гильзы и добил одним напасом.

— Вот я и говорю... ты влип...
— Влип...
— Да, старик, ты влип и потому обратился по нужному адресу. Старый нига Монгол тебе поможет. Хотя, надо заметить, ты основательно влип... Нереально...
— Я знаю... Я влип...
— Я понимаю, что ты знаешь, просто констатирую в никуда... ну как бы и не тебе даже... даже, в общем, кому-то третьему... ну ты же в курсе, что всегда есть кто-то третий... Но не тот, что сопоставляет, нет... Другой... И я ему говорю — ты влип. То есть не ты, в смысле он... Я хочу сказать... ты, то есть ты... но...
— Монгол, ты гонишь? Признайся, друг, ты гонишь?
— Перестань, нига... Я думаю о тебе, брат. Я волнуюсь, потому что ты влип. А ты смеешься мне в лицо...
— ...
— Ты неблагодарный человек, Роман...
— ...
— Ты просто животное, нига!
— ...
— ...

Двое суток — два гулких, как нутро глобуса, бесконечных, как соединенные по три питерские трамваи, растягивающихся, как дорогие презервативы, куска вечности я просидел в квартире Монгола. Один. Сам Монгол, буравя пространство спиральными зрачками, отправился разруливать мои проблемы, и с тех пор признаков жизни не подавал. Порой, приходя в отчаяние и чувствуя приступы клаустрофобии, я пытался ему звонить. Я накручивал допотопный наборный диск, но мобильник Монгола трижды огрызнулся недоступностью, после чего приятный женский голос объявил, что данный номер заблокирован... Однажды я взвыл, и это так меня напугало, что я мгновенно пришел в себя.

Погода на улице испортилась, и квадраты окон обратились к улице серой стороной, то ли пугая прохожих, то ли уйдя в глубокую, недоступную людям меланхолию пасмурных дней. От этого серого цвета было невозможно спрятаться, маленькая однокомнатная квартирка мгновенно пропиталась им и отяжелела, нагоняя норные настроения. Телевизора у Монгола не было. Компьютера тоже. В прихожей на тумбочке стоял старый дисковый телефон, ровесник пожарных конок и восстания кронштадских матросов. Диск при наборе скрипел, обо что-то задевал и периодически заклинивал. Над телефоном висела карта линий Московского метрополитена, очень древняя, еще похожая на паука, еще с кольцевой линией. На карте в самых различных местах были записаны телефоны. Свой я не без некоторого труда обнаружил в районе станции «Коломенская». И долго не мог вспомнить, когда это я дал Монголу свой номер. Выходило, что никогда.

Я бродил по зажатому в желто-зелено-красные обои пространству и все больше ощущал себя хищником в зоопарке. Или молью. Или тараканом. Кем угодно, только не свободным человеком. И все чаще меня тянуло плюнуть на все и покинуть это гиблое место, которое даже веселые цвета ямайского флага не способны спасти от тоски. Как ни странно, в эти минуты отчаяния и дикой, невообразимой скуки я ни разу не задумался о своем положении. Я обрастал плесенью безделья, но не сделал даже попытки разобраться с собственной жизнью. Возможно, сработала какая-то защитная функция мозга, а может, все дело в том, что у меня с самого начала сложилось ощущение, что все происходящее — не на самом деле, а понарошку, как в кино или книге. Ощущение ложное, но благодаря ему я больше не впадал в панику. Я думал обо всем подряд. О горящей черте свалок вокруг МКАДа. О рекламных дирижаблях. О Зеленом. О журнале «Юность» и московских пробках. О своем прошлом. И о Монголе, которого все чаще крыл черным матом, совершенно забыв о том, что как раз в эту минуту он пытается разобраться в заваренной мною (но мною ли?) каше. Я помнил лишь стены, серые окна, асфальтовое небо за ними и тишину, которую

нарушали только мои чертовы опостылевшие мне самому шаги. Но я мерил и мерил ими комнату из угла в угол, садился на минуту и снова вскакивал, чтоб мерить комнату из угла в угол, кроя хозяина квартиры черным матом. А ведь вся моя вина была только в том, что я оказался не в том месте и в не то время, как любил выражаться Черчилль. А потом еще и попытался спасти собственную шкуру. Впрочем, об этом я не думал.

О Монголе.

Когда-то давно он был курьером и считался одним из лучших. Ему доверяли такое, на что я не рассчитывал даже в радужных снах. Подозреваю, что такое не снилось даже засранцу Мнемонику. Платили соответственно. Потом Монгола уволили. Никто точно не знает, за что, но заданий Монгол не проваливал никогда, это точно. Дело было в чем-то другом. Ходили смутные слухи, что он отказался везти какую-то очень важную информацию, но это ближе к бреду, к профессиональному фольклору, типа Черного Курьера, Твари или Ниху... Курьер не отказывается от трипов, поскольку в трипах, повторяю, его жизнь. Поверить в такое я был не способен. Впрочем, в Тварь я тоже не верил, пока не столкнулся с ней в прокуренном тамбуре поезда Тамбов-Москва... В общем, Монгола уволили, и я на какое-то время забыл о нем. Однако Монгол не пропал. Он переквалифицировался, и очень скоро среди курьеров пошли другие слухи — дескать, Монгол подался в умельцы. Кто такие умельцы? Они... Они — умельцы. Люди, которые за соответствующее вознаграждение готовы решить любую проблему, от спасения утопающих до уничтожения президента страны. Получить патент на такую работу крайне трудно. Но Монгол его получил. Позже, на кислотной вечеринке, нас познакомили второй раз. Монгол сделал вид, что никогда меня не видел. Хотя, собственно, мы никогда особенно не общались. И я решил ему подыграть, рассудив, что парень знает, что делает. Теперь я сидел в квартире Монгола, пропитывался серым цветом, глухой, подавляющей тишиной и скрипом дискового телефона, которому все абоненты были недоступны.

...Я снова стоял в коридоре, в тысячный раз разглядывая древнюю карту метро, когда внезапно услышал голос Монгола:

— Ну что, заждался?

Голос шел из кухни. Я стоял в коридоре, у самой двери. Мимо меня пройти Монгол не мог. Поэтому сначала я услышал щелчок предохранителя, а уж потом почувствовал тяжесть «макара» в руке...

— Крыша съехала от одиночества, — понимающе проговорил Монгол, медленно отводя ствол пистолета от лица, — пукалку-то убери, шамальнешь, не дай Джа...

Он стоял спиной к тому месту, где когда-то была кухонная стена. Теперь стены не было. Вместо нее была грязная и неосвещенная лестничная площадка, на которой стояли продавленный диван, телевизор с разбитым кинескопом и лопата для снега. Куда подевались только что занимавшие это место совершенно пустой холодильник, газовая плита и кадка с бамбуком, я понятия не имел.

— Вообще-то так не делают, — сказал я, убирая пушку, — мог и правда шамальнуть. Рефлексы...

— Благодарность человеческая не знает границ, — пожал плечами Монгол, — я двое суток ношусь с твоей проблемой, ищу выход, нахожу, кстати, а ты готов пристрелить меня по возвращении. Спасибо, нига Рома...

— Мог бы войти через дверь.

— Не мог. Во дворе полно пэпээсовских маркеров. Они еще не знают, в какой ты квартире, но уже в курсе, что ты в этом доме. Так что собирай манатки, будем спасать твою шкуру, нига. Сколько это стоит, ты, надеюсь, помнишь?

— Помню, доверенность у тебя... Как они меня вычислили?

— А вот сие мне неведомо, — пожал плечами Монгол. — Ну что, сразу сматываемся или дунем на дорожку?

— Сразу. После твоей дури я вообще соображать перестаяю...

— Это ты с непривычки. На-ка вот, — Монгол протянул мне небольшой сверток, — тут

II.2

Мое бегство от неприятностей началось с долгого спуска по гремящей винтовой лестнице времен Ивана Грозного куда-то в глубинные недра московского андеграунда. Правда, в какой-то момент в свете ручного фонарика я разглядел на ступенях выдавленные цифры «1892». Так что с датой я ошибся довольно серьезно, но это мало что меняло. В моем университете, к сожалению, не преподавали сопромат, и я не мог точно сказать, утрачивают ли прочность чугунные ступени после ста с лишним лет эксплуатации. Однако с этой минуты стал еще напряженнее вслушиваться в каждый скрип и шорох.

Монгол, впрочем, спускался легко, как ни в чем не бывало насвистывая какой-то ямайский мотивчик.

— Эй, Монгол, — окликнул я его, чтобы хоть как-то заглушить мысли о теории сопротивления материалов, — как получилось, что ты не стал одним из людей расты, а?

— А почему я должен был стать человеком расты? — ответил он, не оглядываясь.

— Ну... Я бы не удивился.

— Ну и зря. Мне, конечно, нравится музыка регги и нравится курить канабис. Но я никогда в жизни не надел бы на свою голову этот их идиотский берет. Знаешь, на мой взгляд, сочетания хуже, чем красный, зеленый и желтый, просто нет. К тому же я предпочитаю бить в челюсть, а не подставлять свою... Хотя фишку с дредами они классно придумали. — Монгол тряхнул дредратой башкой и издал что-то вроде довольного «хехе».

— У тебя же обои желто-зеленые в квартире.

— А я там не живу. Там сидят и киснут от тоски такие бедолаги, как ты, пока я разруливаю их проблемы. Сам я живу в другом месте.

— А ты добряк, да, Монгол?

— И не говори, нига Рома, и не говори...

Потом он не меньше часа водил меня по коридорам с низкими потолками, подвалам, проштопанным нитями электропроводов, простенкам, напоминающим трещины, и комнатам, похожим на норы диких животных. Часть комнат была доверху забита ржавым металлическим ломом. Другая пустовала и пахла плесенью и сыростью. Мы миновали довольно большое помещение, уставленное ученическими партами, со школьной доской на стене. Никаких окон там, разумеется, не было, да и быть не могло, — я четко осознавал, что нахожусь на глубине нескольких десятков метров под землей. Потом мы вышли в странный коридор с огромными трубами на полу, которые через каждые несколько метров прерывались широкими раструбами. Там жили голоса. Едва войдя, я услышал несколько десятков голосов сразу, громко говоривших о совершенно разных вещах: о завтраке, о политической ситуации, о соседях, о сотрудниках, о шефе, женах, футболе, биржевых операциях. После тишины подземелий эта разноголосица странным образом давила на сознание. Хотелось заткнуть уши, что я и сделал, но голоса от этого не стали тише... Когда мы покинули коридор, я вздохнул с облегчением.

— Первый раз, помнится, я чуть не сошел с ума в этом месте, — кивая дредратой головой и не останавливаясь ни на миг, сказал Монгол, — я ведь был совсем один.

— Да, жуткое место, — согласился я.

— А главное, непонятно, для чего предназначенное, нига Рома. Тут, под землей, много подобных непонятных мест. Я стараюсь обходить их стороной... Но сегодня мы идем короткой дорогой.

Довольно скоро я перестал понимать, в каком направлении мы двигаемся и двигаемся ли вообще. Я не смог бы сказать, на каком расстоянии от поверхности земли мы находимся. А может, Монгол водит меня кругами с какой-то только ему известной целью? Несколько раз нам пришлось подняться и спуститься по менее длинным, но не менее подозрительным лестницам. Я порвал рукав футболки, проползая по ржавой трубе. К тому же повсюду была

эта чертова стекловата, и теперь руки жутко чесались. Дважды пришлось проползать на брюхе в какие-то крысиные дыры. Потом мы карабкались вверх по трубе по скобам, вбитым в бетон. Я был готов к тому, что скоба вот-вот вылетит из-под моих ног, и одна-таки вылетела, но мне удалось уцепиться руками за следующую и не отправиться в мир большой охоты раньше времени. А Монгол продолжал насвистывать ямайский мотивчик...

— Ты как будто домой вернулся, — проворчал я, вылезая из трубы.

— Так и есть, нига Рома, — щербато улыбнулся Монгол, — так и есть. В одном из подвалов в нос неожиданно ударила жуткая смесь аммиака и керосина: характерный запах зараженного пэпээсовским маркером асфальта.

— Тс-с-с, — прошептал Монгол и прижал палец к губам, — они наднами.

Я кивнул, давая понять, что все понял. Одно радовало: теперь я знал, что на какое-то время мы приблизились к поверхности почти вплотную.

Но потом снова потянулись коридоры, подвалы и лестницы, ведущие вверх и вниз, и я потерял всякое представление о своем месте в этом жутком пространстве Босха. Не помогали даже инстинкты и рефлексы курьера: я просто не знал, где мы. Комнаты и кладовки, тупики, скобы в стенах, пустые трубы и паутина проводов, двери, приставленные к стенам, двери, висющие на одной петле, двери, валяющиеся на полу, и, наконец, дверные проходы без дверей. Иногда мне казалось, что мы блуждаем в этих катакомбах целую вечность, а не несколько часов.

В какой-то момент мы наткнулись на бригаду флегматичных крысоловов. Они тихо наигрывали на гаммельнских дудочках и не обратили на нас никакого внимания.

— Стабильно здесь ошиваются, — усмехнулся Монгол. Я было приложил палец к губам, но Монгол отмахнулся: — Забей, они же глухие. Все крысоловы глухие.

— А они не стукнут на нас? — спросил я.

— Не думаю, — сказал Монгол, ныряя в очередной коридор, — они же крысоловы. Какое им дело до людей?...

Прошло еще около получаса, и мы вновь вышли к винтовой лестнице. Эта, впрочем, была пошире и казалась менее старой. Скрипела, правда, так же оглушительно, хотя ее ступени и были присыпаны бурыми опилками, впитывающими звук шагов... К тому же мы уже не спускались, а поднимались.

— Готов встретиться с легендой московского фольклора? — спросил вдруг Монгол и подмигнул мне.

— С какой легендой?

— Тихо... — Монгол снова приложил палец к губам и хитро усмехнулся. — Давай подождем немного. Сигарета есть?

Мы довольно высоко поднялись по лестнице. Я устал и был рад передышке, решив для себя, что если уж я доверил Монголу свою шкуру, то теперь не имело смысла идти на попятную.

Мы закурили и стали ждать: Монгол — хитро скалясь и что-то бормоча себе под нос, а я — просто так.

Когда выровнялось дыхание и утихомирилось стучащее в висках сердце, я, к своему удивлению, услышал странную, некрасивую мелодию. Кто-то наверху, скрытый несколькими спиралями лестницы, тихо напевал, изредка, как и Монгол, бормоча что-то невнятное... Я вопросительно посмотрел на Монгола, но тот приложил палец к губам и стал медленно подниматься. Помедлив, я двинулся за ним. Уже через несколько витков лестница кончилась, и мы оказались в небольшом помещении, сыром и неприятно промозглом. Стены из побуревшего от времени и сырости кирпича казались склизкими и холодными. Кое-где из стен торчали железнодорожные костыли: на одном из них висел намотанный кольцами провод с пыльной, гнойно-желтушной лампой, которая почти не давала света. Лампа слегка покачивалась, заставляя неверные тени бегать из одного угла в другой. На втором костыле висел подрамник с неровно натянутым грубым холстом, а перед ним стояла, напевая себе под нос некрасивую мелодию, с пятнистой палитрой в левой руке и десятком разномастных

кисточек в правой легенда московского фольклора... И я вновь подумал, что в последнее время многое из того, во что я раньше отказывался верить, обретает плоть и смысл.

Низовой Художник работал усердно и увлеченно. Он не обратил на нас никакого внимания, то нанося на холст мазок, то отходя на шаг и окидывая свою работу критическим взглядом. Сам Ниху выглядел именно так, как описывали его темными ночами в палатках пионерлагерей и комнатах студенческих общаг: тощий и невысокий, с всклокоченной шевелюрой бесцветных волос, бледный из-за постоянной нехватки солнечного света, с непропорционально длинными руками... Я перевел взгляд на холст, но не увидел ничего, кроме разрозненных цветowych пятен...

— Здравствуй, Ниху, — вполголоса поздоровался Монгол.

— А-а, здравствуй, Монгол, — оборачиваясь, произнес Ниху. Я вздрогнул, заметив, что оба его глаза заклеены квадратами лейкопластыря — из-под левого сочилась омерзительная влага. — Кто это с тобой? Запах незнакомый...

— Это курьер, о котором я тебе говорил. Нам нужна дверь...

— Да-да, припоминаю... ты заходил как-то... Недавно ведь?

— Вчера...

— Да-да, — Ниху снова отвернулся к холсту и резким движением нанес на него неровную черту бледно-зеленого цвета, — знаешь, что я пишу сейчас, курьер?

Монгол обернулся ко мне и кивком велел подойти поближе. Я повиновался, хотя чувствовал, как по коже бегут мурашки страха. Если одна часть легенды о Низовом Художнике оказалась правдой, что мешало и второй части оказаться таковой? Чем-то (или кем-то?) он должен был питаться. Я подошел, аккуратно опустив руку в карман и сжав рифленую рукоять «макара»...

— Я ведь тебя спросил, курьер, — тихим, холодным, как само это помещение, голосом сказал Ниху, — как ты думаешь, что я пишу?...

— Если... — слова попытались застрять у меня в глотке, и я сглотнул, проталкивая комок, — если верить тому, что я слышал, ты рисуешь будущее.

— Возможное будущее, — уточнил Ниху, добавляя к бледно-зеленой черте кислотно-желтую, — все художники в той или иной мере рисуют будущее. Реже прошлое. Но прошлое всегда мертво. Оно прошло, оно статично. А будущее — интригует... Но я рисую даже больше, чем возможное будущее. Я рисую весьма вероятное будущее. И знаешь, курьер, я пока ни разу не ошибся.

— Да, я слышал.

Низовой Художник отошел от холста и некоторое время смотрел на него двумя грязными крестами пластыря: одним сухим, с зелеными точками, вторым мокрым и потемневшим... Мне жутко хотелось отступить, но Монгол заметил это и покачал головой. И я, сделав над собой усилие, не двинулся с места.

— Вот смотри, — сказал Ниху и указал пальцем на большое белое пятно, — это Пинас... А это, — он перевел палец на две черты желтого Цвета, — это тигровые манипулы генерала Фальстата. И все это вместе — Пелопонесская битва...

— Пелопонесская? Но разве это будущее?

— Разумеется. — Ниху улыбнулся, показав ряд острых зубов. — *Эта* Пелопонесская битва еще не случилось. Она начнется послезавтра, в половине восьмого утра, когда Фальстат поднимет мятежные войска. Ну, может, я и ошибаюсь на неделю-другую, это не имеет никакого значения. А вот это, — он ткнул пальцем в неровный квадрат черного цвета, — это Гарибальдийская тюрьма, откуда мятежники выпустят заключенных, в том числе и группу «Особь»...

— Я что-то слышал о них...

— Услышишь и еще, — кивнул Ниху, — через полчаса ты будешь у Фальстата, и там у тебя будет возможность услышать об этом и о многом другом.

Я удивленно оглянулся на Монгола, но он кивнул:

— Да, старик, это единственный выход. Фальстат, конечно, проиграет, все мятежники

рано или поздно проигрывают, но беспорядки в городе помогут тебе уйти. Через трое суток тебя подберет по маячку вертолет и переправит в квадрат Острова Хирурга. Там тебе, если захочешь, сделают новое лицо, новое ДНК, новое все, кроме мозгов, и ты сможешь вернуться. Но выйти из города сейчас тебе не дадут. Маркерный кордон предупрежден о тебе. И рано или поздно тебя достанут. Впрочем, ты можешь остаться жить внизу.

— Нет, не может, — покачал головой Ниху, — я не разрешу такому, как он, остаться внизу. Он съест крыс, которых ем я. Я нарисую вам дверь, и вы уберетесь отсюда...

Низовой Художник сделал шаг в сторону и быстрыми и точными движениями очертил на стене прямоугольник размером со стандартную дверь. Затем он легонько толкнул его, и эта часть стены рухнула куда-то наружу, впуслав портал ослепительно яркого света.

Ладно. ОК. Отлично... Это безумный день, я в безумной ситуации, меня окружают inferнальные крысоловы и в высшей степени странные художники. Если бы отсюда можно было уйти просто так, это выпало бы из канвы происходящего. Так сказал я себе, делая шаг к ослепительному portalу. Но в тот момент, когда я готов был шагнуть в него, когда я уже поднимал ногу и внутри меня все непроизвольно сжалось, — в этот самый миг портал погас, обратившись вновь кирпичной стеной, а за спиной у меня раздался безумный, с привизгиванием хохот Низового Художника...

— Шутка... Эй, курьер, это шутка, я пошутил, парень... Ха-ха! Боже, какие же вы, люди, тупые создания! Вы же просто бездумное, послушное стадо! — Ниху перестал хохотать и теперь говорил на повышенных тонах, демонстрируя легендарное безумие Низового Художника, который рисует будущее и питается крысами и невезучими людьми, забредшими в его промозглое царство. — И кто вы после этого, а? Кто вы такие, чтоб запрещать мне подниматься наружу? Вы даже не достойны имени сапиенсов, ублюдки, вы были и остались эректусами. Это все, чего вы добились за века эволюции, — громким шепотом закончил Ниху.

Я растерянно оглянулся на Монгола, потому что смотреть на Ниху было страшно. Но Монгол смотрел куда-то в пространство пустыми глазами, и мне вдруг показалось, что я не узнаю его. Да, это был Монгол, это были его дреды, его лицо, его привычка сутулиться... Но, *это* уже не было Монголом...

— Что ты на него смотришь? — прямо над моим левым плечом прошептал Ниху (я не услышал своим тренированным курьерским ухом, как он приблизился). — Ты, наверное, надеешься, что он тебя выручит, даст верный совет, объяснит... да, курьер? Ха-ха, да?

Я молчал, чувствуя, как деревенеет мое тело. А Низовой Художник обошел меня, подошел к Монголу и провел рукой на фоне его груди. И тогда там, где прошла бледная ладонь Ниху, тела Монгола не стало. Словно его стерли со школьной доски куском пропитанной водой губки. Не было ни крови, ничего такого. Это было абсолютно нереально и в тоже время совершенно естественно. Ниху провел рукой еще раз... Пропала еще часть тела Монгола, и его ноги теперь стояли на земле, а торс, отделенный пустотой, сквозь которую был виден склизкий кирпич стен, начал, клонясь, отплывать в сторону.

— Не надо, — произнес вдруг бледными губами совершенно без интонации Монгол, — пожалуйста, не надо...

Из уголка его рта начала медленно, с ленивой неторопливостью, струиться струйка ярко-красного цвета...

— Молчать, — визгливо крикнул Ниху, — тебя нет! Ты забыл, забыл, забыл?! Нету! Ты сдох два года назад, тебя пристрелили! А я нарисовал тебя снова! Я! И в благодарность ты привел ко мне этого?!... Ты же знаешь все, знаешь! У него в кармане, да?! И ты знаешь, знаешь, знаешь, что он сейчас сделает! Он сделает мне больно, такие, как он, всегда приходят и делают мне больно!

В голосе Ниху послышались плаксивые нотки, и он начал медленно оборачиваться в мою сторону. Он уже начал поднимать руку, и я действительно увидел в его ладони мокрую губку, испачканную в краске... И тогда я начал двигаться. Мое тело начало двигаться. Моя рука пошла навстречу его руке. И «макар», уже заряженный «макар» тяжело рывкнул в

пустоте подвального склепа, превратив кисть художника в лохмотья. Ниху завизжал, отскакивая, и бросил в меня кистью. Яркая полоса кислотно-желтого цвета разделила комнату на две неравные части, и там, куда падала краска, кирпич начинал дымиться. Время превратилось в вязкое желе, и кисть летела очень медленно, и дым от кирпичей поднимался очень медленно... И я успел заметить, как из рассеченного тела Монгола хлынула кровь, а Ниху опустился на колени и, стремительно обрастая жесткой серой щетиной, побежал, припадая на правую лапу, к лестнице. И я подумал тогда: как хорошо, что он кинул кисть левой рукой и промахнулся. Она прошла в нескольких сантиметрах левее моего плеча, пронзила стену и исчезла...

Я развернулся и выскочил через одну из двух дверей. За ней оказалась еще одна дверь, а за той в свою очередь еще одна, и я решил, что все, попался, но потом вдруг выскочил в коридор. Прижавшись боком к ржавому железу двери, я согнулся пополам и долго блевал, не в силах остановиться. Потом, когда мне полегчало, я вытянул из кармана пачку, прикусил фильтр сигареты зубами и поднес дрожащими пальцами зажигалку. Прикурить удалось не сразу...

Если верить часам на экране моего мобильного, я проплутал в катакомбах чуть больше суток. Это было истинное Подмосковье, неведомое бедолагам, что топчут мостовые города над ним.

Трижды я находил места, где можно было подняться наверх, но каждый раз, добравшись до тяжелого блина канализационного люка, чувствовал слабый, но все же ощутимый запах аммиака и керосина... Через несколько часов после встречи с Ниху я вскрыл пакет «НЗ» и обнаружил в нем галеты, тюбик томатной пасты, плоскую флягу с кокой и два туго набитых косяка. Я так думаю, по логике Монгола сперва следовало одуплиться, потом кинуть «свиную» еду и прополоскать высохшую пасть колой. Подумав об этом, я невольно улыбнулся. Есть не хотелось, но я затолкал в себя и галеты, и пасту, а косяки бросил на пол и растоптал... Я и без того чувствовал себя как-то странно... Словно наблюдал за героем старой компьютерной игрушки, бегущим по лабиринту. Что-то в этой игре подвисло, у героя кончились все бомбы, он уничтожил всех монстров и собрал все сундучки и монетки, но дверь так и не открылась, и он все бегал и бегал по лабиринту. Бесконечно... Курить не стоило, мой мир и без того походил на бэд-трип...

Спустя часа три-четыре я вновь увидел Монгола. Он, совершенно голый, сидел на корточках у стены и пожирал дохлую крысу. Нижняя челюсть и грудь его были испачканы в крови, на животе ярко выделялся страшный, белесый шрам толщиной в палец...

— Монгол, — осторожно позвал я его, и он поднял глаза, но, видимо не узнав меня, отскочил на несколько шагов и злобно заворчал... Я замер, не зная, как поступить.

А потом откуда-то донесся звук гаммельнской дудки, Монгол страшно, невыносимо тоскливо завыл и медленно, припадая на левую ногу, поплелся прочь. Я развернулся и бежал около часа... Потом мой мобильник стал подавать сигналы о том, что садится аккумулятор...

Наконец я вышел к очередной двери. Она была чуть приоткрыта, и в щель сочился неясный свет сумерек... На улице был вечер. Я долго принюхивался, потом передернул затвор «макара» и осторожно выглянул...

Это был двор между опустевшими и частично уже разрушенными корпусами общаги на Соколе. Раньше здесь жили художники, потом вьетнамцы, потом вьетнамские художники, потом что-то случилось, район оцепили милицейскими маркерами, и по городу пошла легенда о Низовом Художнике и его пире... Великий русский профанатор от литературы Владимир Набокин написал об этом книгу, так и назвав ее: «Пир». Говорят, тогда мало кто выжил. Я своими глазами видел, как вывозили на свалку за МКАД канистры с погибшими маркерами. А вьетнамских художников хоронили в заколоченных гробах.

Теперь в этих общагах живет странная секта полубомжей-полумонахов. Они все время пьют и все время молятся. Кому — я не знаю. Известно, что они попрежнему периодически

пропадают. Иногда трупы с перекушенными глотками находят на окраинах города у канализационных люков. Иногда у того, что находят, отсутствует не только горло, но и многие другие части тела. Пару лет назад вокруг этого поднялся шум и в катакомбы отправили солдат. Но они никого не нашли, а у них самих, по слухам, на следующий же день обнаружили гонорею. Теперь об этом не вспоминают. Еще одна страшная деталь страшной обыденности, только и всего... Впрочем, обыденность страшной не бывает. Став обыденным, явление утрачивает всю экспрессивность и становится просто событием.

Я огляделся. Стены грязного желтого цвета, простреленные темными квадратами окон, подпирали сумеречное небо у меня над головой. Небо тоже было грязного желтого цвета. И низкие облака тоже. И даже луна на небе желтела и морщижилась грязными пятнами.

Стены корпусов были покрыты зеленым мхом, какой часто прорастает в таких заброшенных местах. Этот мох мог представлять опасность: попав на открытую рану, он вызывал необратимые мутации тканей. Говорят, монахи курили его.

Я постоял, осматриваясь. На одной из стен кто-то вывел флюоресцирующей краской «Гумберт-Гумберт». А чуть ниже «дмб 20...», а дальше на стене темнело бурое пятно. Возможно, писавшему выстрелили в затылок, подумал я и стремительно оглянулся. Тихо... Я был в этом жутком дворе один. Но откуда-то из полуразрушенных корпусов общаги за мной наблюдали. Чтобы понять это, не требовалось особого чутья. Достаточно было поглядеть перед собой и заметить, как по стене метнулся тонкий красный луч, а потом я перестал его видеть, скорее всего потому, что он переместился на мой затылок... Я прыгнул вперед, туда, где обросшие мхом бетонные плиты могли укрыть меня от снайперской пули. Осколки кирпича больно врезались в мои локти, а чуть дальше взорвался кусок бетонной плиты, и меня осыпало крошками. Я снова куда-то прыгнул, куда-то упал, обо что-то ударился головой, теряя сознание, вскочил, и тут же мое плечо со спины рванула дикая боль, а самого меня сильно толкнуло вперед, на мшистую поверхность. Но я не помню, упал или нет. Скорее всего — да...

II.3

Лето ворвалось в город как-то сразу, никого ни о чем не спрашивая, никого ни о чем не предупреждая. Просто вялая полуосенняя зелень апреля-мая за несколько дней набрала силу, заполонила мир вокруг Больницы и даже успела покрыться первой городской пылью июня. Я наблюдал за этим из окна моей палаты и старательно пропитывался этим хорошо забытым, старым, детским, оладьевым запахом преющего асфальта. Где-то там, чуть дальше, за монолитом соседнего корпуса гроыхала многосуставчатая автотрасса, но не беспокоя и не нарушая тишины, а так, фоном, умиротворенно. Как музыка джаз.

В небольшом больничном дворике, зажатом между корпусами, словно футуристический цирк без гладиаторов, гулял Немой. Немой не был похож на гладиатора. Он был худой, сутулый и смешной. Гладиаторы могли быть, наверное, и худыми, и сутулыми, но только не смешными, в этом я уверен на сто процентов. Немой бродил вокруг Странного Памятника, листал журнал, пару раз смешно споткнулся и погрозил кому-то в пространство кулаком. Я точно знал, что этот журнал — «ГЕО» трехгодичной давности. Потому что Немой всегда ходит гулять вокруг памятника с этим журналом. Вот уже три года. Немого нашли там же, где и меня, около корпусов общежития на Соколе. Он был страшно изуродован, и никто из врачебного персонала не верил в его выздоровление. Но Немой выжил, только стал худым, сутулым и... смешным. Что-то переклинило у него в голове.

О памятнике. Он занимал мое воображение тогда, и теперь я порой к нему возвращаюсь. Без каких-то особенно насыщенных эмоциями чувств, лишь как к загадке, не сыгравшей особой роли в моей судьбе, а просто имевшей место быть. Как тот забор у Довлатова... Есть там такой момент, когда умирающий рассказывает, кажется, сыну, что теперь, перед смертью, жалеет лишь об одном: в детстве он ходил в школу мимо забора и

всегда мечтал узнать, что же за ним находится; и вот теперь жалел, что так и не узнал; а больше и жалеть было не о чем. Так же я, наверное, буду вспоминать перед смертью Станный Памятник и жалеть, что так и не смог разгадать его тайну. Тайну, которая не сыграла в моей жизни никакой роли...

Это был гипсовый пионер-трубач, вкопанный по колени в землю. Никакого постамента. Только на флажке от трубы надпись «13-ой жертве». Я долго расспрашивал местных завсегдатаев и врачей, но никто никогда не слышал ни о тринадцатой жертве, ни о том, почему памятник вкопан в землю. Памятник, кстати, был большой: даже вкопанный, выше меня на пару голов... Один молодой интерн высказал предположение, что, возможно, постамент и существует — там, под землей, и если раскопать, то можно будет прочесть на нем все о тринадцатой жертве. Но копать не хотелось. Вообще, желания как таковые отступили в эти дни на второй план, и я наслаждался спокойным существованием, ленью и обществом Немого.

Немой опять споткнулся, и я отошел от окна. В принципе я был здоров, за мной просто наблюдали.

Стреляли в меня монахи. Зачем и почему, не знаю, скорее всего им просто хотелось есть. По той же причине, видимо, они когда-то напали и на Немого, но мне повезло чуть больше. Федеральный наряд из воинского оцепления услышал звук выстрела. Мне повезло, что это были не милиционеры и не маркеры. Первые стараются быть подальше от тех мест, где стреляют. Хотя они и являются стражами правопорядка, но того правопорядка, который установили сами (помните расту-перкуSSIONиста?). И им вовсе не обязательно подставлять под пули собственную шкуру там, где этот правопорядок не работает. «У нас своя свадьба, у вас своя» (кинофильм «Поднятая целина»).

А что касается маркеров, то они выудили бы всю информацию обо мне и без труда сопоставили мои отпечатки пальцев с отпечатками разыскиваемого мотоциклиста. Для них это рутинная работа.

Солдаты же просто переправили меня в Больницу и забыли обо мне.

Зато отныне я представлял некоторый интерес для медицинской науки. Там, во дворе общаги, я упал простреленным плечом на серый мох, его споры попали в кровь, и плечо, скажем так, видоизменилось. Ткани и кости в этом месте мутировали. Никто, правда, не мог сказать, почему мутация не распространилась на все тело. Потому меня и наблюдали, ждали развития процесса или регресса. Ни тот, ни другой не наступали, а я не возражал. Главное, что никто не спрашивал у меня документов и не пытался узнать, кто я такой, — я же был экстренно доставленный. А когда все-таки спрашивали, я «не помнил». Амнезия. Головой о бетон, и все дела. Кстати, головой я действительно приложился весьма ощутимо, но ко времени летнего пылестояния шишка уже рассосалась, а синяки сначала покраснели, потом стали бледно-желтыми и наконец вовсе исчезли. Остался только неровный шрам: падая, я проехал лицом по острому пруту арматуры, благо вскользь. Так что меня все устраивало. Единственным, что омрачало пребывание в Больнице, было тотальное безделье (хотя и не такое жуткое, как в квартире Монгола).

Я прошелся по палате, поторчал у зеркала, разглядывая серо-зеленое роговое образование у себя на плече. Как наплечник у гладиатора. Солидно и совсем не смешно. Мне нравилось. Но когда я был одет, это выглядело не так приятно — как будто меня прочно перекосило. Квазимодо. А если добавить неровный шрам через все лицо, оставленный во время моего падения прутком арматуры, — картинка идеальная. Можно в комиксы. Или в электрички — милостыню просить. Тоже хлеб, в общем-то...

Я натянул полосатую рубашу, проверил «макар» под мышкой... Висел пока прочно. Я не стал париться и пару дней назад присобачил его пластырем. Вроде бы не особенно заметно... Только пластырь надо периодически менять: отклеивается, скатывается в трубочку... Ни почесаться, ни рубашу на людях снять. В принципе никакой необходимости в вольне тут, в Больнице, не было, и я поступил так только из-за пропитавшего мою курьерскую кровь убеждения в том, что береженого Бог бережет.

Выбил из пачки три сигареты — одну себе и парочку Немому — и поплелся вниз. В такой день в палате торчать не хотелось. А узнать меня вряд ли кто-нибудь сможет — перекошенного, в пижаме, да еще с таким брутальным украшением на роже. Шрам, правда, предлагали убрать, но я отказался. Пусть будет. Пока.

Говорят, ближе к лету Больница вымирает. Трудно сказать, я ведь первый раз попал сюда, и как раз ближе к лету. А до того, когда получал периодически травмы различной тяжести (работа такая... была), лечили меня врачи Конторы. Было там и стационарное отделение для особо тяжелых случаев, типа пули в лоб или аппендицита.

Блуждание по второму больничному корпусу (корпус экстренных, привезенных) стабильно навевало мне ассоциации с древним совковым фильмом «Посредник». То же ощущение пустоты, потерявшегося эха, нечеткости красок, едва ли не черно-белой пленки... Ощущение пустого пространства, которое ни с чем не перепутать. В целом, на меня это не особенно давило, просто не нравилось. К тому же я иногда начинал вспоминать сутки, проведенные в катакомбах, Нику и Монгола. А это не самые приятные воспоминания.

Я пересек коридор, вышел через стеклянные двери и, перепрыгивая через две-три ступеньки, побежал вниз по лестнице. Не останавливаясь, промчался мимо насмешившей меня в свое время площадки между третьим и вторым этажом (на стене, одна над другой, две таблички: «Не курить» и «Окурки бросать в урну»). Потом перешел на шаг и стеклянную будку со зловещей надписью через трафарет: «Военизированная охрана. Пост № 166/9» миновал не торопясь, как и положено больному. В будке сидела полненькая бабулька божий одуванчик и вязала шерстяной носок.

— Баб Валь, — доложил я, — пойду погуляю часок.

— Иди сынок, погода в самый раз, — ответила, улыбаясь, грозная военизированная охранница, — только к обходу возвращайся.

— Будет сделано, баб Валь.

Яркое ветреное утро рванулось мне навстречу квадратом распахнутой уличной двери, и я оказался в ограниченном каменными больничными корпусами пространстве.

Немой обернулся и, издав что-то вроде «Ыма» (так он произносил имя Рома), помахал мне рукой и заковылял навстречу. Я помахал в ответ.

Вдоль дальнего корпуса в тенечке гуляли двое знакомых пожилых врачей. Они что-то увлеченно обсуждали, при этом один то и дело взмахивал рукой и громко произносил странную фразу: «Ресурс антител не влияет на статичность метастазы», а второй ему отвечал с тем же пылом: «Но не стоит забывать, коллега, про... про... коллега, не стоит, знаете ли...» В общем, два больных на всю голову и по-настоящему счастливых человека. Трогательная картинка, особенно в наше циничное время. Впрочем, при чем тут время? Такие вот старички сидели в каких-нибудь гулагах и зеленлагах и с таким же пылом обсуждали свои метастазы и диффузии около печек-буржеек. Кое на что, слава богу, времена и нравы не влияют. Меня это как-то успокаивает...

— Ыма, — сказал Немой, когда я подошел к памятнику, — ай ыаээ-эмуу, ааууааа...

— Держи, — сказал я, протягивая Немому сигареты, — бери обе, это я тебе вынес. Только у меня зажигалка кончилась.

Это только поначалу кажется, что понять Немого невозможно. На самом деле он вовсе не был немой, просто там, во дворе общежития, ему сначала прострелили ногу, а потом саданули тесаком по горлу. Провалился он слишком долго, так что мох попал на гортань. Слизистая для мха, конечно, не так благоприятна, как открытая рана, но и она на безрыбье покатыт. В общем, при желании Немого не так уж трудно понять. Но понять, как при всем том он умудрился выжить, я не могу.

— У ыа э, — улыбнулся Немой, добывая из кармана рубашки дешевую китайскую зажигалку. Мы закурили. Мне дико хотелось скинуть рубашку и подставить плечи под это первое настоящее солнце, сыпавшееся на землю не только светом, но и теплом своих лучей. Но «макар» под мышкой портил весь коленкор. Так что я просто сидел и молча курил, щурясь на ослепительное небо, многократно размноженное стеклами окон. Солнце плавало

эти стекла в жидкое золото и сушило маслянистые лужи на асфальте.

— Как дела, Немой? — спросил я.

— Аао, — ответил Немой и показал мне большой палец. Потом протянул журнал и, весело кивая, повторил, — аао...

— Да, хорошо, — согласился я. Вмял окурок подошвой больничного тапка в песок и огляделся.

— Оа ооы, — сказал Немой.

— Да, я в курсе насчет обхода. Сейчас пойду...

— Не ходи, — вдруг четко произнес Немой, не отводя глаз от журнальной страницы. На фотографии огромный белый медведь тащил на спине медвежонка...

— Что? — опешил я.

— Не ходи. Просто посиди еще, — Немой поднял руку и посмотрел на часы, — еще семь минут.

— Ты... не Немой?

— Аа зооы, — ответил Немой, поднимая глаза и придурковато улыбаясь, — ааа...

Показалось, догадался я. Просто показалось, очередной глюк. Врачи напичкали меня чем-то... А может...

— Ты... мне показалось, что ты только что говорил, — сказал я Немому, — прости. Ладно, я двинул.

— Тебе же сказали, посиди еще.

На этот раз я увидел, что губы Немого не двигались, но вот в лице что-то изменилось. Такое выражение бывает у маленьких детей, когда их одних оставляют в темной комнате. Страх, непонимание... Но главное все-таки страх.

— Моо эооо, — промычал Немой...

— Кто ты? — спросил я.

— Да тебе какая... кто я такой? Просто сиди на месте, если жить хочешь.

В этот момент Немой вскочил и сделал пару неуверенных шагов, потом остановился, схватился руками за голову и начал стонать... Сначала тихо, и это было похоже на собачий скулеж, а потом все громче и громче, пока стенания не превратились в вой. Он то слегка приседал, то распрямлялся. Делал несколько быстрых шагов, как будто пытаюсь бежать, а потом, нетвердо ступая, возвращался. Спустя несколько секунд этого жутковатого воя к нему подскочили два старичка-доктора, взяли под руки и, что-то тихо и убедительно говоря, увели в сторону дальнего корпуса, откуда уже спешила команда дюжих санитаров в халатах с закатанными рукавами...

А я стоял на том же месте, бездумно глядя в пространство. Никаких мыслей, чувств и прочего. Во мне словно что-то замерло, как будто вышибло предохранитель... Немого увели, двор опустел. За дальним корпусом коротко рявкнул недовольный автомобильный клаксон, и снова все стихло, только гулко стучало мое сердце и солнце начало завлакивать набежавшим облаком...

А потом что-то протяжно ухнуло, и сверху посыпались осколки, щепки, еще что-то... А из окна моей палаты вырвалось черно-красное пламя.

«Стандартная Ф-1, — подумал я, все так же спокойно, — в маленьком помещении срабатывает идеально...»

— ...Ыма...

Я резко вскинул голову и понял, что задремал прямо там, во дворике, прислонившись плечом к ноге памятника... Задремал буквально на мгновение, но этого мгновения хватило, чтоб увидеть красочный и пробирающий до печенок кошмар...

— Ыма... ыаза, — Немой тряс меня за плечо и кивал на сигарету, — ээи...

— Что? А... сигарета тлеет... — Я с трудом заставил себя встать, пригладил волосы, и они оказались горячими. — Ничего страшного, у меня там еще есть. Много. Я водителю прачечной деньги дал, он мне блок привез.

— Оооээ...

— Да, блок. Так что в ближайшее время нам не светит беречь здоровье.

Немой улыбнулся и часто-часто закивал. За дальним корпусом недовольно рывкнул автомобильный клаксон, и снова стало тихо. Я невольно поднял глаза и посмотрел на окно своей палаты. В этот момент одна из его створок приоткрылась, и наружу показался массивный торс сестры-хозяйки, властной особы с великолепными черными усами над верхней губой и привычкой говорить: «Ну, что еще кто?» Вяло чертыхаясь, она забралась коленями на подоконник и принялась водить тряпкой по стеклу. Стекло тотчас засияло маслянистыми, красно-синими разводами.

— Аа ыы аааэээууу, — мечтательно сказал Немой и снова улыбнулся.

— Да, — согласился я, — на речку бы не помешало.

— Оа ааыыээ...

— Это в Москве речки грязные, а в Подмосковье можно найти нормальные места. — Я втоптал окурочку в песок подошвой больничного тапка и поднялся. — Ладно, пойду я потихоньку. Обход скоро...

— А оом ыыыеее?

— Да потом, наверное, выйду. Если не сморит. Спать охота весь день.

— Эо ааэыы...

— Я понимаю, что таблетки. Ладно, пошел я. Не скучай тут.

Я развернулся и пошел, и почти дошел до дверей корпуса, когда Немой окликнул меня:

— Ыыма...

Что-то неясное перевернулось у меня под ребрами. Я медленно повернулся, готовый к тому, что мой краткий сон-кошмар обратится явью...

— Ыыма, — улыбнулся Немой, — ыыы ыаэээуу...

— А... да, — кивнул я, делая шаг в дверной проем, — конечно, я принесу сигарету... Конечно...

Через пару дней я уехал из Больницы, оставив Немому оставшиеся восемь пачек сигарет и пообещав навещать иногда. Но больше мы не встретились. Так уж сложилось, что побывать в больничном двореке мне пришлось несколькими месяцами спустя, но Немого тут уже не было. Да и самой Больницы тоже. А вот памятник стоял как ни в чем не бывало.

III.1

Впрочем, правильнее будет сказать, что меня из больницы забрали. Я вышел через проходную, нацепил солнцезащитные очки и неторопливо пошел к автостоянке. Монголовский «Инде́нт» одиноко маячил красными бортами. Других машин на стоянке не было.

— Йоу, нига Рома! — Монгол вывалился из машины, сверкая зеркалами таких же, как у меня, очков. — Ты выглядишь лучше, чем я ожидал. Я думал, еду забирать из больницы ходячий труп, хеллрейзера, который не потеет, все дела А мне подсунули качка. Только ты слегка перекачал одно плечо, брат... И, кажется, уснул на паяльнике...

— Пошел ты, — усмехнулся я, залезая в машину.

— Только после тебя, нига, — ответил Монгол, быстро поправил на хрен не нужные в такую погоду «дворники» и сел за руль.

— Как ты, брат? Болит? — Монгол кивнул на мое плечо.

— Да нет. Оно и не болело почти. Ты-то как?

— Да... нормально, в общем, очухался. Когда меня крысоловы нашли, было хуже... Живот иногда болит, а так нормально...

— Рад за тебя... А вот зачем ты меня тогда подставил, я так и не понял. Может, хоть теперь скажешь?

Монгол завел машину и, высунув голову в окно, стал выворачивать задним ходом со стоянки. Я смотрел сквозь прозрачную зеленую полосу вдоль верхнего края лобовухи на перевалившее через горизонт размытое око солнца. Привычный тяжеловес-дирижабль завис

где-то в стороне станции метро «Тульская». Надпись на его брюхе гласила: «Шевцов, сука, я тебя достану». То ли реклама пива, то ли и правда угроза. Частные объявления такого рода в последнее время стали очень популярны. «Индент» выкатился на проезжую часть, Монгол втянул голову в салон.

— Вряд ли ты сможешь мне поверить, брат, — сказал Монгол, хотя я и не ждал от него никаких объяснений, кинул вопрос так, в пустоту, — ты просто не готов понять всего, а кое-чего не знаешь. Но я не подставлял тебя, я пытался... кое-что исправить. Причем уже не первый раз. Я тебе больше скажу: с каждым разом я как будто ближе к цели, но, нига Рома, но... Я надеялся, что ты убережешь Ниху. Видишь ли, есть условия, я не могу тебе о них пока сказать, но ты все равно узнаешь, клянусь. Так вот, есть условия, из-за которых, кроме тебя, никто не мог этого сделать. Правда, на этот раз и ты не смог.

— Что значит «на этот раз»?

— Если я тебе скажу, брат, что ты уже не раз стрелял в Ниху, ты мне поверишь?

— Нет.

— Тогда мне нечего тебе сказать. Да и не в Ниху дело, Ниху так, одна из деталей. Хотя, согласись, весьма колоритная. Но, понимаешь... это ведь дерьмово — жить, осознавая себя старой магнитофонной записью.

— Почему магнитофонной?

— Потому что нас могут в любой момент стереть в задницу. Меня. И тебя, между прочим. Не только и не столько Ниху, так-то, брат. Прости, остального я тебе не стану объяснять сейчас. Но... скажи, Ром, тебе никогда не казалось, что мы живем в странном, нелогичном каком-то мире?

— Я уверен в этом, ну и что?

— Да нет... Когда-нибудь я тебе расскажу, как обстоят дела на самом деле. А может, ты сам все поймешь. Но пока еще рано. Давай поговорим о твоём деле?

— Давай. — За время вынужденных больничных каникул я совершенно забыл, что у меня есть какие-то проблемы и их надо решать. Если честно, мне куда интереснее было услышать то, что Монгол оставил недосказанным. Но я не стал настаивать. Работая курьером, привыкаешь подавлять любопытство.

— Короче. В кабинете у того жмурика... прости, у того парня, твоего приятеля, висела скрытая камера, она все зафиксировала, так что тут ты чистый. Могут наехать за то, что ты не сообщил, есть такая статейка, но... На самом деле это ерунда, отмажем тебя без проблем. А вот с лавиной «Юности» дело обстоит хуже, тут могут возникнуть сложности. Они пытаются повесить на тебя обрушение стены, а значит, и косвенную вину в десяти смертях. Угнанный мотоцикл опять же... На самом-то деле все это шито белыми нитками. Рано или поздно станет понятно, что вместо правды народу скармливали утку, и я уже кое-что предпринял, газетчики начали рыть землю. Но нужно время, так что даже хорошо, что ты провалялся в Больнице. Это очень хорошо, нига Рома. Если все получится, на тебе останется только мотоцикл. А это уже мелочи, что-нибудь придумаем. Так что поживешь пока в одном домике около МКАДа, полежишь на матрасах, как говорил один нига-сицилиец. Место надежное, зуб даю... Тебе понравится, в нем есть что-то... ну, не знаю, самурайское, что ли... Как в тебе.

— Какое?

— Ну, не знаю, как объяснить... индифферентность какая-то. Самое главное, что там хорошо и тебя никто не побеспокоит. А я сделаю все как положено, и на этот раз без осечек. Их и не было, но ты не поверишь. Кстати, я снял деньги по твоей доверенности...

— Ты их, главное, отработай.

— Угу. Если успею...

— То есть если успеешь?

— Да я это о своем, нига Рома, тебе теперь волноваться больше не о чем...

«Индент» выскочил на переполненную Варшавку. Автомобильный поток мозаичным конвейером перся по проспекту, полностью игнорируя светофоры. Над Варшавкой подпирал

небо крутыми боками рекламный дирижабль — теперь на нем была изображена бутылка с надписью «Shewtsoff»...

Если верить Тай-Мину, будущего нет. Есть бесконечность настоящего и, наверное, память. В принципе верно. Но настоящее неоднородно, оно делится на частные и общие моменты. Это уже не Тай-Мин, это я. Общие моменты — как подкованный сапог. Ты можешь ступать мягко, как кошка, или топтать по мостовым судьбы, как рота солдат. Это ничего не изменит, ты все равно оставишь следы, чуть более явные или чуть менее заметные, но оставишь. Эти следы и есть общие моменты. А частные — это так, это не особенно важно. Другое дело, что храм по кирпичику строится, и желтая дорога, кстати, тоже.

Ну, да я не про то хотел сказать. В тот день, точнее, в тот момент я вдруг начал осознавать, что за все это странное время практически не делал бэкапов. Собственно, с тех пор, как Тварь прикончила Черчилля, я находился в зоне частных моментов. Я вырывал и обмусоливал кусочки происходившего, разглядывал the elements of puzzle по отдельности. Но ни разу не попытался соединить все вместе и увидеть картину в целом. Вообще-то это в моем характере, я и дальше мог бы продолжать в том же духе. Мне как-то предпочтительнее видеть несколько пусть и серьезных неприятностей, нежели осознать, что, по сути, я уже вторгся в цикличную зону глобального аутодафе, и пора бы с этим что-то делать. Другими словами, я предпочитаю решать проблемы по мере их появления, не особенно парясь над предпосылками и предпосылками предпосылок. Но тогда, в машине, медленно ползущей по Варшавке, я запросто, между делом осознал если и не всю картину, то большую часть пазла.

У меня нет Черчилля.

Меня уволили с работы.

За мной охотятся пэпээсные маркеры.

Вокруг меня творятся странные вещи.

Я совершенно ничего не понимаю.

Я практически бессилен что-либо изменить.

И самое главное — я не понимаю, какого хрена все это происходит именно со мной. Только из-за того, что я нарушил правила дорожного движения, спасая собственную жизнь? Да не смешите мои стареющие кеды, так не бывает. Я брюхом чувствовал, что все куда как сложнее. Вот и Монгол своими недомолвками только подтверждал эти смутные догадки. По всей видимости, я с этими частными моментами вторгся в зону моментов общих. Только, боюсь, зона эта контролируется кем-то другим. Или чем-то другим. И «кому-то» или «чему-то» выгодно, чтоб вся эта ерунда крутилась вокруг меня. Хотелось сказать — *именно* вокруг меня, но подумалось: вполне может статься, что я — персонаж случайный и на моем месте мог оказаться кто угодно. «Напьешься — будешь» (не менее одиозный фильм советской эпохи «Бриллиантовая рука»).

В целом безрадостно, сделал вывод я и решил подумать об этом завтра. Даже дурочка О'Хара была способна на мудрые поступки.

Я ведь в ту минуту еще не знал, кто этот третий, что он уже ступает кованым сапогом по улицам города и что частные моменты уже стали складываться в общие, шрамируя цедру судьбы беспорядочным узором неотвратимых событий. Так бывает... Собственно, только так и бывает, потому и говорят: «Хочешь насмешить Бога — расскажи ему о своих планах».

— А вот скажи мне, нига Рома, — окликнул меня Монгол, когда мы свернули с Варшавки в лабиринт узких промышленных улочек и переулков, — ты никогда не думал про то, что всего этого нет? Или, скажем так, есть, конечно, но... иначе.

— Занятно, — ответил я, — примерно об этом я как раз и думал минуту назад. И еще об Тай-Мине. Хотя... смотря что ты имеешь в виду. И... это продолжение того разговора о нелогичности и прочей байде в этом духе?

— Да, продолжение. Вот смотри: я умер два года назад, меня сначала пристрелили, а потом сожрали крысы. Я все четко помню и осознаю. Но я везу тебя по Москве, в бардачке стоит холодное пиво, и все это не кажется нам странным. Что скажешь, курьер?

— Скажу, что про пиво ты напрасно молчал, — ответил я, выуживая из бардачка мгновенно запотевшую банку «Sheutsoff», — и еще добавлю, что я уже не курьер. А про остальное... Что изменит наше мнение, Монгол? Все обстоит так, как должно, и если нам кажется, что это неправильно, то мы стопроцентно ошибаемся. Иногда лучше и даже правильно, чтобы все было иначе, но тут действует иной принцип. Правильно или не правильно — это все херня. Это такие материи, которые изобрел сам человек для оправдания тех или иных своих поступков или бездействия. На самом деле все обстоит так, как обстоит. Вот и все. Это единственное правило. Можно, конечно, еще подрочить мозги, но это бессмысленно. Лучший вариант — не париться совсем. Потому что, знаешь, даже если свернуть мозги на этом деле, даже если стать пускающим слюни идиотом, все равно будет так, как есть. То уже идиот, а ничего не изменилось. Понимаешь?

— А если я скажу тебе, что обо всем произошедшем со мной я, скажем так, знал заранее?

— Тогда я тебе не поверю. Хотя... В твоем случае некоторые законы не срабатывают.

— В том-то и дело, нига Рома, в том-то и дело. А вот, скажем, если бы ты знал, что несвободен в своих поступках и решениях, но у тебя есть шанс вырваться из-под контроля? Ты бы попытался?

— Не знаю. — Я пожал плечами и сделал большой глоток. Пиво и правда было отменное. — Мы все так или иначе подконтрольны, все в какой-то мере не можем быть хозяевами своих поступков. Работодатели, деньги, идиотские принципы, даже мораль. Против всего не попрешь.

— Я немного о другом, брат. Я о том, что если бы ты узнал, что кто-то за тебя все решил, все за тебя написал и никаких вариантов тебе не оставил?

Я удивленно посмотрел на Монгола:

— Ты не о Боге ли заговорил, брат мой дредлатьй?

— Нет. В том-то и дело, что нет. Практически о таком же, как ты и я, человеке.

— Тогда я постарался бы найти этого парня и...

— А если его нельзя найти или невозможно достать?

— Такого не бывает. Любого человека можно найти и достать.

— Ну а если, нига Рома, скажи мне, если бы все-таки это было невозможно?

— Тогда я бы постарался действовать так, чтоб достать его, не находя. Попытался бы идти вопреки его планам.

— Во-от... Вот этим-то, брат, я и занимаюсь.

— Монгол, я тебя что-то не совсем понимаю. Ты ждешь от меня объяснений, а сам не хочешь ничего объяснять. Тебе не кажется, что это как минимум нечестно, а?

— Кажется. Но помнишь, я говорил тебе про условия? Так вот, я просто не могу тебе *сейчас* объяснить. Поверь мне. Рома, я бы хотел, очень хотел, потому что одному в поле приходится туго. Но не могу.

— Ну, тогда что ты хочешь от меня? У меня, как ты знаешь, и своих проблем выше крыши, а ты предлагаешь мне променада по минному полю, но не говоришь, где лежат мины, кто их поставил, и главное, на хрена. Ведь так?

Монгол кивнул, глядя на дорогу. Я отпил пива и полез в карман за сигаретами. Потом вспомнил, что оставил свои запасы Немому.

— Монгол, дай сигарету.

— На заднем сиденье, — ответил Монгол, качнув дредлатой головой, — там блок, это тебе на первое время. Будет лучше, если ты не будешь соваться на улицу. Буквально неделю-две. Там же, кстати, обувь. Подбирал на глаз, так что, может, промахнулся с размером. Они пропитаны кедровым маслом, и пару-тройку часов маркеры твой запах не смогут уловить... Это если тебе придется пройти по асфальту. Правда, там, куда мы едем, асфальта нет ни хрена. Но береженого Бог бережет.

— А там — это где? — спросил я, с чертыханиями роясь в грудe стандартных пакетов из супермаркета в надежде среди пластиковых тарелок с заварными супами, перетянутых

сеткой батонов колбасы и одноразовых полотенец оторвать блок сигарет.

— Далеко, — ответил Монгол, — это далеко. А вообще — не телефонный разговор.

Именно в тот самый момент, когда Монгол произнес это свое «не телефонный разговор», я и нашарил под грудой пакетов странно знакомый предмет. Делать ему в этом месте и в этом времени было совершенно нечего, но я сдвинул руку чуть в сторону и нашарил еще один точно такой же. Монгол что-то говорил, что-то спрашивал, но я его не слышал. Однако когда я медленно обернулся, его лицо расплылось в довольной усмешке.

— Отрабатываю твои денежки, нига, — сказал он и вдавил прикуриватель.

Я медленно вытащил из-под пакетов два коротких японских меча-вакидзаси: красный и черный... Между ними полосой шелковой ленты был примотан блок сигарет «667». То, что это были именно те вакидзаси, рукояти которых мне забыть не суждено, я понял практически сразу, даже не успев разглядеть царапину на ножнах красного меча и три насечки на рукояти черного.

Бывает, что между человеком и какой-то вещью вдруг возникает прочная связь, что-то вроде дружбы, но на ином уровне. Особенно часто такое случается, когда человек долгое время не расстается с этой вещью. В данном случае было почти то же самое, за тем только исключением, что эти мечи никогда мне не принадлежали. Но я так часто видел их рукояти за плечами Черчилля... Я был уверен, что для меня эти клинки потеряны. Что они ушли туда же, куда отправился после смерти мой друг. Уж там-то он мог всласть поработать в нестандартной технике спаренных вакидзаси... Разумеется, меньше всего я ожидал откопать их в пакете из супермаркета привязанными к блоку сигарет «667».

— Как тебе удалось добыть их? — спросил я, и голос мой прозвучал ровно, как натянутое на бильярдном столе сукно.

— Ну, — Монгол пожал плечами, — в положении зомби есть свои плюсы... Там, кстати, еще конверт на твоё имя. Но прочти его, будь любезен, когда я свалю. Нига, ты просто не представляешь, как мне трудно было его не вскрыть... Мне его передал один знакомый слепой сторож.

— Слепой Сторож Пристани?

— О, да ты многое знаешь.

— Он видел Черчилля?

Теперь уже Монгол удивленно посмотрел на меня.

— Нига, что с тобой сделали в этой Больнице? С чего ты вдруг заинтересовался историей матушки Great Britain?

Я сидел, хлопая глазами, и не знал, что ответить. Клинки безусловно принадлежали моему Черчиллю, а значит, думал я, никто другой их передать не мог. Или мог? Или все-таки мог, черт побери?

— Так ты ничего не знаешь о Черчилле? — пробормотал я.

— Только из школьной программы и кинолент моей юности, а что?

— Нет, ничего. А письмо? От кого оно, Монгол?

— Понятия не имею, брат, честное слово. По всей видимости, от того же, кто передал клинки, а что?

— И тебе было все равно, кто их передал?

Монгол пожал плечами.

— Мне нужно было доставить тебе эти игрушки. Я знаю, что это важно. А от кого они — мне все равно.

Я не знаю, откуда у Черчилля появились эти вакидзаси. По крайней мере, именно таким он мне и встретился — с мечами за спиной и незажженной толстой кубинской сигарой в зубах. Иногда я называл его Черчилль-сан. В шутку.

Примерно тогда же мне достался олдовый советский «Макаров», желто-черный талмуд Тай-Мина и две капсулы с ядом, которые и теперь, наверное, защиты в углы моей

курьерской куртки. Стандартные фетиши профессиональных курьеров. Впрочем, куртка осталась в урне неподалеку от Маяка и теперь, наверное, сгорела на одной из многочисленных свалок, расположенных вокруг МКАДа. Собственно, из-за свалок Монгол и вез меня туда. Там, по всей внутренней стороне Московской кольцевой автодороги, теперь масса пустующих домов — пользуйся, не хочу. Особенно ближе к июлю, когда свалки чадят особенно сильно.

Я курил, глядя на выраставшие из-за зубчатого московского горизонта дымы свалок, чувствовал тяжесть мечей на коленях и вспоминал...

Черчилль никогда не учил меня работать с мечами, в этом не было необходимости. Став частью меня, он отдал мне кое-какие знания автоматически. Но вот остались ли они при мне после смерти Черчилля? Слышать про такое мне не приходилось. Но вот руки — руки узнали рукоятки сразу...

III.2

Тем временем мы наконец подъехали к форпосту Монгола на границе цивилизации. Я ожидал увидеть заброшенную владельцами лачугу, покосившуюся и пропитанную запахом гари и разложений, который так и витал над этим местом. Он настырно проникал даже в машину с наглухо задраенными окнами, несмотря на деобрелки и прочие ароматизаторы. Когда я открыл дверь и вылез на улицу, мне показалось, что мое тело мгновенно облепила тонкая пленка нечистот, а легкие навеки забились смрадом.

— Запашок... — усмехнулся Монгол, — Родиной пахнет.

— Да, — согласился я, — весьма патриотично... Это он? — Я кивнул на стандартный двухэтажный коттедж, выкрашенный в темно-зеленый цвет, с окнами, закрытыми ставнями. Не лачуга, какую я ожидал увидеть, а просто обычный домик, который, если б не тяжелые металлические ставни, вполне мог показаться уютным семейным гнездышком обычной социальной ячейки. Не исключено, что пару лет назад, пока экологические террористы не запалили веками скапливавшийся на границе МКАДа мусор, в результате чего город оказался в смердящем дымящемся кольце свалок, так оно и было. Коттедж стоял в глубине запущенного сада, так что из-за его густой зелени с дороги дома практически не было видно. Сад, в свою очередь, был обнесен высоким кирпичным забором с решетчатыми вставками. В общем, приятное местечко... если бы не запах, к которому, похоже, нереально привыкнуть.

— Он, — ответил Монгол. — Хорошее место, правда? А к запаху привыкаешь уже через пару часов.

— Ты читаешь мои мысли, — усмехнулся я и выбил из пачки еще одну сигарету. Не потому, что хотелось курить, а чтобы хоть что-то противопоставить жуткой вони. — Монгол, а хозяин нечаянно-негаданно не заявится?

— Заявится, — кивнул Монгол. — Уже заявился. Это мой дом, нига, расслабься. Купил его как-то по дешевке, когда местные разбегаться начали. Мне тогда надо было найти жилище для одной особы. Она искала спокойное место, чтоб отложить яйцо. Помнишь историю с носителями регрессивных генов? В то время их еще отстреливали, а не депортировали... Слушай, может, войдем в дом, а то я блевану сейчас, нига.

Мы прошли от гаража по выложенной желтым кирпичом тропинке, поднялись по уютно скрипящим ступеням крыльца. Монгол долго, матерясь и потев, возился с ключами: замков было пять, и ни один не поддавался. Когда дверь с не менее уютным и даже каким-то гостеприимным скрипом открылась, мы плечом к плечу, задевая косяки, влетели внутрь и быстро захлопнули ее за собой...

В доме пахло пылью и погасшим камином, и это был прекрасный запах.

— Устраивайся, — сказал Монгол, махнув рукой, — на какое-то время эта берлога станет твоим вторым домом... Здесь ты будешь жить, питаться и эволюционировать. Кстати, нига, а ты пакеты из машины не захватил?

— Нет...

— Понятно. Кто пойдет?

Не знаю, достался ли этот дом Монголу таким, каким я его увидел, или новый хозяин приложил руку к его обустройству. В последнем я сильно сомневаюсь. Слишком уж патриархально тут все было. Да и зачем Монголу обживать дом, который служил всего лишь перевалочной базой? Жить-то здесь он по-любому бы не стал. Не мог я представить его растаманские дреды в этой обывательской кунсткамере.

Я провел в этом укрытом в тени заброшенного сада среди дыма горящих свалок месте почти трое суток. Монгол снова бросил меня и уехал улаживать свои и мои дела. Но в отличие от его квартирки в центре Москвы здесь я почти сразу почувствовал себя как дома. Даже в собственном обиталище (а если точнее — маленькой комнатке в коммуналке в самом начале улицы Народного Ополчения), я никогда не ощущал себя так комфортно. Моим домом, как ни абсурдно это может прозвучать, была дорога: поезда, маршрутки, попутные машины, реже самолеты (реже, потому что слишком ненадежны и опасны для груза). А теперь я как будто вернулся со всех полярных кругов вместе взятых и оказался там, где все, от нескладного камина до древних, еще совковых, гарнитура и кухонного стола, только и ждало моего возвращения. Никогда раньше не замечал за собой тягу к патриархальному уюту, к этакой обломовщине, теплой и простой, с ее неременной ленью и уютом. Однако факты штука упрямая. В этом брошенном хозяевами коттедже я снова нашел себя, но этот Я был мне мало знаком.

Мешало только одно: хотелось пройтись по саду, однако смрад и категорический запрет Монгола показываться на улице это исключали. Впрочем, я не особенно скучал.

На втором этаже обнаружилась небольшая, но приятная библиотечка томов этак на сто пятьдесят. Немного, но с огромным удовольствием покопавшись в ней, я выбрал потрепанный сборник Буковски в мягкой обложке. Этаким раритет канувшего в прошлое информационного обвала начала-середины девяностых, когда книги выпускали дерьмового качества, но люди радовались им как дети. Мягкая обложка, скверная полиграфия, масса опечаток... Как же я соскучился по этим осколкам моей никому не нужной юности, канувшей в прошлое вместе с родительскими подшивками Солженицина, Ахматовой, Гладиллина и моими первыми приобретениями с жалких студенческих стипендий: Толкиен, Пол Андерсон, Кен Кизи, тот же Буковски. Размышляя об этом, я спустился вниз, затопил камин (исключительно ради атмосферы), вытащил из холодильника сыр, вино, полбатона колбасы (просто переломил его пополам) и развалился на мягком ковре прямо на полу. Старый алкоголик, романтический ублюдок в мягкой обложке ждал меня почти десять лет, и стоило уделить ему внимание.

Читал практически весь первый вечер, прервавшись только для того, чтобы сварить кофе. Потом, когда тощие и строгие, как английский консьерж, напольные часы (наверное, наследство бабушек-дедушек профессорских кровей, посмертно, разумеется, реабилитированных) показали половину первого ночи, встал и немного побродил по дому, разминая конечности. Обнаружил черно-белый телевизор, но включать не стал. Зато в тумбочке под ним нашел старую шахматную доску, разложил ее, расставил фигуры и сделал несколько ходов, начав черными. Спать не хотелось. Я вернулся вниз, допил бутылку у прогоревшего камина и только теперь вспомнил о странном конверте. Он так и лежал в кармане моей рубашки, сложенный вдвое...

Странно, но почему-то мне не хотелось его вскрывать. И хотя я не понимал, почему мне этого не хочется делать, все же долго, то есть по-настоящему долго, не меньше получаса просидел, глядя на конверт и борясь с желанием бросить его в камин прямо в красные зрачки дотлевающих углей. Часы мерно отсчитывали время, дважды нарушив тишину одиночными ударами и обозначив тем самым краткие в эту пору четверти часа.

А потом меня словно вдруг отпустило. Сошло наваждение. Я пожал плечами, надорвал конверт с краю и вытянул сложенный листок желтоватой бумаги. Не старой, а такой, какая

бывает в гостиницах, свидетельствуя об их респектабельности.

За всю свою жизнь я не получил не одного письма. Зато сам доставил сотни конвертов. Сапожник без сапог. И вот я вскрыл конверт и держал перед собой первое письмо, которое предназначалось мне. Пока я его не открыл, я продолжал надеяться, что оно от Черчилля. Да потому что от кого же еще, черт возьми? Но теперь я знал точно, что получил письмо от кого-то Другого. И кажется, начинал догадываться, от кого именно.

От того, в чью зону общих моментов меня занесло, от того, кто раскрутил всю эту рулетку и запустил меня, как шарик, в надежде (или в уверенности), что я лягу в нужную лузу и он сорвет куш. Я правда не понимал, зачем ему было посылать это письмо, *такое* письмо. Чтобы дать о себе знать? На хрена? Чтобы надавить на меня? Так куда уж дальше? Чтобы передать мне что-то? Но что?

А может, просто чтобы подшутить, просто так, без причины, потому что хочется?

Я вдруг замер, чувствуя, как бешено колотится мое сердце. И красные языки огня в камине начали скакать как-то особенно яростно, и тишина вдруг впервые за все это время сдавила виски. Я подумал (или угадал? — неважно), что, возможно, история началась не в тот момент, когда я выскочил на тротуар на своем мотоцикле, а за три месяца до этого. В прокуренном тамбуре поезда Тамбов-Москва. Тогда многое становилось более логичным. И хотя логика получалось странной, выбирать, похоже, не приходилось.

Пора рассказать кое-что о Твари. До поры до времени это была просто легенда, профессиональный фольклор курьеров. Подобные истории бытуют в любой мало-мальски связанной с риском области. У альпинистов есть белый альпинист, у спелеологов — Тень Тени, у авиаторов — гремлины, а у курьеров — Тварь. И каждый курьер, даже самый прожженный циник и скептик, в глубине души верит в ее существование. Я-то считал себя достаточно циничным, чтобы отмахиваться от всего этого бреда. И все же иногда какие-то сомнения возникали. То один, то другой курьер лишался дополнительного шанса без видимых причин, а ведь многие из них считались лучшими мастерами своего дела.

По легенде, Тварь ненавидела дополнительные шансы. Она находила их и уничтожала, но самих людей не трогала. Почему — никто не знал. Но поскольку курьерские организации практически полностью состояли из людей, владеющих дополнительными шансами, чаще всего именно на них и нападала Тварь. Это происходило всегда за границами Москвы — еще одна загадка, которую легенда не объясняла.

Короче, Тварь представляла собой обычный образчик профессионального фольклора. Вот только теперь мне было известно, что многие персонажи московских мифов существуют в действительности, а что касается Твари, то она сама не оставила мне поводов сомневаться в ее реальности. И если все так, как я думаю, если все началось в тот момент, то...

Стоп. Я заставил себя успокоиться и рассуждать трезво. И тут же обнаружил слабое звено в своих логических построениях. Ведь если легенда не врет (а легенда — это единственный источник информации), то сами люди Твари ни к чему. Значит, письмо не может быть от нее, а история, в которую я попал, никак не могла быть затеяна ею. Она уже уничтожила мой дополнительный шанс, а носители ее не интересуют. Нет, это не она.

Целую минуту мне казалось, что я знаю все... Целую минуту, по истечении которой я оказался там же, где был в самом начале. Я лежал на ковре и смотрел на девственно чистый лист бумаги. Да, единственное письмо, полученное мною, не содержало ничего. Просто чистый лист в конверте.

Глупая ситуация, одна из тех многих и многих глупых ситуаций, из которых связан шерстяной носок человеческого существования. Так прошло, наверное, еще не менее получаса, потом я поднялся, подошел к камину и, порвав письмо на мелкие клочки, бросил обрывки на едва тлеющие угли.

Я снова вернулся на ковер, лег, заложив руки за голову, и через минуту уснул, как и положено пьяному человеку. Сон вообще хорошая штука, особенно когда нужно увернуться от увесистых оплеух памяти, вздумавшей поиграть в «угадай, где прячется кролик». Ну его в

задницу, подумал я, закрывая глаза, и еще, уже засыпая: каждой правде свое место и свое время. Так или иначе...

III.3

В течение следующего дня я выиграл две партии белыми и одну сыграл вничью при согласии обеих сторон. Дочитал Буковски и обнаружил лестницу в небольшой флигель с балконом. Выходить не стал, памятуя о смраде и предупреждении Монгола, и лишь пометил в мысленной записной книжке, дескать, есть такая вот штука на случай мало ли чего.

К вечеру в плотно закрытые ставни начал царапаться дождь. Я опять затопил камин, снова приволок бутылку и кое-что из закуски... Стало вдруг очень уютно, но этот уют казался невыносимо хрупким, словно огромную чугунную статуэтку счастья кто-то по глупости решил водрузить на стеклянный журнальный столик. Так бывает перед самым-самым началом конца, когда наши древние гены диких собак Динго за несколько часов ощущают землетрясение. Из маленького домика в двух десятках шагов от МКАДа и четырех десятках — от пылающих свалок тонкими струйками испарялись покой и тишина, как всегда, напоследок конденсируясь уютной дробью дождя и неровными пляшущими языками огня в камине. Ну и тени, разумеется. По всем стенам безумные танцы теней, извечный шейк детей Франсиско Хосе де Гойи. Я лениво встал, сходил на кухню, вытащил из кучки одежды «макар» вместе с кобурой, бросил на пол в передней. Потом взял вакидзаси, осмотрел их, нашел какую-то суконку и начал медленно, чтобы не оскорбить неучтивостью старые клинки, полировать метал. В общем, я снова был пьян. Красный вакидзаси ничто не украшало, черный — гравировка в виде какой-то рыбы у самой гарды. Я полировал их, отвлекаясь только на особенно сильные порывы ветра, сталкивающего мой дом со стенами дождя. Это было хорошо, черт возьми.

Время замедлилось, играя желто-красными отблесками на зеркале лезвий. Мне было хорошо знакомо это состояние, и я знал, что бороться с ним и бежать куда-то бессмысленно. Необходимо принять происходящее как данность. В общем, я просто ждал, но в тот вечер гроза прошла стороной. Так тоже иногда бывает. Почистив клинки, я разобрал на ковре «макар» и поплелся на кухню в поисках чего-нибудь, чем можно обработать его механизм.

О «макаре» говорят разное. И о неточности, и об отсутствии гарантии. За время работы курьером у меня сложилось собственное мнение на этот счет, причем не теоретическое, а составленное эмпирически. Лучшего оружия для стрельбы в замкнутом пространстве (по соотношению цена-качество, разумеется) я не знал. В городских войнах «макар» был весьма эффективен и ни разу меня не подвел. Все дело в том, как относиться к оружию. И «Пустынного орла» можно довести до такого состояния, что он будет давать три осечки на пять выстрелов, что уж говорить о продукции отечественного производителя. Однако если относиться к оружию бережно, то и оно тебя никогда не подведет. Говорю же — эмпирически вычислено.

Я стоял на кухне, неуверенно оглядываясь в поисках какой-нибудь тряпицы, поскольку, разумеется, не собирался чистить «макара» той же суконкой, которой полировал вакидзаси.

Дождь неожиданно смолк. Я стоял, и вокруг было достаточно тихо, так что трудно было не услышать голоса. Сначала едва заметные, они становились все громче. А самое главное, их было много... Оставив «макар» разобранным, я снял с каминной полки черный вакидзаси, оставив красный лежать в одиночестве, и быстро взбежал на второй этаж. Потом уже медленнее, стараясь не производить лишнего шума, поднялся по лестнице во флигель и осторожно вышел на балкон. Я, правда, сомневаюсь, что в приглушенном шуме множества голосов кто-то мог услышать, как я поднимаюсь, но — береженого Бог бережет.

Было почти светло из-за огромной луны, висящей ночным фонарем в самом зените неба. В ее свете все походило на старые черно-белые комиксы с резкими тенями. Опустив глаза, я остолбенел.

По саду мимо моего дома в сторону МКАДа шли люди расты. Много людей расты,

очень много. Со своего места я видел несчетное количество косичек, дредов и ярких красно-желто-зеленых беретов. Кажется, их было не меньше сотни, и они все шли и шли. Бесконечным потоком. Непокойное море полосатых беретов, дредлоков и афрокосичек. Люди расты покидали город и выбрали для своего исхода именно это место... Приглядевшись, я заметил, что в соседнем саду происходит то же самое, те же дреды и береты. И потоку этому не было видно конца... Но назвать его легионом я не мог — не было в этих бегущих от неведомой мне напасти людях ничего воинственного.

Я уже не особенно прятался...

— Эй, брат, — крикнул снизу раста со странно знакомым лицом, — одна любовь, брат! Не угостишь человека расты сигаретой?

— А... да запросто, — ответил я, подумав, что в последнее время мне частенько приходится расставаться именно с сигаретами. Сунул руку в карман, нащупал пачку и, не раздумывая, кинул вниз. Перед глазами возник и тут же пропал образ Немого.

— Я могу взять все? — неуверенно спросил раста и скинул с плеч бонги. Я тотчас узнал его. Это он играл около выхода из метро «Пушкинская».

— Можешь, если скажешь, куда это вы собрались все сразу, — ответил я.

— Куда угодно, — пожал плечами раста, прикуривая мою сигарету, — в этом городе слишком много зла и боли, и наши сердца не могут столько вместить. К тому же в город вошли танки. Их привел генерал Фальстат. А за танками идут тигровые манипулы. Городское ополчение смято, милиции не видно. Армия пока держится в центре, но это ненадолго. Вот мы и уходим. Вернемся, когда все утихнет. Если утихнет...

Я помолчал, обдумывая услышанное. Получалось, что Ниху ошибся всего на несколько дней. Хотя, хрен знает, может, то, что он называл Пелопонесской битвой, уже произошло... Ниху — божок подземного пантеона, еще один фольклорный персонаж, обретший плоть. Ему было плевать на время, так что ошибка не исключена... На какое-то мгновение мне захотелось все бросить и уйти с людьми расты. Не знаю, почему я этого не сделал. И не знаю, что было бы, поступи я так. Но я только спросил:

— А почему тут ничего не было слышно?

— Это ДеНойз, — ответил раста, — он скинул несколько ракет в центре.

— А я думал, ДеНойз — это сказка, — заметил я и подумал, что жуткие сказки в эти дни оживают, как мертвецы в фильмах Роба Зомби.

— Я тоже так думал, — кивнул раста.

— Где вы собираетесь отсиживаться?

— Знаешь развалины Зеленограда?

— Да, приходилось бывать...

— Мы будем там. Если что, приходи, будем рады. Нам нужен кто-то, кто сумеет нас защитить. Ведь мы не умеем воевать.

— А с чего ты взял, что я могу вас защитить? — спросил я.

— Раста открывает нам глаза чуть шире, чем остальным, — усмехнулся перкуссионист, — и мы видим куда больше... Так что мы будем ждать тебя, курьер.

Я кивнул и ушел с балкона. И только потом понял, что он назвал меня курьером. Ни в какие открытые глаза я, разумеется, не поверил.

Я нашел на кухне тряпку, порвал ее на полоски и принялся начищать и смазывать части «макара». Время снова замедлилось. Я чистил оружие и слушал, как идут и идут люди мимо моего дома. Кажется, они шли всю ночь. Крысы бегут с корабля, почему-то подумал я, хотя вовсе не считал людей расты крысами. Но в этом что-то было. Ночь предстояла долгая. Из-за шума я мог прозевать другие звуки, более опасные, поэтому спать в эту ночь мне не светило.

Ближе к утру стало невыносимо клонить в сон. Я встал, попялился на черный рисунок золы в камине, весь в белых и серых чешуйках шлака, вяло потянулся и решил включить торшер. По передней растеклось такое унылое желтое свечение, что я тут же врубил и большой свет. Шум голосов за окном то стихал, то усиливался, и от этого еще больше

клонило в сон. Я сунул руки во временную петлю кобуры и чертыхнулся, когда она зацепилась за роговое образование на плече. Плюнул, сунул «макар» в карман и поплелся на кухню делать кофе. Из-за голосов людей расты на улице здесь, в доме, царила какая-то особенная тишина. Я медленно перелил кофе из жестяного ковшика (турки не оказалось) в чашку, бросил туда кусок сахара и вернулся в переднюю. Тишина не отступала, напротив, мои шаги тонули в ее все более отчетливых контурах... Я закурил, выпил кофе, побултыхал осадок, пытаюсь узнать в нем что-нибудь знакомое. Потом пожал плечами и закрыл глаза. Чему быть, того не миновать...

...Проснулся я в абсолютнейшей тишине, если верить надменным часам-консерву, всего через два часа. Но выспался отлично, как будто и не кемарил, сидя на полу и прижавшись спиной к подлокотнику кресла. Люди расты исчезли, как ночной полубред, оставив после себя странное ощущение какой-то цыганской, почти безэмоциональной, привычной тоски и вытоптанную траву в саду. Хотелось пить...

Я в тысячный раз повторил свой маршрут на кухню, перелил в чашку остатки холодного кофе... Морщась, пил его мелкими глотками и мерил шагами переднюю от камина к лестнице на второй этаж, от лестницы к стене с зеркалом, от стены снова к камину. Что-то было в этом утре, что-то пугающе определенное, как дрожь рук после драки или ноющая боль в ампутированных конечностях. Утро цеплялось за одежду, проступало на коже мелкими капельками пота и все время оставалось в поле бокового зрения то движением секундной стрелки часов, то мгновенным отражением оконного переплета в чашке, то еще черт знает чем. Я все ходил по передней, глотая горький кофе, и силился поймать это неверное движение.

Потом чашку вырвало из моих рук, она упала на пол и беззвучно разлетелась белочерными брызгами кофе и фарфора. С потолка посыпалась побелка, а самого меня приподняло и бросило к лестнице. Рядом повалилось набок и проползло кресло, утащив за намотавшийся шнур торшер с нелепо покосившимся абажуром. Два вакидзаси проехали по полу к моим ногам. Я протянул руку и схватил их, но тут же выпустил, потому что меня снова приподняло и швырнуло через всю комнату на противоположную стену, впечатав буквально в нескольких сантиметрах от овального зеркала, которое уже пошло паутиной трещин, но как-то умудрялось держаться на стене и соблюдать видимость целого. Медленно накренилось и упало, не нарушая абсолютной тишины, тяжелое чугунное ведро с кочергой и щипцами для угля. Из камина вылетело облако золы, посыпались вчерашние угли. Где-то на периферии сознания мелькнула мысль, что если бы я проснулся чуть раньше и успел разжечь огонь, то оказался бы в натуральном аду... Потом мне стало не до размышлений. Меня снова начало кидать из стороны в сторону, и я едва успевал подставлять ороговевшее плечо. Было все равно очень больно, но я четко осознавал: один такой удар спиной или головой — и все, я вырублюсь и меня начнет лупить обо все углы, как тряпичную куклу. И тогда будет еще большим чудом, если я не сверну себе шею или не сломаю позвоночник о ту же лестницу.

Тем временем окружающий мир продолжал содрогаться в суицидальном оргазме, уничтожаясь и уничтожая. Сверху, со второго этажа рухнула в вакуумной тишине секция перил. Меня только что протащило по пыльному квадрату в том месте, где минуту назад стояло кресло, и перила упали достаточно далеко от траектории моих спорадических передвижений. Но следом полетели книги, какие-то куски дерева, упала и разлетелась на куски шахматная доска. Стало ясно, что надо куда-нибудь спрятаться, иначе сверху рухнет что-нибудь более громоздкое, хотя бы тот же раритетный черно-белый телевизор, и тогда, может статься, меня не спасет и ороговевшее плечо.

Пользуясь секундным затишьем, я дотянулся до ступеней, вцепился в прут, прижимавший ковер, и, оттолкнувшись ногами, нырнул под лестницу. Тут же новая волна вырвала меня оттуда, и я оказался в узком пролете между стеной и покосившейся решеткой перил. Сильный, до мгновенного помутнения в глазах удар о стену. Рикошетом отлетаю обратно под ступени. Снова на некоторое время перестало кидать, и я торопливо потянул на

себя какое-то тряпье, которое валялось под нижними ступенями. Было больно, а тишина давила так, что хотелось выть. Кожу мою покрывали маленькие красные точки — часть капилляров полопалась, и кровь проступила через поры. Я много раз слышал об этом, но никогда не верил, что такое может быть. А именно так в рассказах моих коллег случалось с теми, кто попадался на пути звуковой (или беззвучной?) атаки ДеНойза, мифического короля Кольцевой дороги, еще одного представителя разветвленной семейки городского фольклора. Мне вдруг захотелось взвыть, но я знал, что это бесполезно: бомбы ДеНойза глушили любой звук. На самом деле мне повезло, что ДеНойз лупил куда-то в сторону центра города, и именно там теперь камень, асфальт, бетон, стекло и плоть перемешиваются в первобытной беззвучной пляске, словно повторяя случившееся миллионы лет назад, в период возникновения материи. Меня зацепило лишь краем, лишь взрывной волной, лишь эхом, которое пусть слабо, но все же пригасили стены дома и закрытые ставни. Я катался между стеной и лестницей, пытаюсь зажать уши, чтобы хотя бы стук моего сердца прозвучал в этой космической стерильности тишины. И постепенно слабо, словно сквозь пелену марлевой повязки, ватный тампон, танковый шлем или подушку я услышал его неровные удары: раз... раз-два-три... раз... раз... раз-два... Я сосредоточился на них, потом, когда удары стали слышаться отчетливее, перекатился на спину по все еще вздрагивающему полу, прижался плечами к стене, ногами уперся в ступени и начал ждать следующих ударов. Тело болело и нестерпимо зудело.

Но ДеНойз либо закончил артобстрел, либо сменил координаты цели, и теперь в тишину вторглись оглушительные звуки двигателей внутреннего сгорания. По МКАДу летели сотни мотоциклетных банд, считавшихся воинством хозяина Кольцевой дороги. Они неслись в сторону города, а значит, либо Фальстат каким-то образом убедил ДеНойза перейти на его сторону, либо ДеНойз сам решил принять участие в игре за обладание лакомым куском — самым большим городом людей в этой части света. Городское ополчение и милицейские маркеры были либо сломлены, либо перебиты, и это вполне могло стать поводом для пробуждения вечно спящего шамана Московской окружной автодороги, своенравного божка звука ДеНойза. Многие захотят урвать свой куш в этой игре, я был почти уверен, что так оно и будет. Я забрался глубже под лестницу, дрожащими руками натянул тряпье на голову и стал ждать...

Тот факт, что ДеНойз и Фальстат вошли в город, означал полное уничтожение маркерной инфраструктуры Москвы. Такое уже случалось еще до моего появления здесь, когда Ниху вывел из катакомб свое уродливое войско и три дня пировал в городе, уничтожив — читай, сожрав — две трети населения. Потом подтянулись войска из регионов, и ублюдков загнали назад в катакомбы. Говорят, Ниху тогда убивали трижды, прежде чем он снова убрался в подвалы жрать крыс и заблудившихся бедолаг. Еще месяц назад я считал это городской легендой. Но периодически в истории людей случается так, что легенды оживают — чаще всего для того, чтобы перекроить эту самую историю под новые габариты происходящего и снова убраться в сказочное ничто. Беда в том, что генерал Фальстат как раз и командовал региональной армией, а ветераны тигровых манипул расправлялись с Ниху. Как развернутся события теперь, я представить не мог и не пытался. На город мне было наплевать, я прекрасно знал, что он отстроится заново после любого пожара, вырастет из любых руин, ассимилирует в собственном теле любого агрессора. Меня больше интересовала собственная шкура.

Когда я осознал, что кроме биения сердца слышу и другие звуки, я стянул с лица тряпье и впервые за эти последние минуты вдохнул полной грудью. Очень осторожно, прислушиваясь к тому, как реагирует на движения тело, я выбрался из-под лестницы, окинул взглядом бардак в передней и стал искать мечи. Сначала увидел красный. Он был переломлен поперек лезвия, четко вдоль гарды. Потом нашелся черный, в целостности и сохранности. Его зажало между подушками кресла и так спасло от ударов о стены, лестницу,

пол. Вытащив меч, я, шатаясь, побрел к заваленной барахлом лестнице. Нужно было выбираться отсюда: и из дома, и из Москвы вообще. Но для начала следовало понять, что творится вокруг. Я поднялся во флигель и приоткрыл балконную дверь. Первое, что я увидел, был подъезжающий «Индент» Монгола.

— Ты даже не представляешь, что творится в Москве, — радостно крикнул Монгол, — ты даже не представляешь!

IV.1

«Пафос и горечь — нелепые соседи скучной бездарности и/или осмысленной бессмысленности. Слово есть суть, но коли за словом пустота, то и все — пустота...» Да, пустота... Любое слово. Особенно если оно исходит от лица плохо понимающего, о чем он пишет, автора-философа. Пожелтевшие страницы найденной в бардачке книги. Обложка, первые двадцать страниц и последние отсутствуют. Ни имени автора, ни названия. И слава богу, значит, я никогда к ней не вернусь. Пустая книга о пустоте — это то, в чем я меньше всего теперь нуждаюсь. Пустоты — полные карманы, горечи — полная грудная клетка, рассуждений — полная голова, того и гляди тресну по швам, а внутри — все те же пустота и горечь... Книга возвращается в бардачок, к старым свечам, гаечным ключам и потрепанным дорожным атласам.

Мониторы автомобильных стекол, иссеченные грязными струями дождя, вот, собственно, и все, чем я сейчас владею. Но и этого немало. Каждая капля — летящий навстречу фанатик священного ветра, умирающий у тебя на глазах самоубийца. Минуту назад — июль. Жара. Пыль, от которой не спастись за мокрым платком. И вдруг — дождь, словно заблудившаяся собака, тычется мокрым носом в лобовуху. Сначала осторожно, а потом все более зверея, до иступления, унося с собой и пыль, и краски. Три минуты черно-белого, и все — дожди в такую жару не бывают долгими. Но эти три минуты, в эти три осколка вечности мир бьется в приступе бескрасочного межсезонья, ведь черный и белый — это не цвета... За эти три минуты происходит так много. А ведь совсем недавно мне казалось, что их не хватит даже чтобы что-то сказать. Я наблюдаю за миром сквозь лобовое стекло огромного грузовика, стальным дизельным зубилом прорубающего косматую завесу короткого летнего дождя, и думаю, что пока и это немало. Пусть будет...

Ближе к Москве дождь заканчивается. И кажется, что вместе с ним исчезают деревья и вся растительность вдоль дороги. Только обугленные пни кое-где и торчащие трубы, как из старых фильмов обо всех войнах всех времен. Они торчат нелепым символом из нелепо обездоленных печей, а вокруг нелепо обезображенная земля. Горечь и пустота, пустота и горечь. Здесь все тоже обесцвечено, но уже по иным, куда более жутким, нежели трехминутный дождь, причинам. Тут отступала наголову разбитая армия генерала Фальстата. Кое-где среди труб, зарывшись в землю, стоят обгоревшие трупы танков. Но их немного: надо отдать должное Фальстату, в последний момент он оценил безнадежность ситуации и вывел технику из города. И две из пяти тигровых манипул. По слухам, ему удалось сохранить две трети армии, а это... Ну да, и это тоже немало.

Потом, неделей позже, отсюда же уносил ноги ДеНойз. Если у него есть ноги, конечно. Одно точно: спесь с него слетела, как пыль с кабины грузовика под первыми каплями дождя. Говорят, когда он не смог удержаться даже на Кольцевой, где знал каждую трещину в асфальте, байкеры оставили своего господина, и ДеНойз убрался в леса, обратившись электрическим псом, питающимся исключительно бумагой. Я в это верю. Я теперь многому верю, но практически никому не доверяю. Особенно после того, как тогда из машины Монгола увидел аккуратную поленицу тел сразу за МКАДом. Кое на ком еще сохранились цветастые желто-зеленые береты. Там были дети людей расты. Вернее, дети там тоже были. И это тоже немало. Только страшнее остального, хотя как-то странно теперь что-либо сравнивать. Более страшно, менее жутко, более мертв, менее жив — понятия обесценились в

течение нескольких месяцев, и эта инфляция, боюсь, уже необратима. Горечь и пустота, пустота и горечь.

Некоторое время в городе держался Ниху, окруженный странной свитой полулюдей-полукрыс и монахов-людоедов, но и ему пришлось в конечном итоге уйти, бросив свое тупоголовое войско на растерзание. Но Ниху уходил не здесь. У него свои пути, и думать о них мне не хочется.

— Надо бы посрать, что ли, — пробормотал с полувопросительной интонацией простой парень Серега Дымарев, водила (ни в коем случае не водитель!) грузовика.

— Да, и Братья, наверное, утомились, — согласился я. — Постоим полчаса. Покурим.

— Я и говорю, — одобрил Серега, — посрать надо. Все равно с опережением идем.

На самом деле никакого опережения не было, разве что минут на десять, но я промолчал. Минуты и правда особой роли не играли. Особенно с тех пор, как я стал работать на федералов. Я вообще удивляюсь, как ватага полууголовного сброда без малейшего понятия о дисциплине умудрилась вытеснить из города весь жуткий (более или менее) пантеон и манипулы Фальстата в придачу. Впрочем, сделав это, они и не подумали отдавать город Пинасу, не захотели делиться лакомым куском. И только тогда «победитель» опомнился и постепенно начал подтягивать к городу регулярные войска и группы специально обученных профессионалов. Да, местечковый бунт в городке Москва... Но тогда, месяц назад, было не так, было страшнее, и другие профессионалы дали деру вот по этой вот выжженной земле, а небритая толпа с заточками и самопальными волюнами грабила Москву и убивала, убивала, убивала... Русский бунт. Ай да Пушкин, ай да сукин сын... Прав был курчавый относительно русского бунта, прав, есть в нем что-то эзотерическое, за гранью восприятия, вне логики. Трансцендентное. Крысиная война без музыки Чайковского. И это тоже немало, этого как раз хватило, чтобы уголовники смогли справиться с регулярными войсками и мифическими божками...

Грузовик, замедляя ход, съезжает к обочине. Дверь кунга с замазанными краской номерами открывается нехотя, скрипя проржавевшими петлями, обтекая струйками дождя. Десять человек с одинаковыми серыми лицами в одинаковых черных комбинезонах один за другим прыгивают на землю. Потом они достают одинаковые портсигары, из портсигаров — одинаковые сигареты, одинаковым движением прикуривают, одинаково выпускают дым уголком рта. Братья Блюз. Профессионалы. Десять копий одного и того же человека. Но, говорят, не клоны, тут другое. Я верю. Но мне плевать. Я лишь работаю на Пинаса экспедитором. Доставляю груз. Срочный груз. И этого с меня довольно, потому что, если вдуматься, это немало. Около пяти сотен точно таких же грузовиков едет сейчас по разным трассам к горящей Москве.

Потому что быдло с заточками окончательно вышло из подчинения. Им понравилось грабить и уничтожать. Тот факт, что грабят и уничтожают они Москву, сердце цивилизации российской, придавало им куражу. Говорят, Ниху со своими уродами куда меньше натворил тогда... Я верю, я теперь многому верю, хотя и на Москву и на цивилизацию российскую мне сейчас глубоко наплевать. Тем более, что уничтожается цивилизация российская цивилизацией российской же. As usual. Завтра утром быдло уберут, вынесут сор из избы. Старинное русское развлечение. Плебс сделал свое дело, плебс можно выметать.

Мне плевать. Я никогда не любил Москву. И никогда не испытывал симпатии к быдлу с заточками. Сигарета тлеет медленно...

Я поднял глаза. На низкой высоте неуклюже полз от Москвы раненый дирижабль. Текст слогана: «Ощути безумие столицы вместе...» Остальное обгорело. Огромную дыню уносит в сторону. А мне плевать!

Простой парень Серега прямо тут, лишь повернувшись спиной к остальным, поливает прибитую недавним дождем пыль и сажу. Кто-то из Братьев достает губную гармошку и начинает наигрывать блюз. Я жду, что все остальные сделают то же самое, будут играть в унисон. Но они просто курят, равнодушно глядя куда-то в сторону. Просто куда-то туда. Я

закрыв глаза и представил, как это может выглядеть с рекламного дирижабля. Получилось странно и красиво. Черно-белая пустыня, обгоревшие танки, покосившиеся трубы — и над всем этим печальный афроамериканский мотив уборщиков сахарного тростника. Действительно красиво. Простой парень Серега с кряхтением стряхивает, застегивает ширинку и интересуется:

— А вот, скажем, сигаретки для хорошего человека кому не жалко?

Десять одинаковых братьев одинаковым движением достают одинаковые портсигары. Блюз умирает быстро, как тропический закат.

— Ох, коммунизм, — усмехается простой парень Серега, — у всех по сигаретке, чтоб никого не обидеть. А вот еще бы огоньку, а то так лень в кабину лезть...

Торопливо протягиваю ему свою зажигалку...

Чуть позже снова начался дождь, и без того бедная на цвета картинка стала и вовсе тоскливой. Устав от однообразия пейзажа, мельтешащих «Дворников» и бессмысленных замечаний простого парня Сереги Дымарева («что-то стучит или уж кажется», «ох мать, ети ее, да, экспедитор», «льет как из ведра, а ни одна сука не наливает, ха-ха-ха»), я воткнул в уши таблетки плеера с древним «Криденс» на болванке, закурил и натянул на глаза козырек бейсболки. Дождь постепенно стихал, но горечи и пустоты не убавилось... разумеется.

— Сколько нам еще ехать? — спросил я Серегу, вынув один из наушников.

— Час, не больше, — сказал Серега и яростно зевнул.

Я пожал плечами и вдавил кнопку «Play»...

Когда-то давно, еще до того, как мир начал сходить с ума, я любил дальние поездки на таких вот грузовиках в дождь, когда весь мир сосредотачивается в границах отдельно взятой кабины.

Тогда я любил слушать Криденс, не надвигая бейсболки. Напротив, я смотрел во все глаза на искаженную бегущими по стеклу каплями картинку за окном. Идеальное одиночество, вот как я это называл. Одиночество даже не планетарных масштабов, но абсолютных. Только ты и дождь, и ничто не вмешивается в ход твоих мыслей, ничто не отвлекает. В такую погоду и в такой обстановке перестают иметь значение понятия «уже» и «еще».

Представьте себе автобан сквозь Вселенную. Без атмосфер и геосфер, без планет, финансовых отчетностей, теплых течений, глобального потепления, предвыборных кампаний и прочих признаков цивилизации. Только асфальт, вы, ваш трансгалактический грузовик и Криденс. Когда-то я даже пытался написать об этом. Не получилось, конечно. Теперь, когда все потеряно и даже под козырьком бейсболки не спрячешься от четкой линии между «еще» и «уже», у меня бы получилось... Но теперь мне не хочется писать.

Шло время, минуты выпадали из поля зрения, вяли в пустоте и горечи, а одиночество не наступало. Оно покинуло меня, оставив одного. Как же это страшно — остаться одному, но лишенным одиночества!

...Когда я снова поднял козырек и посмотрел вперед, сквозь серое марево уже можно было разглядеть место Хорезм. Десятки кунгов стояли на выложенной бетонными плитами площадке. Кое-где виднелись темно-зеленые военные палатки и сетка с плюхами камуфажных лоскутков. Дымила огромная бочка полевой кухни.

Я вынул наушники и снял бейсболку. Какая разница, как все было до того, как мир начал сходить с ума? До горечи, до пустоты?

Место Хорезм появилось недавно. Так же, как и место Три-Хадж и место Салехард. Все они находились на расстоянии от Москвы и основных автотрасс (а также друг от друга), чтобы не привлекать к себе внимание, но в течение двух часов все машины могли сняться с места и войти в город. Впрочем, меня это уже не касалось, как и большинства других экспедиторов. Я заскочил в штабную палатку, расписался в журнале и получил слегка

смазанную печать в командировочном листе. Потом некоторое время стоял, наблюдая, как Братья Блюз расставляют свой шатер. Девять из десяти. Десятый, его звали Диего (я знал только его имя, и, по слухам, он единственный из Братьев Блюз был реальным человеком) сидел на корточках чуть в стороне и играл на губной гармошке блюз. Тот же самый. Жутко хотелось есть.

Потом мимо пробежал простой парень Серега, стрельнул сигарету, получил десять и на вопрос, куда так спешит, ответил, что с минуты на минуту должна подъехать машина с Братьями Драконами. Надо позывать, сказал Серега.

Это было неожиданно. Во-первых, непонятно, откуда у Пинаса появились деньги на оплату таких бойцов, во-вторых, зачем ему тратить такие деньги? Впрочем, меня это тоже не касалось. А вот на семерых драконов посмотреть стоило — даже когда тебе на многое уже наплевать, просто постоять рядом с легендой имеет смысл. Кроме того, делать было совершенно нечего, а время до кормежки грозило тянуться до третьего пришествия Юрия Шатунова...

Я отправился вслед за Серегой, пробираясь между почти вплотную стоящих грузовиков. Через минуту с удивлением обнаружил идущего рядом Диего. Остальные Братья Блюз продолжали возиться с палаткой.

— Я думал, вы никогда не расстаетесь, — сказал я.

Диего пожал плечами и ничего не ответил.

Когда мы подошли, двери кунга уже открылись, и Драконы начали выскакивать на бетон: семь одинаковых желтых лиц с раскосыми глазами, семь одинаковых белых кимоно, семь одинаковых красных хайратников. В отличие от Братьев Блюз этих я знал поименно: Камбэй, Кацусиро, Ситиродзи, Горобэй, Хэйхати, Кюдзо, Кикуджиро...

— Славные бойцы, — сказал чуть слева и сзади Диего, — очень хорошие. Но сейчас время тротила, а не мечей. Не понимаю Пинаса.

Я промолчал, пожав плечами. Время мелкими шажками приближалось к ужину, и со стороны полевой кухни доносились сводящие с ума запахи Жареного мяса... Я сглотнул горьковатую слюну, сунул руки в карманы и обреченно побрел в лагерь.

IV.2

Прошло три дня, и место Хорезм опустело. Ночью все машины, кроме двух, снялись и уехали к Москве, и уже через два часа небо на западе занялось отсветами пожаров. Я полулежал на лавке в трех шагах от Серегиного кунга, курил, пил мерзкое теплое пиво и смотрел туда, в сторону зарниц. Периодически я тестировал свой мозг и то, что, наверное, называется душой, на предмет реакции, хоть каких-то чувств, переживаний, ощущений... Ничего. Там, на западе, мелкие, но профессиональные отделения убийц методично уничтожали орды взбесившихся уголовников. Там уже в который раз за последнее время сжигали и разрушали мой город. Но мне было наплевать. Больше того, мне было плевать на то, что мне наплевать. Меня беспокоило только одно: грузовики почему-то увезли с собой оба дизель-генератора, и пиво в холодильниках быстро достигло комнатной температуры. Жара же, несмотря на периодически выпадающий дождь, не спадала даже ночью...

— Ц-ц-ц... Город плохо, — покачал головой водитель Братьев Драконов и посмотрел на меня раскосыми миндалевидными глазами, — твой город, да?

— Мой, — кивнул я и протянул ему пиво.

— Город плохо, — повторил водила и сделал несколько глотков из бутылки.

— Да хули там, — встрял в разговор невеста откуда появившийся простой парень Серега Дымарев, — там и без того хорошего было мало. Дай-ка сигаретку, Ромыч.

Я протянул ему пачку и сказал:

— А я думал, ты там. Блюзы вроде уехали.

— Ага, — сказал Серега, — а у меня вчера что-то желудок свело, мама не горюй. — Он помолчал, ухмыльнулся и добавил: — Как только узнал, что ночью стартуем, так и свело.

Хули я там забыл, в этой Москве? Мне оно надо — голову под пули совать?

— Ц-ц-ц... Город совсем плохо, — снова повторил японец.

Там что-то коротко, но мощно, на полнеба полыхнуло и тут же улеглось. В глазах еще какое-то время висела красноватая пелена...

— Смотри, как рвануло, — покачал головой Серега, — как думаете, что это?

— Я не знает, — грустно сказал японец.

— И я не знает, — равнодушно сказал я.

— Ага, — сказал Серега, — ну ладно. Пойду поссу, да спать пора. Дай-ка, Ромыч, еще сигаретку про запас.

— На черный день копишь?

— Ага.

Прошел примерно еще час. Небо и не думало успокаиваться. Под столом стояло три бутылки пива. Я курил четвертую сигарету. Спать не хотелось.

— Долго зачем, — вздохнул японец, — нехорошо это.

— Ну... — я пожал плечами, — наверное, такие дела быстро не делаются.

— Нет, — покачал головой японец, — я знаю. — И добавил по-японски: — Тада кассэн ни ва дзуйбун дэта га... Много-много Драконы возил. Семь языков говорю. Такое надо быстро. Долго — много мертвый... Плохое зачем?

Небо вновь полыхнуло, на этот раз еще ярче, но вспышка не улеглась сразу, как в первый раз, а медленно поплыла к горизонту. Так кровь или масло стекают по плоскости... Правильно сделал тот рекламный дирижабль, что удрал...

Из штабной палатки вылетел заспанный денщик. Что-то крикнул. Японец вскочил, побежал к палатке, но из нее уже выскакивали Братья Драконы в белых кимоно с мечами в руках. Японец развернулся на каблуках и, причитая по-своему, побежал к кунгу.

— Во как, — снова невесть откуда появился Серега, — видно, дрянь дело, раз и этих алеутов туда посылают.

— Они японцы.

— А какая разница? Слышь, Ромыч, угостика сига...

Не знаю, что я такое почувствовал... Во мне что-то перевернулось и вдруг стало тяжело дышать. Помню, как я вскочил, бросился к палатке и сразу наткнулся на свой рюкзак. Выдернул черный вакидзаси, «макара» своего нащупал и выскочил наружу. У стола, удивленно хлопая глазами, стоял простой парень Серега Дымарев. Кунг японцев уже разворачивался на выезд с места Хорезм. Я рванул по прямой, через ограду полевой кухни, выскочил на дорогу и успел вспрыгнуть на подножку. Японец наклонился, открыл дверь, впустил меня в кабину.

— Я с вами, — задыхаясь, пробормотал я.

— Понимает, — сказал японец и часто-часто закивал, — твой город, да. Понимает.

Потом он заметил у меня в руках вакидзаси и улыбнулся, но ничего не сказал.

IV.3

Около получаса мы ехали молча. В очередной раз (третий или четвертый за эти сутки) пошел дождь, и с самого начала стало понятно, что он не может быть долгим, слишком яростными были удары в лобовое стекло, слишком определенными. Казалось, небо торопится сбросить старую, пропитанную влагой шкуру, и вот она клочьями летит вниз, разбивается о шербатый асфальт, о стекла японского кунга, о мое прошлое, от которого я, похоже, начинал отрываться на скорости 60 километров в час, и скорость эта все росла... Наверное, что-то подобное происходило в тот момент и со мной. Я тоже готовился сбросить старую шкуру. Беда в том, что я понятия не имел, какова должна быть новая, не понимал происходящего и не был уверен, что поступаю правильно. Проще всего было принять все таким, какое оно есть: клочья дождя, рваная темнота ночи, утробный рык двигателя

внутреннего сгорания. Еще один отрезок моего бытия. Но где-то в глубине души я понимал, что на этот раз мне уже не удастся удержаться в поле частных моментов, остаться пассивным наблюдателем и решать текущие проблемы.

Я оглянулся на японца, но тот сосредоточился на дороге, и я не стал его отвлекать. Мы летели уже со скоростью под сто двадцать, не меньше.

Алое зарево на горизонте становилось все ярче и ярче. Очистительное пламя, берущее начало одновременно из пароксизмов Большого взрыва и печей Дахау. Наш маленький грузовичок детской игрушкой летел в самое сердце огня. И я вдруг опомнился (а может, наоборот, мое сознание помутилось окончательно — в данном случае это почти одно и то же). Я сорвал с ремня плеер, скрутил наушники и выбросил в окно. Потом подумал и отправил туда же бейсболку... Я все еще понятия не имел, правильно ли поступаю, но если уж рванул вперед, то ни в коем случае нельзя оборачиваться назад, цепляться за прошлое, за то, что было «до». Это бесполезно, более того — опасно. Когда начинаешь оглядываться, очень скоро перестаешь понимать, куда и откуда бежал, и кто-нибудь обязательно — закон жизни — именно в этот момент ударит в спину. Поэтому я инстинктивно избавлялся от всех якорей, связывавших меня с прошлым, сбрасывал шкуру, пропитанную ржавой влагой.

— Может быть, и не так страшное, — пробормотал японец, коротко взглянув на меня, — может, ты вернуться на место Хорезм.

— Вряд ли, — ответил я, пытаюсь сообразить, с чем бы еще из прошлого распрощаться. Шариковая ручка. В окно. Пачка документов: военный билет, паспорт, пропуск какой-то, карта медицинской страховки, кредитка. В окно. — Вряд ли я захочу вернуться.

Горизонт полыхал все ближе, пространство сжималось на глазах. Темнота вдоль дороги превратилась в иссеченные косым дождем стены коридора автотрассы. Фары на какие-то жалкие мгновения выхватывали куски дороги, разделительный пунктир неся под колеса кунга, покосившиеся обгоревшие столбы на обочинах вздрагивали, попадая в лучи желтого света. Мне вдруг почудилось, что грузовик летит сквозь мое персонально джандо, но потом я отбросил эту мысль за ненужностью. Я не хотел как-то обозначать данный момент собственного существования, пусть он просто будет. Даже если *потом* я прокляну эти минуты, *сейчас* пусть все будет так, как есть.

Грузовик Братьев Драконов летел по ночному автобану в сторону горячей Москвы. Летел так, что ветер гудел в кабине кунга. И мне уже было не наплевать, я вновь вживался в тело истории.

Теперь, когда мосты были сожжены и всякая возможность вновь замкнуть утомивший уже порядком круг исключена, я откинулся на спинку неудобного кресла и спросил японца:

— Почему вызвали Братьев Драконов? Зачем их вообще наняли?

— Я зная только, что Хозяин Пинаса очень спать и проснуться злой зачем, — терпеливо начал говорить японец. — Пинас его обманывать. И Хозяин понимать. Только Драконы сильнее Хозяин. Пинас купил Дракон. Но Пинас опаздывать.

— Почему?

— Хозяин убить Пинас. Голодный после сон. Злой зачем. Теперь выйти на улицу. Все равно очень голодный, очень злой. Хозяин стал сильнее всех ему подобные, это виноват Пинас. Хозяин убивает всех, очень много наши мертвый. Надо убить Хозяин. Штаб велел разбудить Драконы. Но Драконы не спать. Они умеют не спать три месяца и пять дней. Только надо много чистая вода. Если есть чистая вода, Драконы не спать три месяца и пять дней. Если нет чистая вода — только месяц.

— Почему я никогда не слышал о Хозяине Пинаса? Об этом никто не говорил.

— Мало знать Хозяин. Я знать, я вожу Драконы. Ты не знать. Но раньше Хозяин был не опасный. Не много был. Теперь он вырос. Хозяин вырастил Пинас. Это неправильно зачем, но теперь поздно.

— Кто он такой, этот Хозяин?

— Никто точно не знает. Но Драконы говорит — он был второй Жизнью. Когда стали

убивать его человека, он ушел, а должен был умирать. Да.

— Он был дополнительным шансом?

— Да, второй жизнью. Так Драконы говорят. Но он предал человека. Такой очень редко. Никто не знает, почему Пинас взять его. А потом он стал Хозяин Пинас. Пинас оказался слабый. Он хотел использовать Хозяин брать город, но получилось обратно — Хозяин использовать Пинас. Теперь Хозяин много ест. Очень опасный.

— Но дополнительные шансы не могут уничтожать носителей. Это и их убивает.

— Так и была до когда Хозяин понял, что другое. Что не такое, как все. Это злость, я думаю, он пропитался злость Пинас. И стал Хозяин.

— Никогда о нем не слышал...

— Про него мало говорит. Знаю, он ищет один единственный и мечтает этот мир не было. Он называет себя Тварь, а других имен я не слышать...

IV.4

Под беснующимся зороастрийским небом, наверное, хорошо ехать на грузовике с кунгом в сторону трассирующей бесконечности московского бреда. В это трудно поверить, особенно когда картинка вдруг оживает вокруг тебя, и ты понимаешь, что пробудил бред, открыв ему дверь из камеры загнанного в тупик мозга. Уютная смерть в кровавом кружеве змеится по переулкам, избегая легко простреливаемых проспектов... И ты пересекаешь ее шальное тело, отчасти отторгаемый ею, отчасти пропитываясь ею же и прорастая в ее хорошо сдобренном черноземе. Пересекаешь сошедшим с ума бедолагой, который отказался от прошлого, выбросив в окно плеер и бейсболку. Это легче, чем могло бы показаться, но не имеет никакого отношения к обычному, стандартному, медицинскому безумию. Этот выбор сродни выбору профессии, конфессии или даже ресторана на вечер. Просто я так решил. И в этом месте и в этом времени — это немало. Я, как тот кракен, проснулся на океаническом дне спустя миллионы лет и понял, что остался один.

На дне ядовитых морей, в фиолетовом мраке,
На ложе из черных кораллов, в медуз хрустале
Лежит первозданное диво — чудовищный кракен,
Любовник, которому равного нет на земле.
Могучее тело окутала сонная греза,
И зрит немигающий глаз лишь одну темноту.
Раз в тысячу лет он выходит из анабиоза,
Чтоб снова искать Незабвенную, Данную, Ту.
Туда, через толщу воды, через муки кессона,
Блестя антрацитовою кожей на мускулах рук,
Туда, где дождется его вожденное лоно
И жгучая нежность Единственной в сонме подруг.
И пенит бурунами воду бездонная глотка,
А призраки чаек клекочут предвестье беды,
И горе тому мореходу, чья утлая лодка
Не спрятана в ветхий сарай далеко от воды.
Но зря он крушит наши неводы, тралы и сети,
Ломая в щепу китобоев крутые борта,
Отчаявшись знать, что остался последним на свете,
И канула в вечность его Незабвенная Та.

Как же вышло, что я оказался один на один со временем, с миром, с эволюцией, со стрелками часов и листьями календарей? В этот час, в это время, в этом месте я был последним представителем цивилизации людей, моей цивилизации. Все другие либо

остались в прошлом, либо ушли далеко в будущее. На той точке отрезка, где сейчас находилось мое тело, обремененное банальным эмпирическим мировоззрением и не менее банальной метафизикой чувств, никого не было. Разве что только пустота и горечь разделяли со мной одиночество. И вот я словно проснулся от глубокого сна, вырвался из лап кессона и пытаюсь вдохнуть полной грудью, дотянуться до одних, расстаться окончательно с другими. А по сути — оборвать событийно-предметную пуповину, которая связывала меня со мной же из прошлого. Чтобы в будущем обрести себя настоящего? Не знаю, не думал об этом. Я бросаюсь на стену, на огненную стену полыхающей Москвы, раскаленного сознания, неосознанных поступков. И это все, что мне осталось, кроме горечи и пустоты.

— А если там окажется то же самое? Что ты будешь делать тогда?

Я обернулся к зеркалу и сказал:

— Я тебя понял. Правда, понял... Но сейчас я не могу тебе ответить. Мне просто некогда. Давай поговорим потом... Дай мне еще пару дней.

— Потом будет поздно, — усмехнулся Тот из зеркала, — и дать тебе пару дней я не могу.

Я закурил.

— Когда ты перестанешь курить? — спросил Тот из зеркала и засмеялся.

— Теперь уже никогда, — ответил я, перезаряжая «макар» и освобождая черный вакидзаси из ножен.

— Ладно, — кивнул Тот, надвигая налицо козырек бейсболки, — иногда никогда — это не очень долго.

Я успел заметить, как за паутиной трещин на зеркале вытягивается его лицо, а мои собственные руки там, в помутневшей глубине отражения, стремительно покрываются такой же паутиной трещин. Как в моих собственных глазах играет кумач пламени, охватившего в мгновение ока наш кунг. Как появляется в руках Того красный вакидзаси.

Я смеюсь, а зеркало заднего вида взрывается мелкими осколками и «макар» легко вздрагивает в моей руке, покрываясь каплями дождя. Но дождь кончается. Ярость и определенность не могут существовать одновременно долго. Либо то, либо другое.

Грузовик пересек молчание МКАДа спокойно и легко, как обычная швейная игла могла бы пронзить вакуум космического равнодушия (хотя что делать в космосе обычной швейной игле?), и лишь затем шквал гудящего огня принял его в свои теплые морщинистые ладони. Я успел заметить, как уткнулся окровавленным лицом в баранку руля водитель-японец. Как уходит в сторону горящего здания грузовик... А меня уже нет в кабине. Я качусь по горячему асфальту, стреляя наугад, в темноту и пламя. Рука саднит, но основной удар пришелся на левое плечо, так что все могло быть куда хуже...

Мимо меня белыми пятнами в отсверках катан летят Братья Драконы... Они не касаются земли. А ведь так важно не отстать от них. Я вскакиваю и бегу вперед, выуживая из памяти будущее, как минуту назад извлек из ножен черный вакидзаси.

Первым будет Хэйхати...

Потом Горобэй...

Затем Кюдзо и Кикутёй...

Останутся трое, и если повезет, я буду четвертым... Но только если повезет и кто-то из нас сумеет дотянуться до Твари раньше, чем она дотянется до нас. Тот, в зеркале, почти не ошибся. И я был рад этому «почти». Я намерен цепляться за него, пока есть силы вдыхать пропитанный гарью воздух Москвы, менять обоймы в «макаре», рубить проступающую человеческими силуэтами темноту коротким лезвием вакидзаси. До тех пор, пока я бегу по рушащейся мне под ноги Москве, а впереди мелькают белые пятна кимоно Братьев Драконов. И если я о чем-то и жалею сейчас, то только об одном...

...Зря я все-таки выбросил плеер. Самое время для нарезанного давным-давно трека «I

Fill You»... Так приятно бежать по улице, стреляя наугад, и слушать черно-белую музыку Depeche Mode...

Круг второй DJ ТОМАШ КОФА set

— Вакоби... Ваку-вакибо...

Пожалуй, все, что интересовало меня той ночью, это суборбитальная речь вертушек dj Шамана да змеящееся тело его спутницы-азиатки, имени которой я не помнил.

А дело в том, что с тех самых времен, когда британские рыцари писали дешевые детективы, спасаясь от голода и нищеты, многое изменилось. Можно сказать, почти все. Я и не пытался думать под истерический визг расстроенной скрипки, забывая мозг опиумными парами и вспоминая количество ступеней на лестнице. Куда как проще и комфортнее было разместиться за крайним столиком в клубе «Дос Пасос», заказать себе двойной эспresso и лениво покуривать легкий гашиш, слушая dj Шамана. Его спутница-азиатка, имени которой я никак не мог вспомнить, знала, о чем танцует, легко превращая собственное тело в иллюзию. В мою иллюзию. Ее обтянутое серебристой тканью смуглое тело вздрагивало и меняло очертания в такт синкопированному ритму dj Шамана, а глаза, состоящие из одних зрачков, заглядывали в самое сердце.

— Вакоби... Ваку-вакибо... Ваку-ваку-вакотон-тон...

Разумеется, Лебрусу это было не по душе. Ну конечно, о чем разговор?

Он, несомненно, предпочел бы скрипку, кофе не из кофейного аппарата, а из турки и миссис Хадсон для полного комплекта. Желательно в специальном заведении для сексуальных меньшинств. И ему никогда не приходило в голову, что играть на скрипке партию из «Волшебной флейты» Моцарта, глядя, как мимо окна проносится рекламный дирижабль с предложением поучаствовать в охоте на себе подобных, — это пахнет абсурдом, если не безумием...

Нет, есть вещи, недоступные уму мудрецов. Впрочем, я, кажется, не первый, кто об этом говорит. Единственное, что спасало меня от скуки, — это хобби моего напарника. Филолог по образованию, он любил играть в странную игру: доказывать с помощью историко-фонетических цепочек связь совершенно разнородных словообразований. В тот вечер он пытался доказать факт общего исходного корня у имени нарицательного «игемон» и имени собственного Игги Поп. Разумеется, это была просто игра, но порой он приходил к таким выводам, что ему хотелось верить. Особенно глядя на рекламный дирижабль, пролетающий мимо черно-белого, словно в комиксе, города, по-прежнему носящего краснокирпичное имя Москва, и на все остальное тоже.

— Ты так и не открыл папку, — пробормотал Лебрус, воспользовавшись паузой между треками. При этом он, как водится, не отрывал глаз от наладонника, а руку — от стакана с мерзким пойлом, именуемым абсент.

— Я открывал, — ответил я, — по дороге сюда...

— Угу, — сказал Лебрус, — но я хотел бы...

— Эта гадость со временем выжжет твой мозг.

Упомянутая папка — обычная пластиковая, со скоросшивателем внутри, прихватившим двумя непрочными усиками пачку стандартных листов формата А4, — ничем не отличалась от полутора сотен остальных, лежащих сейчас в шкафу нашего с Лебрусом офиса на Смоленке. С двумя оговорками. Во-первых, это дело было не закрыто. Во-вторых, это было дело Томаша Кофы. Второй момент приятно волновал, вклиниваясь в мое настоящее наподобие того, как тело танцовщицы-азиатки ввинчивалось в аккомпанемент dj Шамана. Впервые за всю свою карьеру я был по-настоящему заинтересованным лицом в гонке за каким-то человеком. До сих пор я просто выполнял свою работу, которая отвечала

моим врожденным наклонностям, а потому не могла мне не нравиться. И все же это была рутина, приятная, но привычная. Просто одна необходимость определяла другую необходимость — не более того. Или лучше так — одна необходимость была обусловлена рядом других... Не могу сказать, что не испытывал при исполнении своих непосредственных обязанностей сильных чувств, что оставался холоден и равнодушен. Напротив, работа приносила мне несказанное удовольствие. Связанные с ней моральные аспекты я не принимал близко к сердцу, я отдавал себе отчет в том, что убиваю себе подобных, и не переживал по этому поводу. Это все равно случилось бы. Превентивная система института российской государственности подразумевает существование легального штата убийц. А мою генетическую предрасположенность к уничтожению себе подобных определили еще за несколько месяцев до моего рождения. Другими словами, вариантов у меня не было, а значит, и париться по этому поводу не имело смысла. Точнее будет сказать так: варианты были, но они меня не устраивали. А убивать, не считаясь преступником, мне нравилось. Никаких лишних проблем с законом и его представителями.

Наш фигурант, Томаш Кофа, был так же, как и я, генетически предрасположен к убийству, но он родился на несколько лет раньше, в начале семидесятых, а тогда такую предрасположенность выявлять еще не умели...

Однако все по порядку...

В 1994 году Томаш Кофа умудряется выпустить книгу «Круги на воде». В деле про это сказано лишь вскользь, но для меня это основополагающий момент, краеугольный камень, если хотите. Поскольку я познакомился с Томашем Кофой, попросту купив его книгу (ин-октаво, мягкий переплет, черно-желтая обложка) в зачуханном книжном ларьке рядом с метро «Маяковская». А жаль, книга была достойна большего. Томаш Кофа сравнивал мир с камнем, брошенным в воду. Кто-то достаточно сильный или достаточно отчаявшийся (это *важно*) придумал историю. Придумал и забыл. А история осталась. Осталась одним моментом, который стал обрастать подробностями, прошлым и будущим, событиями и незначительными мелочами. Прошлое и будущее — это и есть круги на воде от брошенного камня. В тот момент, когда история начала существовать сама по себе, начал существовать и мир. Сначала и правда было слово. И вот находится человек, который, будучи достаточно сильным или достаточно отчаявшимся, придумывает другую историю. И снова бегут круги, и снова появляется прошлое и будущее, но они отличаются от тех, что уже есть. Это и есть бесконечность — тысячи историй, сотни тысяч миров, порождающих иные миры, иные истории. Камни падают в воду, круги расходятся, снова падают камни... Сотни вариантов одной и той же истории. Один и тот же камень не бросить в одну и ту же воду... Над всем этим сидит Бог-наблюдатель, придумавший историю номер один. А главный герой книги как раз и пытается узнать, какова же она была.

Чуть позже, в 1997 году, Томаш Кофа совместно с dj Сойером выпускает совместный CD «Долина Гейгеров». Этот CD не сделает Томаша Кофу известным широким кругам, но прославит его среди маргиналов как творца концептуальной музыки, не лишенной определенного изящества и самобытности. Лично мне альбом понравился практически полностью, за исключением нескольких треков... Но не ищите его на прилавках.

После этого Томаш Кофа пропадает на долгие семь лет... Никакой информации об этом периоде у меня пока не было. Как обычно, полноценный материал Лебрус собирал лишь к концу вторых суток с момента открытия дела, но материал этот всегда был предельно исчерпывающим, так что я напарника не торопил, тем более, что для начала было достаточно и тех сведений, что хранились в пластиковой папке.

Просто... просто бывают такие минуты, когда при любой заинтересованности делом вы не хотите торопить события, а ваш мозг занят чем-то другим. В тот момент мой мозг был занят гашишем и миндалевидными глазами азиатки.

— Ты уже что-то придумал? — Голос Лебруса вторгается между мною и этими глазами с бесцеремонностью ледоруба.

- Да, старик, да. Оставь меня в покое!
- Но нам уже перечислили деньги. А ты куришь слишком много гашиша.
- Он совсем легкий.
- И тем не менее.
- Слушай, а нельзя узнать, от кого именно пришел заказ на Томаша Кофу?
- Нет, конечно. Мог бы и не спрашивать.

Я с трудом отрываюсь от глаз танцовщицы, оставляя для себя только музыку. Лебрус, к сожалению, прав, деньги нам перечислили. А гашиш действительно был легким, просто для поддержания настроения, не более того.

Итак, в 2003 году Томаш Кофа и его супруга Екатерина J.S. обратились в федеральное учетное агентство при Министерстве здравоохранения Российской Федерации. К тому времени Екатерина J.S. была на четвертом месяце беременности. Выяснилось, что ни она, ни Томаш Кофа не внесены ни в группу генетической элиты, ни в группу внеочередников. Кроме того, они не обладали необходимой суммой денег на оплату государственного налога на свободное рождение ребенка. В связи с чем Томашу Кофе был выдан стандартный патент на убийство одного человека, а также список возможных десяти жертв. Только в случае удачного исхода Екатерина J.S. получала право на законное рождение ребенка. Через два месяца Томаш Кофа осуществил убийство 54-летнего Ивана Блока, и Екатерина J.S. родила дочь, которую назвали Алисой.

Однако Томаш Кофа не остановился. Не смог. В течение года он уничтожил еще пять человек из списка, потом пропал на год и вот появился снова, убрав еще двоих... Последнему удалось серьезно ранить Кофу, и по следам крови ученые-криминалисты установили генетическую предрасположенность Томаша Кофы к убийству. Дело было передано нам с Лебрусом.

Таким образом, Томаш Кофа по ряду параметров был моим генетическим двойником. И вот мне предстояло найти его и остановить. Найти и уничтожить психологически близкое существо. А я еще никогда не встречал настолько подобного себе ублюдка и тем более не оказывался по отношению к нему в роли охотника. Это приятно щекотало нервы и превращало приятную рутину рабочих будней в нечто иное...

В ту ночь, сидя в баре «Дос Пасос», слушая суборбитальную музыку dj Шамана и глядя на извивающееся тело танцовщицы, я улыбался. Я впервые был по-настоящему заинтересован охотой как таковой, а не ее результатом...

Dj Шаман закончил камлать около двух ночи, молча снял винилы и не прощаясь ушел со сцены. Я расплатился за кофе и гашиш, оставил официанту чаевые и ленивой походкой выбрался из пропитанного сладковатым духом клуба. На улице было хорошо. Ослепительный, идеально белый свет ночных фонарей безжалостно рвал первозданную темноту. Лучи противозвушной обороны выхватывали в небе рекламные дирижабли и нежно вели их, аккуратно передавая друг другу. Было не по-майски свежо, сквозняк шкодливо забирался под рубашку, холодя вспотевшее тело. Урбанистическая эстетика, поэзия бетонных плит и городского мусора. Надо непременно записать это и передать потомкам. Я закурил, еще раз огляделся и сплюнул на тротуар. Красота подыхающего мира была выше моего понимания и куда ниже желания понимать.

Лебрус уже стоял около нашего пикапа, зябко поеживаясь в своем легком кримпленовом платице. Выглядел он хреново — с двухдневной щетиной и желтыми следами никотина под носом. Но у каждого свои генетические траблы: кто-то становится серийным убийцей, кто-то — дегустатором дорогих вин (почему это не может быть генетически предопределено?), а кто-то — педиком... Во всем виноваты мелкие, неразличимые глазом твари, из которых состоит наш организм. Но Лебрус, черт побери, был идеальным напарником, и меня вовсе не волновало, как он распоряжается собственной задницей. Вот если бы он покусился на мою, я бы сломал ему руку. Для начала... Если бы смог, конечно. Надо заметить, что сломать руку Лебрусу не так легко. А если он успеет вытащить из-за резинки чулка браунинг — невозможно.

— Куда едем? — спросил Лебрус, залезая в пикап.

— В клуб «Корма», — ответил я, поворачивая ключ зажигания. Пикап, как обычно, пару раз чихнул и смолк. Я привычно чертыхнулся и повернул ключ еще раз. Мастера в автосервисе никакой неисправности не обнаружили. Просто наш пикап заводился исключительно со второго поворота ключа. Вот и все. Без комментариев со стороны заинтересованных лиц и фирм производителей...

— Опять в клуб? — удивился Лебрус. — Но у меня сегодня запланирована встреча, я...

— Я тебя не держу, — оборвал я его, — можешь валить к своему приятелю или куда ты там намылился. Но в клубе «Корма» в свое время работал dj Сойер, если тебе это о чем-то говорит... Я бывал на его сетах.

— Разумеется, говорит, — подумав, буркнул Лебрус.

Пикап весело подскочил на поребрике, вылетел на проезжую часть и устремился в пронизанную электричеством московскую ночь, стирая границу между световыми пятнами фонарей и минутами. При этом он громогласно рычал пробитым в нескольких местах глушителем, нарушал все возможные правила «Экологического уложения для автотранспорта в пределах МКАД» и далеко не всегда соглашался подмигнуть поворотником. Это была машина для любителей суицида или для убийц. Собственно...

Лебрус достал из миниатюрной сумочки сигару, прикурил и задумчиво ответил:

— Не думаю, что они продолжают поддерживать связь, старик. Dj Сойер получил и славу, и деньги, тогда как Томаш Кофа не получил ничего... Это может стать причиной неприязни. Хотя как знать, конечно...

Я поеду с тобой.

Разумеется, поедет. Лебрус, так же как и я, не упустит возможности сунуться мордой в муравейник. Это присуще всем поголовно людям, просто в разной степени. Если есть грабли, на которые можно не наступать, или (читай «тем более, если») на которые наступать опасно, то человек в 75% случаев на них наступит, причем намеренно. С единственной идиотской целью посмотреть, что из этого выйдет. Это как у детей, которые разбирают новые игрушки на части, чтобы узнать, что скрывается там, внутри. Дети понимают, что им попадет от родителей, что они лишатся новой игрушки, но их это не останавливает. То же самое и со взрослыми людьми. Возможные последствия их не только не останавливают, напротив, именно в последствиях весь цимес. Это всегда глупо, всегда неблагоразумно, но, несмотря ни на что, связано с самыми прекрасными моментами жизни. Нормальный человеческий парадокс.

О «Кормах» ходили дурные слухи, а Лебрус, хотя и был педерастом, великолепно, просто сказочно хорошо стрелял и с браунингом управлялся лучше, чем я. Да и подраться был не дурак. Просто он не был генетически предрасположенным убийцей, и случалось, что выстрелить в человека становилось для него этической проблемой. Правда, с самой проблемой он разбирался позже, а для начала стрелял. И это хорошо. Иначе подобные мне остались бы без работы.

Ну, и раз уж я заговорил о Лебрусе, есть еще одна причина, почему мой напарник годился только на роль второстепенного героя, — его поразительная пассивность. Он мог бы горы свернуть, будь хоть немного менее ленив. Возможно, его пассивность в сексе тоже следствие лени. Но там у него были свои кнуты, а в работе его подгонял я.

Другими словами, мы были напарниками, вот и все. И в тот вечер в «Кормах» я бы предпочел оказаться вдвоем с Лебрусом. Я, разумеется, терпеть не могу быть рядом, когда он достает свой браунинг из-за резинки чулка. Сам этот процесс действует мне на нервы. Но все, что происходит потом, мне нравится. Лебрус никогда не промахивается. Да... Кстати, я пишу это без плотоядной улыбки на лице. Я просто констатирую факт: мне нравится видеть, как умирают люди. Я не делю это «нравится» на моральные и физиологические компоненты, мне просто нравится. Это психологическая патология, заложенная во мне на генетическом уровне. Бороться с ней бессмысленно, да и не хочется. Мне нравится быть *таким*.

— Отлично, я не сомневался в тебе, старый негодяй.

— Но потом ты отвезешь меня в «Троянского коня», — чуть капризным тоном объявил Лебрус.

— О'кей... — вздохнул я, — хотя мне не доставит удовольствия даже долю секунды наблюдать такое количество пидоров сразу.

— Не забывай, — пожал плечами Лебрус, — что и я пидор, как ты изволил выразиться...

— Одного пидора я еще могу кое-как вытерпеть, — ответил я, усмехнувшись, и вписал пикап в поворот на скорости 70 км/ч.

В районе метро «Тульская», у съезда на Третье транспортное кольцо я вынужден был сбросить скорость: две из трех полос занимали с десяток столкнувшихся автомобилей. Тут же стояли две желтые машины «скорой помощи» и только что вскрытый (кое-где еще можно было заметить следы неиспарившейся плацентной пены) контейнер милицейских маркеров. Я вгляделся, пытаюсь увидеть пострадавших, но кроме нескольких пятен крови на асфальте ничего не заметил.

— Рейсеры, — прокомментировал Лебрус, и толстый столбик пепла, сбитый его ухоженным ногтем с французским маникюром, упал на коврик...

— Да, скорее всего, — согласился я, — но никто не погиб. Увы...

— Иногда мне просто страшно с тобой общаться, — усмехнулся Лебрус.

— Мне иногда тоже страшно с тобой общаться, — парировал я, выкручивая руль вправо и пуская пикап в объезд горы искореженного металла. — К примеру, этот твой «Троянский конь». Тебе не кажется, что когда клуб для сексуальных меньшинств носит такое название, все нормальные члены общества от него должны просто шарахаться?

— Ну, ты и ублюдок, — вздохнул Лебрус...

Я не стал отвечать, тем более что так оно и было, просто вдавил снова педаль газа и дал волю всем лошадиным силам, скрытым под крышкой капота. Наши отношения с Лебрусом сложились давным-давно. Если придется, я готов за него глотку перегрызть. И бывало, что грыз. А Лебрус как-то уложил с десяток человек, спасая меня. И между прочим, для него это далеко не просто так... А как мы общаемся — это наши проблемы, договорились? Просто не суйтесь в это, и все...

В районе Бережковской набережной мы соскочили с Третьего кольца и, значительно сбросив скорость, углубились в лабиринт дворов-колодцев досталинской застройки со всей их ампирной монументальностью.

Клуб «Корма» находился в одном из таких дворов в бывшем бомбоубежище, которое побывало и угольным складом, и обиталищем местных бомжей. Первый владелец клуба выкупил за какие-то смешные деньги несколько сотен метров неиспользовавшихся подземных коммуникаций, сделал еще меньшие финансовые вложения в ремонт (который свелся в основном к вывозу угля и продуктов жизнедеятельности бомжей), но потратил львиную долю выделенных инвесторами денег на грамотную PR-акцию. И уже в течение полутора лет окупил свои расходы и ушел в абсолютный плюс, приглашая в саундмены ведущих диджеев кислотного андеграунда. Нетрудно догадаться, что спустя еще несколько месяцев счастливчика нашли с простреленной головой. Я, помнится, видел фотографии, — приятное зрелище...

Что касается второго владельца клуба (у него, разумеется, было железное алиби на момент убийства партнера: он в это время находился далеко за чертой МКАДа), то он никогда и нигде не появлялся без сопровождения десятка угрюмых чернокожих бойцов из некогда славного охранного агентства «Кенийские Мганги». Но и это не спасло его от прямого попадания кумулятивного снаряда в лобовое стекло лимузина.

Ну, а что до нынешнего, третьего по счету владельца клуба «Корма», то о нем никто ничего не знал, его никто никогда не видел, а Лебрус — так и вообще предположил как-то, что его на самом деле не существует. В том смысле, что реальным владельцем является одна

из государственных контор. Возможно, даже та, которая несколько лет назад оформила со мной и Лебрусом контракт, включив нас в штат легальных убийц. И это, надо заметить, было не так уж глупо, если учитывать, какие деньги приносил клуб «Корма». Почему бы солидной, всеми уважаемой организации не заполучить аварийный вариант жизнеобеспечения? Все возможно... Хотя я все-таки считаю, что клуб прибрала к рукам корпорация «РайМан». Просто потому, что за ней уже числились подобные дела.

Итак, мы мотались по этому старомосковскому лабиринту минут сорок, не меньше. Последний раз мне доводилось бывать в «Кормах» еще при первом владельце, и с тех пор прошло много лет. Лебрус же вообще не бывал тут никогда, поскольку интересовавшие его заведения находились в менее криминализированном центре города. Что касается бортового компьютера пикапа, то на него в этих колодцах не было никакой надежды: связь пропадала, прерываясь помехами, и на экране панельного монитора появлялось что угодно, кроме запрашиваемой информации. Когда я уже решил плюнуть на эту идею и вернуться сюда на следующий день с распечаткой подробной карты местности, мы неожиданно оказались перед шлагбаумом, перегораживающим выезд в одной из арок. Над шлагбаумом висел логотип клуба «Корма» — стилизованное изображение свиной морды.

— Похоже, мы на месте, — сказал Лебрус и провел ладонью по подолу юбки. Я услышал легкий щелчок и усмехнулся...

— Не боишься ногу прострелить?

— Я боюсь, что там, — Лебрус кивнул в сторону выезда из арки, — может не остаться времени снимать с предохранителя. Ты слышал что-нибудь об этом клубе, кроме того, что в нем играл некогда dj Сойер?

— Да, — кивнул я, сунул руку под мышку и снял «Папу Дуче» с предохранителя, — каждое утро сюда приезжает труповоз... Кроме вторника. Потому что в понедельник клуб закрыт... А еще тут начинал dj Шаман.

Пока я это говорил, в проеме арки показался монументальный силуэт охранника. Стало значительно темнее.

— Ты готов? — спросил я Лебруса.

— Да, только глаза подведу...

— Ах, ну да, ну да...

Охранник, белый громила головы на две выше меня ростом, вынужден был согнуться пополам, чтобы заглянуть в окно с моей стороны:

— Предъявите, пожалуйста, клубные карты. — Голос у громилы был под стать его внешности: низкий, хрипловатый и абсолютно лишенный интонаций.

— Вот черт, — ответил я, — с каких это пор в «Корма» стали пускать по клубным картам?

— С десяти вечера, — поморщив лоб, ответил охранник, и я решил, что не стоит задавать ему такие сложные вопросы.

— Ну, хорошо, а как можно приобрести карту?

— В клубе у распорядителя, — ответил охранник.

— Э-э... Понятно. А как попасть в клуб?

— Предъявите, пожалуйста, клубные карты, — уверенно ответил охранник, и лоб на этот раз не морщил.

— Так... — Я поднял руки, как бы приглашая охранника мыслить логически (напрасная попытка), — получается, чтобы купить карту, я должен попасть в клуб, но попасть в клуб можно только по карте?

— Да, — уже менее уверенно кивнул охранник, — с десяти часов вечера.

— Угу... А если мне нужно в клуб сейчас? — на всякий случай, но уже без особой надежды, уточнил я.

— Предъявите клубную карту, — заученно проговорил охранник.

Я молча завел мотор, выехал из арки, потом развернулся и начал выбираться из

лабиринта дворов-колодцев.

— Стандартный тупица, — констатировал Лебрус, — не нервничай. Завтра у нас будет больше информации, и мы постараемся вернуться сюда до десяти часов вечера. Если, конечно, потребуется...

— Время — деньги, — вздохнул я.

— Ой, да ладно, — жеманно отмахнулся Лебрус, а я в очередной раз подумал, как он умудряется этими холеными руками держать браунинг, ломать челюсти, вырывать кадыки... — Прекрати гнать, напарник. Я тебя умоляю! Когда это тебя деньги интересовали? Просто ты давно никого не убивал, в этом причина. Тебе нужна кровь...

— Одно другому не мешает, — возразил я и добавил: — Ты не против, если я высажу тебя около станции метро?

— Ой, конечно против! Ты же обещал...

— Ладно, ладно, отвезу тебя к твоим друзьям...

Ночь была одновременно и светлая, и какая-то мутная, как голова после двух стаканов абсента... Я подумал, что если бы к этой темноте добавить немного зеленого оттенка, было бы в самый раз... Исключительно ради эстетики.

— А сам-то куда собираешься? — спросил Лебрус, доставая из сумочки очередную сигару.

— А что?

— Да я давно обещал ребятам показать своего напарника...

— Что?! — Машина вильнула, пересекла разделительную полосу и не сразу вернулась обратно. Хорошо, что на встречной никого не было.

— Да ладно, не переживай, никто не собирается покушаться на твою драгоценную задницу. Думаешь, мы собираемся только ради пары фрикций между ягодич? Напрочь отрицаешь у геев право на элементарное общение?

— Вообще-то именно так я всегда и думал... Ты не обижайся, но знаешь, давай как-нибудь в другой раз. Сегодня я не готов к такому стрессу.

— Ну и дурак, — пожал плечами Лебрус, — опять напьешься в унылом одиночестве.

— Да. Намерен добавить этой ночи немного зеленого оттенка. Абсент сегодня — самое то.

— Ну-ну, — сказал Лебрус, — самое то, чтоб вскипятить мозги. Сам же говорил.

Он закурил, и больше мы в этот вечер не разговаривали. Я думал о зеленом, об абсенте, о «Кошке под дождем» и о том, что неплохо было бы посидеть в одиночестве под музыку странного «Cigarettes», уничтожая мозг излюбленным напитком дядюшки Хэма... А о чем думал Лебрус, я не знаю. Мне было наплевать...

Домой я, конечно, не поехал. И вообще поступил как последняя мразь, ссадив Лебруса за квартал от «Троянского коня». Впрочем, тот не особенно возражал, только посоветовал мне не особенно накачиваться, чтоб отойти хотя бы до десяти часов вечера. Я не очень уверенно пообещал.

Около часа я кружил по ночной Москве без всякой цели, просто так, накручивая километры. Проехал по почти опустевшему Садовому кольцу, постоял какое-то время на обочине через дорогу от Гоголевского бульвара. В бардачке не оказалось ни одного диска «Cigarettes», но я нарыл Нопфлеровскую сборку, что тоже, в общем, годилось для этой ночи. Найдя трек «Private Investigation», я откинулся на спинку кресла и долго курил, глядя в мутное, иссеченное лучами ПВО московское небо... Небо, которое я не любил, но вполне смог бы терпеть, приди кому-нибудь в голову добавить в его твердокаменность цвета мокрого асфальта немного зеленого оттенка любимого пойла дядюшки Хэма...

Около носатого памятника Гоголю блуждали какие-то неясные тени, до меня то и дело доносились голоса, но так невнятно, что слов я разобрать не мог да и не пытался. Там могли зачитывать конспиративным шепотом второй том «Мертвых душ», а могли торговать креком или менять живой товар на марки. А мог проходить ежевечерний слет призраков-скаутов

или, скажем, бездомных литературных героев, таких же убогих в своей незавершенности, как и их авторы. И я из той же оперы...

Я полулежал в кресле, закинув левую ногу на торпеду, и, словно в пинг-понг, перекидывался шариками ничего не значащих мыслей. Мне было уютно. Было *правильно*. Лежать, тупить, пережевывать комбикорм собственного мыслительного процесса. И курить... Я бы провел так весь остаток ночи, и утро бы выдалось не таким тяжелым, но...

Кто-то осторожно постучал в стекло и предложил едва слышно:

— «Майкопский праведник», совсем свежий...

— Нет, спасибо, — ответил я, еще надеясь удержать настроение.

— Бери, не пожалеешь. Крышу сносит на сутки, сансара...

Я опустил стекло и ударил не глядя. Но было уже поздно, ощущение замершего времени оставило меня. Там, за дверьми пикапа, теперь была просто промозглая ночь, провонявшая московским смогом, потом и испражнениями окончательно и бесповоротно потерявших образ и подобие Детей человеческих. И я был из той же оперы. Кто-то скуля отползал от моего пикапа. Кто-то омерзительно заржал под памятником. И только Нопфлер с равнодушием салунного тапера продолжал начитывать текст своей тайной исповеди, которая уже никак не вписывалась в обычную ночь столицы. Я вырубил магнитолу и повернул ключ зажигания. Этих «но» в жизни слишком много. Они вечно все портят. Но без них как-то неуютно.

Минут через десять я развернул пикап и поехал в обратном направлении. По дороге прихватил в «Империи абсти» ноль семьдесят пять абсента и упаковку тростникового сахара. Отъезжая от магазина, осознал вдруг, что нахожусь в трех минутах езды от офиса и почти в часе от дома... Потом вспомнил, что на рабочем столе под грудой каких-то бумаг валяется диск Cure «Swinging Piggy In The Mirror»...

Короче, домой я в тот вечер так и не добрался... Зато добавил темноте изрядную долю зеленого. Как раз хватило до утра...

Но... Нет ничего хуже, чем зеленое утро, поверьте мне!

В тошнотно-зеленые окна рвутся отталкивающе зеленые лучи обезумевшего зеленого солнца... Приходится бежать в туалет и выворачиваться наизнанку, упираясь в зеленый стульчак и надеясь, что вместе с этим вот зелено-склизким, рвущимся из желудочных глубин в холодный мрак унитаза, вместе с болезненными стонами и то наплывающим, то отходящим потемнением в глазах не вывалится и сам желудок со всеми остальными внутренностями. И это продолжается долго, чертовски долго... Но вот наконец ты выползаешь в зеленый офис, опускаешься вдоль стены на пол и собираешься перевести дух. И уже практически получается... Но именно в этот момент открывается тяжелая входная дверь и входит Лебрус — в длинном платье цвета морской волны...

— Лебрус, ты не мог выбрать платье другого цвета? — хрипло выплевываю я, бросаясь обратно к туалету...

— А что в нем плохого? — слышу я за спиной. — И кстати, чем это так воняет в офисе? Ты что, разлил микстуру? Эй, тебя что, тошнит?

— Нет, — выдыхаю я в промежутке между двумя желудочными спазмами, — я просто рассказываю унитазу последние новости. У меня чертовски много новостей. Ты хочешь послушать последние нов... — я не договариваю, поскольку меня снова выворачивает...

— Боже мой, ты все-таки набрался, — вздыхает Лебрус. — Пойду в аптеку спущусь...

Было уже около часу дня, когда я начал постепенно приходить в себя. Зеленый туман медленно рассеивался, нехотя уступая место привычному свету дня. Периодически оживляющее офис дребезжание телефона уже не сверлило голову, и пару раз я умудрился достаточно связно ответить сам. Впрочем, ответы были краткими: в данный момент агентство временно приостановило свою деятельность; простите, я не уполномочен распространяться о причинах. Почти никто не удивлялся, разве что постоянные клиенты, но

им, разумеется, я говорил больше. Клиентов надо беречь, холить и лелеять. Пока их самих кто-нибудь не закажет. А до тех пор надо делать все, чтобы они как можно дольше приносили и складывали в ячейки старинного кассового аппарата фирмы «Гранта Босс Ихелочи» упаковки ассигнаций... Положив в очередной раз трубку, я оглянулся к увязшему в дебрях Интернета Лебрусу и сказал:

— Ты заметил, сколько звонков мы получаем в день?

— Заметил, — кивнул Лебрус, потом отодвинул ноутбук, достал из коробки сигару и долго прикуривал от перламутровой зажигалки.

Тяжелый вязкий дым стелился по офису, касаясь изогнутой дельфиньей спиной стенных панелей из красного дерева, набора ухоженных антикварных щитов времен конкисты, сундуков в углах, всего этого псевдоколониального стиля, который вошел в моду пару месяцев назад и жутко мне нравился... Я взялся рукой за шнур от жалюзи и потянул за него. Свет то мощно врвался в помещение, заставляя стенные панели играть всеми оттенками коричневого, то рассекался на тонкие лезвия, внутри которых танцевали пылинки...

— Я просто подумал, Лебрус, а сколько всего агентств получило лицензии на убийства?

— В Москве или вообще? — уточнил Лебрус.

— Вообще.

— Хм... точно не скажу, но... наверное, больше двух сотен. Уточнить?

— Да нет, зачем? А сколько примерно людей на планете?

— Около пяти миллиардов примерно. Кажется, я догадываюсь, к чему ты клонишь...

— Я просто подумал, если бы ни одно агентство вообще не отказывалось от заказов, а количество заказов было таким же, как у нас... Как скоро мы перебили бы всех людей на планете, а?

— Хм... — Лебрус усмехнулся и снова пододвинул к себе ноутбук, — занятный вопрос... Дай подсчитаю.

Я выбил из пачки сигарету, прикурил от простой пластиковой зажигалки и снова принялся играть с жалюзи. Пожалуй, не совсем верно было бы утверждать, что я окончательно пришел в себя, но зеленого поубавилось совершенно определенно. И сигарета уже не вызывала рвотных спазмов...

— Примерно за два года и девять месяцев, — огласил Лебрус.

— Занятно, правда? — усмехнулся я.

— Да, пожалуй, — кивнул Лебрус. — Я, кстати, нарыл в базе адресок dj Сойера, прямо в разделе «Public». Так что, может, и не потребуется торопиться в клуб до десяти вечера.

Я отбросил шнур и вдавил окурочек в пепельницу. Жалюзи так и остались наполовину раскрытыми. Теперь я видел только лицо Лебруса и его руки.

— В «Public»? Занятно. Было время, когда он старался не светиться, даже на сцену вылезал с арафаткой на лице. Что-нибудь еще?

— Да. За dj Сойером установлено официальное наблюдение. Правда, по другому делу. Кажется, во времена оно парень нелегально приторговывал литературкой и наркотой. Но тут как раз ничего удивительного. — Лебрус покачал в воздухе рукой, и его сигара оставила за собой зигзаг дыма. — Я не знаю ни одного диджея, который не носил бы при себе контрольной дозы. Так что не думаю, что присматривают за ним особенно усердно. Да и информация трехгодичной давности. Но наблюдение объявлено до мая 2007 года. Так что...

— А это ты где нарыл? — спросил я, чувствуя неясную тревогу.

— Пока все идет с официальных информационных порталов. Сведения о лицах, находящихся под наблюдением, содержатся на официальном сайте пресс-службы Министерства внутренних дел города Москвы. Но я уже кинул весточку нашим друзьям яйцеголовым, они покопают глубже. А что?

— Ничего... Ладно, кинь мне адрес эсэмэской на мобилу, — сказал я, вставая и накидывая пиджак. Дверь сейфа с тихим шипением отъехала в сторону. Я переложил «Папу

Дуче» в кобур и направился к выходу. — В общем, если по этому делу будет что-то новое, звони. Всех остальных посылай.

— О'кей, — кивнул Лебрус, — будет сделано. Я так понимаю, ты несколько серьезнее относишься к этому делу, чем к остальным?

— Нет, — соврал я, останавливаясь в дверях, — просто я давно никого не убивал.

Я не знал, что, задавая этот вопрос, Лебрус спасает мне шкуру. Пуля вошла в дверной косяк, выбив щепу. Я рухнул на ковер, судорожно выдергивая пистолет.

Мать вашу, я был еще под действием абсентного похмелья, я откровенно притормаживал! И когда в дверях показался силуэт, я уже вытащил «Папу Дуче», но перезарядить не успел.

Так что Лебрусу пришлось спасти меня еще раз. Браунинг сказал «тох», и пылинки закружились неистово в расходящихся лучах прищуренных жалюзи... Человек в дверях покачнулся, сделал неуверенный шаг в кабинет, повернулся и рухнул на пол в метре от меня. Рухнул лицом вверх.

— Кажется, я только что отработал наши деньги, — пробормотал Лебрус, медленно выходя из-за стола.

— Похоже на то, — кивнул я.

Лицом вверх, с ровной круглой дырой во лбу на полу нашего офиса валялся Томаш Кофа...

— Я только одного не могу понять, — прошептал я, чувствуя, что твердый комок уже скапливается где-то в области паха...

— Что именно? — спросил Лебрус, осторожно трогая лицо Кофы носком ботинка.

Я хотел ответить, что не могу понять, как этому парню удалось уничтожить десять человек. Он действовал не просто как дилетант, но как дилетант-сумоубийца. Дождавшись меня за дверью и промахнувшись (а между нами не было и двух метров), Кофа вошел в кабинет и подставился. Что-то тут было не так. Убийца никогда бы так не поступил.

Я хотел выложить все это Лебрусу и в любом другом деле так бы и сделал, поскольку давно научился управлять эмоциями. Но в этот раз то ли из-за абстиненции, то ли из-за того, что все произошло в высшей степени неожиданно, я не справился.

Комок в паху разрядился тугой струей, и я со стоном повалился на ковер. Было хорошо...

Самое трудное после подобного — справиться с вливающейся в тебя силой. Я знаю, эта проблема реально тревожит многих генетических уродов. Существовали даже три правила первых двадцати минут после прихода (времени, когда организм адаптируется к новым условиям): не пожимайте человеку руку — вы можете нанести ему увечье; не прикасайтесь к хрупким предметам; не делайте резких движений. Поэтому я, не делая резких движений, стащил с себя штаны и поплелся застирывать их в туалетном умывальнике. Это было непросто, но я шесть лет работал в этом бизнесе.

Лебрус отнесся к случившемуся достаточно спокойно. Он уже видел пару моих неконтролируемых приходов, поэтому сделал вид, что ничего особенного не произошло, и начал методично исследовать карманы трупа.

Мне удалось не свернуть кран и не порвать брюки, а также не сорвать со стены полотенцесушитель, на который я их пристроил. Но я все-таки отломал крышку мусорного ведра, куда выбросил испачканные спермой трусы, и сорвал держатель туалетной бумаги, когда пытался вытереть руки. Решив, что больше рисковать не стоит, я обмотал вокруг бедер пиджак и вышел.

— У меня две новости, — тут же сообщил мне Лебрус, — обе тебе не понравятся. С какой начать?

Он уже сидел за своим столом, постукивая тщательно ухоженными ноготками по столешнице. Внешне Лебрус выглядел абсолютно спокойным, но я знал эту его привычку постукивать ногтями — это означало, что он чувствует себя не в своей тарелке. Поясню: в

прошлом году была ситуация, когда он оказался в одиночку без оружия перед двенадцатью бритоголовыми мудаками с бейсбольными битами. Они хотели проучить голубого. Так вот, тогда Лебрус не чувствовал себя не в своей тарелке. Он просто сломал двоим ключицы, а остальных, почти не травмируя, просто вырубил. Лебрус чувствовал себя не в своей тарелке, когда чего-то не понимал и считал, что понимание данного конкретного момента стоит как минимум шкуры. А может, даже потерянных денег...

— Выкладывай обе, — ответил я, садясь на свое место и по привычке закидывая ноги на стол. Потом увидел собственные голые колени, представил, как и что болтается там внизу, и поспешил ноги снять. Не стоило лишний раз нервировать напарника.

— По порядку, — кивнул Лебрус и показал мне стандартный официальный конверт, — вот это я нашел у Кофы в кармане пиджака...

— Что это?

— Список разрешения. Из тех, что выдают будущим отцам, желающим продолжить свой род. Десять человек, определенные госмашиной как потенциальные жертвы. Говорят, для этого пользуются методом подбора случайных чисел...

— Ты хочешь сказать, что Катерина J.S. снова беременна? — Я удивленно уставился на напарника. — Приятель, это бред. Во-первых, право на повторное рождение ребенка получить почти нереально, а во-вторых, если бы Томаш Кофа пришел за таким разрешением, его схватили бы прямо в дверях муниципалитета и немедленно отправили на электрический стул.

— В том случае, если он действительно официально объявлен в розыск, — сказал Лебрус и перестал стучать ногтями.

— Не понял...

— погоди, дай мне договорить. Я сунулся в Интернет, но вся информация о Томаше Кофе исчезла. Ее просто нет, даже той, что я нашел для тебя вчера. Вообще никакой. Такое ощущение, что этого парня никогда не существовало.

— Не понял... — снова повторил я.

Лебрус встал из-за стола, выбрал в пепельнице окурочку сигары подлиннее и неторопливо прикурил. Я молчал, зная, что торопить его сейчас ни в коем случае нельзя. В набриолиненной голове моего напарника проворачивались такие мозговые шестерни, какие мне и не снились. Его аналитическая машина работала на полную катушку, соединяя пунктирными линиями предположений и догадок разрозненные факты, события, даты и так далее. Поэтому я просто выбил из пачки еще одну сигарету, закурил и приготовился ждать.

Я успел докурить одну сигарету и прикурить от нее вторую, когда Лебрус перестал расхаживать по комнате, подошел к моему столу и положил на него конверт:

— Посмотри-ка, Душегуб, тебе ничего не кажется... необычным?

Я подтянул конверт поближе, вытянул из него сложенный вчетверо листок, развернул... И замер. Это был официальный бланк разрешающего списка: шапка муниципальной службы, министерские реквизиты, гербовые печати. Далее стандартная форма об оплате пяти евро, подписи, все как положено. Снова печати и, наконец, непосредственно список. Бланк со всеми деталями, вплоть до водяных знаков. С виду — не подделка. Точно такой же лежал в папке с делом Томаша Кофы. Отличались только люди, упомянутые в списках. В этом за номером первым значилось мое имя, вторым — Лебрус, третьим стояло имя одного из яйцеголовых, поставляющих нам информацию. Остальные имена были мне незнакомы...

— Это что за на хер?

— Сдается мне, — проговорил Лебрус, поправляя прическу, — что нас кто-то решил весьма некрасиво подставить...

— Что это такое, Лебрус? — Я бросил список на стол, и из пепельницы вспорхнуло серое облако пепла. Это? — Лебрус снова уселся за свой стол и принялся долбить ногтями столешницу. — Это список, который государственная машина составила методом подбора случайных чисел. И именно поэтому совершенно случайно в этом списке оказались ты, я,

наш яйцеголовый и семеро человек из конторы, которая поручила нам найти Томаша Кофы. Обычное совпадение случайных чисел, напарник, не более того. Хм... А еще...

— Есть что-то еще? — уточнил я, поскольку Лебрус вдруг застыл, глядя куда-то в сторону.

— А где он? — предельно ровным голосом спросил он.

Я обернулся, но ничего особенного не увидел. В том числе и труп Томаша Кофы...

— Ты понял? — тихо спросил Лебрус после долгой паузы, в течение которой мы, словно два барана на новые ворота, пялились на девственно чистый ковер.

— Не совсем, — ответил я. — Может, водки?

Лебрус достал из бара бутылку водки, подошел к двери, закрыл ее на ключ и уселся на ковер под окном. Была у нас такая традиция — в сложных ситуациях распивать на полу под окном. Так спокойнее на случай, если на одной из соседних крыш загорает курортник с СВД. Я тем временем сполоснул рюмки, отыскал на дне холодильника подсохший лимон и кое-как его нарезал.

— Что он никакой не генетически предрасположенный убийца, я уже понял, — начал я, когда мы опрокинули по первой рюмке, — хотел тебе об этом сказать. — Водка обожгла мне холодным огнем гортань, потом горло, рухнула в желудок и медленно утихомирилась. — Значит, есть два варианта. Либо у него был дополнительный шанс...

— Исключено. — Лебрус покачал головой. — Он бы засветился в списках носителей, и я бы об этом узнал. Конечно, не исключено, что подчищать информацию начали только вчера... А какой второй вариант?

— Он мой антипод — генетически предрасположенный смертник. Я много читал о них в свое время... Но в любом случае я не понимаю, на хрена? Кому понадобилось подставлять мелкое агентство устранения? Между прочим, работающее на государство. Не понимаю...

— Уверен, что никому, — помолчав, ответил Лебрус. — Скорее всего, мы только звено в цепи подобных происшествий. А цель... Мне она пока неясна, да и вряд ли нам удастся докопаться, в чем тут дело. Не дадут.

— А что ты хотел сказать мне перед тем, как он испарился?

— Скорее показать, — кивнул Лебрус и протянул мне второй листок, — яйцеголовые накопили... Пришло, пока ты отстирывался.

Я пробежал глазами текст, внимательно прочитав только первый пункт, остальное так, по диагонали. Все было понятно.

Все десять человек из первого списка Томаша Кофы были либо отравлены, либо повешены. Лишь последний был убит выстрелом из СВД с большого расстояния. Все это говорило, что убивавший не был генетически предрасположенным убийцей. Бескровное убийство... В то время как мне и, скажем так, моим коллегам необходимо видеть кровь, именно это заставляет мой мозг вырабатывать особый вид эндорфинов, взрывающих рецепторы удовольствия... А тут — яд, удавка... Даже выстрел с такого расстояния... Чушь.

— Похоже, он все-таки генетически предрасположенный смертник, — неуверенно повторил я. — Я-то был уверен, что их перестреляли еще в год охоты на регрессирующих особей. Я и сам тогда в этом участвовал.

— А знаешь, почему их отстреливали? — спросил Лебрус, разливая водку.

— Ну... так, кое-что. В основном только ту информацию, что попала в Интернет. Как-то они были связаны, Пауки и смертники... Что-то там было про Низового Художника. Я в детали не вдавался, работы много было. Меня тогда наняли на отстрел Пауков. Платили неплохо...

— Я тебе расскажу, только давай сначала... — Лебрус поднял свою рюмку, и капелька водки скатилась по стеклянной грани, — за то, чтоб нам удалось выжить.

— Думаешь, это не все? — Я кивнул туда, где несколько минут назад лежало тело Томаша Кофы.

— Уверен, — ответил Лебрус, звякнул своей рюмкой о мою и залпом выпил, — потому что если все так хреново, как я думаю, они нас постараются достать. Разве что мы уже

отработали свое звено событий... Кстати, ты знаешь, сколько жизней у регрессирующих?

— Девять, кажется... Короче, давай по порядку. Только погоди минуту. — Я быстро опрокинул рюмку, сунул в зубы сухой ломтик лимона и побежал в туалет. Сидеть голой жопой на ковровине было жутко неприятно, а подстелить пиджак под себя я, по понятным причинам, не мог. Брюки и трусы почти высохли, так что я натянул их и вернулся в кабинет.

Лебрус тем временем разлил остатки водки.

— История смертников темная, — начал Лебрус, глядя в сторону, — говорят, ее начало надо искать аж в той резне под Соколом. Я в этом не уверен, но... информации очень мало, сам понимаешь. И все же мне кажется, что к Ниху ни смертники, ни Пауки никакого отношения не имеют. Правда, я скорее сделал собственные выводы, нежели выяснил что-то конкретное. Но выводы эти, на мой взгляд, не лишены интереса, хотя точных ответов не дают...

— Не тяни, Лебрус.

— Короче, что мы имеем? Однажды они просто объявились в Москве... Как раз после того, как взбесились брэндмауэры. Смертников было около трехсот человек, и их мозг вырабатывал точно такие же эндорфины, что и мозг генетически предрасположенного убийцы, но только в момент собственной смерти. Сколько именно жизней у смертников, тогда не знал никто. И теперь точно не знает, кстати, — это именно догадки. Беда в том, что они действительно были связаны непосредственно с этим миром. И каждая их смерть вызывала неконтролируемые процессы. Думаю, тот случай, когда ребята Ниху вырвались из катакомб и сожрали кучу народу, — последствие уничтожения кого-то из смертников. Вот и вся связь. Появление Пауков — из той же оперы. Случайные последствия смерти ГПС. Ведь противопоставить смертникам убийц догадались не сразу, до этого их отстреливали все кому не лень, и при взаимодействии убийцы и смертника никаких последствий не наблюдалось... К тому же убийца убивал смертника окончательно. Так что...

— То есть ты думаешь, что кто-то заварил эту байдю только для того, чтоб я убрал чудом уцелевшего смертника? Бред. На хрена огород городить, если можно было просто меня нанять...

— А я и не думаю, что ты должен был убрать Кофу. Иначе зачем ему тебя убивать? Скорее всего, все должно было случиться так, как случилось. Кофа стреляет в тебя, а я — в него. Я не убийца и тем самым смертью Кофы запускаю некий процесс... На мой взгляд, это самое подходящее объяснение, хотя слишком многое должно было совпасть. От нашей смерти я не вижу никакой выгоды. А вот смерть Томаша Кофы вполне может быть кому-то нужна. Вот только... Я всегда думал, что процессы, вызванные убийством смертника, нельзя контролировать. Или по крайней мере никому, кроме смертников, не известно, как это делается...

— Ну так значит, сам Кофа все и задумал...

— А зачем все эти списки устранения и прочие заморочки? Не вяжется. — Лебрус приподнялся и стащил со стола коробку сигар, а я выбил сигарету из пачки. — Слишком все сложно... да и смертнику куда проще найти убийцу иначе, например просто подставиться, как они всегда и делали. Зачем все так усложнять? Нет, тут что-то другое, но вот что?... Не понимаю.

— Что же нам теперь со всем этим делать?

Лебрус долго молчал, раскуривая сигару, потом долго разглядывал дым. Потом пожал плечами и ответил:

— Разумнее всего было бы свалить куда-нибудь за границу МКАДа и некоторое время не светиться. Посмотреть, как и что будет... Потом сориентироваться. Но знаешь, обидно сдаваться без боя. Предлагаю все-таки навестить dj Сойера. Ну, а если ничего так и не выясним, валить отсюда. По крайней мере в мою голову больше ничего путного не лезет.

...Пробка начиналась от перекрестка Садового кольца и Тверской. Пока я высматривал, что там такое стряслось впереди, слева выезд в сторону «Пекина» перекрыл старенький

«Индент» с подмосковными номерами, а справа встал внушительной тушей грузовой КРАЗ, одни колеса которого были в полтора раза выше нашего пикапа. Другими словами, увязли мы конкретно и, судя по всему, надолго.

— Влипли, — нервно усмехнулся Лебрус.

— Да ладно тебе, не стоит во всем видеть плохой знак. Просто пробка, что тут такого?

— Верно, — кивнул Лебрус, доставая из сумочки сигару и массивную зажигалку, — но так же верно и то, что мы в данный момент даже двери открыть не сможем, если понадобится. Нас подперли так, что...

— Эй-эй, старик, да ты что? — Я хлопнул его по плечу. Но когда я понял, что Лебрус абсолютно прав, мне и самому стало не по себе. Хуже, чем истерика моего напарника, я в жизни ничего не видел: вот уж где проявляется вся его педерастичность. — Ты только в панику не впадай, сейчас не до того...

— Я не понимаю происходящего, — без капли обычной жеманности проговорил Лебрус, — а это всегда вгоняет меня в панику. Да что там стряслось-то?!

Лебрус приподнялся над сиденьем, пытаясь разглядеть, что творится впереди. Там стояли машины, чадя выхлопными трубами, и весь этот дымаган утягивало куда-то туда, вперед по Тверской...

Мимо нас, ловко лавируя между плотно стоящими машинами, проскочил какой-то парень на средней паршивости буги-байке. Его положение было лучше, нежели наше. Хорошо еще, что наш кондиционер работал исправно и вонь в кабину не лезла...

— Ты давно снимал крышу? — спросил Лебрус.

— Ни разу с момента покупки, — ответил я, — а почему ты спросил?

— Мне не нравится, как ведет себя смог, — ответил Лебрус и кивнул по ходу движения.

Я опустил солнцезащитный козырек и щурясь вгляделся в мутную, дрожащую от выхлопных газов картину за лобовым стеклом. Небо, хотя и затянутое серым слоем облаков, слепило глаза...

Впереди, метрах примерно в ста пятидесяти от нас, над машинами формировалось густое облако смога. Именно туда и сносило все дымы застрявших в пробке машин. Самому мне такого видеть не приходилось, но пару раз я слышал о подобном. О том, как из облаков смога появляются жуткие твари, живущие краткие минуты, иногда часы, но смертоносные и неукротимые...

— Надо валить, — сказал я и решительно сорвал рычаг отстрела крыши. Но ничего не произошло, она даже не шелохнулась.

Водитель КРАЗа торопливо сполз по колесу и, часто оглядываясь и налетая на другие машины, стал пробираться к тротуару... Подумалось некстати, что с высоты грузовика было куда виднее все, что происходило впереди. Я поднялся, развернулся, встав коленями на кресло, и изо всех сил уперся в крышу спиной. Человек я не слабый, но сколько ни пыжился, крыша так и не поддалась. Если бы я мог в тот момент кого-нибудь прикончить, сил бы хватило на три крыши с лихвой. Я упрямо продолжал упираться, пока рядом с моим ухом не грянул выстрел из браунинга Лебруса. Я резво нырнул в кресло, выхватывая «Папу Дуче» и высматривая цель. Но за стеклом все было по-прежнему. Я обернулся к Лебрусу и увидел, что он целится куда-то в задний левый угол кабины. Второй выстрел оглушил меня, но Лебрус своего добился: крыша отлетела вверх и в сторону, с силой ударилась о борт КРАЗа и рухнула на асфальт между грузовиком и нашим пикапом. На тротуаре показались оранжевые безрукавки рабочих: кто-то тащил огнетушители, кто-то сети.

Перепрыгивая через борт пикапа на капот прижавшего нас «Индента» (водителя в нем уже не было), я успел заметить, что прикованный массивной цепью к постаменту памятника Маяковскому Зеленый нервно переступает лапами и пытается спрятать голову в тень. Зверюга что-то предчувствовала, и это что-то не внушало ему доверия.

— Сматываемся! — крикнул я Лебрусу, но тот даже не посмотрел на меня, только убрал под юбку браунинг и напряженно уставился вперед. — Лебрус, ты что, оглох?

— Беги, — не оглядываясь ответил Лебрус, — я подожду. Мне надо узнать, что там формируется.

Я замер в нерешительности, не зная, как поступить, но в этот момент что-то оглушительно хлопнуло впереди. Я одним прыжком вернулся в пикап, уселся на спинку кресла и вытер вспотевшие ладони о брюки, перекладывая «Папу Дуче» из одной руки в другую...

— Да ладно! Чтоб какой-то педрила остался, а я дал деру?!

— Ну и дурак же ты, — усмехнулся Лебрус, тоже взбираясь на спинку кресла и стаскивая с ног туфли на высоченном каблуке-шпильке, — и к тому же мерзавец.

— Ага, — кивнул я.

На какое-то бесконечно долгое мгновение все стихло. Мне показалось, что улицу накрыло плотным, звуконепроницаемым куполом. Или звукопо-давливающим, не знаю. Ладони снова вспотели, но мне уже не хотелось выпускать «Папу Дуче». Натянутые нервы, как обнаженные электропровода, реагировали на любой шорох, на стук собственного сердца, на мелькание теней, отброшенных облаками. Холодный ветер остужал пот на спине... А Лебрус все вглядывался и вглядывался вперед.

Так, в почти полной тишине, прошла самая долгая минута моей жизни...

И в тот момент, когда начало казаться, что уже ничего не произойдет, что все закончится вот этим эпилептическим приступом тишины, машины — все машины! — вдруг взревели одновременно и медленно двинулись вперед. Сами по себе: в большинстве из них никого уже не было. Наш пикап пошел борт о борт с гигантским КРАЗом и старым «Индентом». В ту же минуту впереди, рядом с тем местом, где облако смога было наиболее плотным, вылетели стекла в домах по обе стороны улицы, потом еще и еще, а потом волна осколков, сметая все на своем пути, двинулась в нашу сторону. Стекла вылетали со страшной скоростью, пересекались со встречным потоком посреди улицы и превращали корпуса машин в лохмотья. Ослепительная и смертоносная волна... Стекла зримо выгибались, потом разлетались со звуком глухого выстрела и миллионами мелких осколков-лезвий уничтожали все на своем пути.

— Вот теперь точно надо валить! — крикнул я.

Лебрус выругался и выпрыгнул на капот «Индента». Я за ним. Сзади все ближе и ближе звенели осколки, оглушительной разноголосицей ревели машины... Сквозь какофонию звуков прорезался истошный женский визг, а может, мне это просто показалось. Мы не остановились бы в любом случае. Мы спасали собственные шкуры, а в таких делах, почти как в любви, выживает только эгоист.

Мы бежали что есть мочи по капотам и крышам прижатых друг к другу, неторопливо ползущих нам навстречу машин. Волна стекла медленно, но неуклонно нагоняла нас, и я все искал глазами подходящее укрытие, но его не было. Оставалось разве что упасть междудвигающимся потоком машин и надеяться выжить... Позади нас корежился металл, уродовались стены зданий по обоим сторонам улицы. Взбесившееся стекло дорвалось до уничтожения. А я все оглядывался.

В какой-то момент я увидел в стене желтой двухэтажки слева узкую арку. Крикнул Лебрусу и, перепрыгивая с капота на капот, побежал туда. Стекло молотило сталь и пластик уже в десятке метров от нас. Мы едва успели влететь во двор и прижаться к стене по обе стороны от арки, как секущие осколки полетели вслед за нами и превратили в дуршлаг металлической короб помойки...

— Ну, как, — крикнул я, — посмотрелся?

— Да пошел ты, — тяжело дыша, ответил Лебрус и сполз по стене на асфальт. — Лучше дай сигарету, я сумочку потерял...

Все стихло как-то разом, в одну секунду. Видно, обезумевшему клоуну, устроившему цирк посреди запруженной автомобилями столичной магистрали, наскучило это развлечение, и он переключился на что-то другое, просто дернув напоследок рубильник.

Тишина, впрочем, была не такой обвальнoй, как перед началом стекольного безумия...

Я курил, с мазохистским удовольствием разглядывая иссеченный осколками корoб помойки. На улице с тихим шорохом и скрипом оседали ни на что уже не пригодные груды металла. Я подумал: странно, что вся эта автоколонна не взорвалась одним махом. Умиротворение витало в воздухе вместе с тополиным пухом.

— Ноготь сломал, — еле слышно пробормотал Лебрус.

Я тихо засмеялся.

Потом в арку заглянул некто в серебристом комбинезоне. Лицо, размытое за стеклом квадратного шлема. Дыхание вырывается со свистом. На груди три буквы: «МЧС». Он оглядел нас по очереди, задержав взгляд на браунинге Лебруса, и глухо спросил:

— Пострадавшие есть?

— Вот, — сказал Лебрус, показывая мизинец, — ноготь сломал.

Я уже было начал вставать, но тут же снова сполз по стене, держась за живот. Спазмы нервного, но спасительного смеха пригибали меня к асфальту.

— Очень смешно, — прогудел спасатель и ушел.

Я все катался от смеха. Лебрус равнодушно рассматривал корoб помойки и курил. Было почти тихо.

Люди постепенно выбирались на тротуары. Из каких-то щелей, из пустых проемов окон цокольных этажей, даже из-под машин. Пустые глаза... У некоторых лица в крови, почти у всех порвана или испачкана одежда... Мы шли с основным потоком людей в сторону Ленинградского проспекта. По проезжей части в противоположную сторону медленно ехал гигантский каток, превращая изрубленные тела машин в сплошной металлический ковер. Вслед за ним двигались три оснащенных многосуставчатыми лапами агрегата поменьше, сворачивая этот ковер в плотный рулон. Картинка абсурдиста. Или опиатового фантаста... Иногда толпу людей прорезали пары спасателей с носилками.

— У тебя еще есть желание оставаться в городе? — тихо спросил Лебрус.

— Не знаю. Но если честно, теперь мне хотелось бы знать подробности. Правда, страшновато...

— Не то слово, — покачал головой Лебрус, — как бы нас любопытство не сгубило...

— Ты все еще думаешь, что это мы виноваты?

— Да нет... Но ведь и исключать такое не стоит, правда?

Очередная пара спасателей, методично повторяя: «расступись-расступись-расступись», пробежала мимо нас. Мы вышли на очищенную дорогу, и идти стало намного легче.

— Как ботиночки? — спросил я Лебруса, разглядывая усыпанный осколками стекла тротуар.

— Нормально. Протяну еще немного.

Ботинки мы сняли с трупа. По сути, кроме них там ничего не осталось, бедняга забежал в ту же арку, что и мы, но секундой позже, попав как раз под осколочный скальпель: все, что выше его колен, превратилось в сплошную мешанину костей, стекла, мяса и тканей... А ботинки были как новые, хотя и маленького размера. Пока Лебрус разувал покойника и обувался сам, я разглядывал изуродованный труп. Организм мой никак не реагировал, поскольку непосредственно момента убийства я не видел. Так что преследовал я иную цель: мне было интересно узнать, как выглядел бы я сам, не заметить арку и не успей вовремя в нее вбежать, или промедли Лебрус чуть дольше в пикапе, или... Короче, мне было интересно, что бы от меня осталось после всех этих «или»... Вполне, надо признать, неплохо смотрелось. Куда симпатичнее, чем, скажем, стандартные серо-коричневые восковые лица в обрамлении цветов и лент... Здесь ощущалось присутствие искусства. Я понимаю, тема искусства смерти давно избита. Но мне впервые пришлось оказаться свидетелем создания такого шедевра. Мясной стеклянный человек... Роза, принявшая форму человеческого тела. А может, алый лед... В общем, вариантов до черта. Главное, это было безусловно красиво, поэтому, когда Лебрус сказал, что еще немного и он начнет блевать, я его не понял...

Позже, идя в потоке людей по Тверской, я все возвращался памятью к увиденному, стараясь навсегда запечатлеть этот образ в закоулках сознания, чтобы когда-нибудь повторить шедевр. В конце концов, кому какая разница, как именно я убиваю людей, главное, что я всегда честно отрабатываю гонорар. Теперь у меня, можно сказать, появилась профессиональная мечта... От одних этих мыслей в паху заныло, но я заставил себя успокоиться. Не место и не время...

На одном из перекрестков стояли автобусы с едой, какой-то одеждой, одеялами. Были растянуты палатки госпиталя. Подъезжали и отъезжали маршрутки, развозя тех, кому не понадобилась экстренная помощь, к ближайшим станциям метро. Сновали репортеры с микрофонами и камерами, стараясь все запечатлеть. Особенно активно они терлись около госпитальных палаток. «Кровавого хлеба и зрелищ», — подумал я и усмехнулся.

— Мне надо привести себя в порядок, — устало сказал Лебрус, — в таком виде я не могу ехать...

— Ты смеешься?

— Нет, — Лебрус покачал головой, — мне хотя бы зеркальце... Господи, все осталось в пикапе, и пудреница, и сигары... Ты даже не представляешь, сколько денег угрохано на косметику, и все — коту под хвост.

— Стеклянному, — вставил я.

— Что?

— Ничего. Где ты сейчас найдешь зеркало? Хотя... вон машины. Поглядишь в стекло, и сматываемся отсюда. Нам надо срочно отыскать Сойера...

Dj Сойер снимал крохотную квартирку в одном из подпирающих небесные хляби пентагонов, громоздящихся лабиринтом на всей территории от станции метро «Ясенево» до загаженных лесов Битцевского парка. Эту информацию еще днем скинули нам яйцеголовые.

«Мини Купер» Лебруса таранил застоявшийся июньский воздух опустевших дорог столицы. Стоило на уличных экранах появиться первым роликам о произошедшем на Маяковке, как в метрополитене до критических отметок увеличился пассажиропоток, коммерческие автостоянки невероятно обогатились, а нам с напарником представилась великолепная возможность проехать практически пустыми улицами чуть ли не через пол-Москвы. Я такой роскоши даже не помнил. Навстречу нам попадался только общественный транспорт да редкие маркеры дорожно-постовой службы.

Максимально отодвинув неудобное сиденье и закинув ноги на торпеду, я подключил наладонник Лебруса к Интернету через его же телефон и стал рыться в сети.

Информационный рунет пестрел фото- и гиф-отчетах о бойне на Тверской. При этом сама информация выдавалась ничтожными порциями, и я так и не смог понять, кто или что вырвалось из смога. Зато, похоже, нашли козла отпущения. Буквально за несколько минут до начала стеклянного шквала какой-то парень на мотоцикле, нарушив правила, выскочил на тротуар и, несмотря на предупреждение маркера ДПС, скрылся с места. Сдается мне, видел я того мотоциклиста. Парень, видимо, был профессиональным гонщиком, поскольку маркер его достать не сумел. Собственно, среди гонщиков его сейчас и искали. Не было сказано, почему именно его выбрали в детонаторы смога, и я, разумеется, ни на секунду не поверил, что он реальный виновник. Впрочем, тех, кто занимался расследованием, можно было понять. Обывателям нужно было бросить хоть какую-то кость, чтоб они начали клаять зубами, хавать и рвать. А истина всплывет через какое-то время, когда уже никому будет не нужна. Зато так удастся предотвратить возмущение налогоплательщиков, чьи деньги методично отваливаются на строительство игорных домов и развитие столичного турбизнеса. Кроме того, есть на кого списать нескольких погибших и восьмерых тяжелораненых, о трех из которых врачи Склифа уверенно говорят как о безнадежных. В общем, ничего удивительного. Оставалось только пожелать парню закопаться поглубже и не светиться как минимум несколько месяцев, пока не утихнет вся эта бодяга. А то ведь разорвут...

— Ну что там? — спросил Лебрус, притормаживая у бесполезного светофора.

— Ничего серьезного, — ответил я, — качественной информации ноль. Зато горы трупов на фотографиях и видеороликах. И нашли козла отпущения. Какой-то парень на байке срулил с места перед самой детонацией смога.

— Лажа, — констатировал Лебрус, — уверен, что он тут совершенно ни при чем.

— Да это понятно... А так — только трупы, раненые и прочие кровавые подробности...

— Тебе это должно нравиться, — усмехнулся Лебрус.

— С какого хрена? — удивился я. — Ты не перепутал меня с маньяком, а? Да, мне нравится убивать и видеть, как убивают. Это в моей природе, между прочим. Но дешевая погоня за лучшим снимком истекающего кровью бедолаги мне не по душе...

— Ладно, ладно, — оборвал меня Лебрус, — считай, что я неудачно пошутил...

— Очень неудачно... Ты что, так и будешь тормозить на каждом светофоре? Нет же никого на дороге.

— Прямо под нами маркер ДПС, — ответил Лебрус, и я автоматически потянул носом, но ничего, кроме слегка приторного запаха ванильного освежителя, не почувствовал.

— Уверен?

— Да, я же смотрел на дорогу.

— Из-за этих твоих «ёлочек» у меня такое ощущение, что мы едем в огромной пудренице.

— Да, — улыбнулся Лебрус, — мне это нравится.

— Ну... — Я не нашелся, что ответить, и снова погрузился в лабиринт рунетовских информпорталов. Теперь там появилось кое-что новое. В частности, выяснилось, что найден мотоцикл подозреваемого, который уже два года числится в угоне. Я усмехнулся. Маладца, парень, такой, может, и выкрутится.

— Понимаешь, это такая фишка, — объяснял я Лебрусу позже, когда мы уже въезжали в Ясенево, — dj Сойлера никто и никогда не видел в лицо. Он всегда вылезает на сцену в намотанной на лицо арафатке.

— Тоже мне фишка, — немного жеманно отмахнулся Лебрус, — я могу назвать с десяток музыкантов, прятавших лица. Банальный пиаровский ход.

— Дело не в том, что он прячет лицо, — возразил я, — а в том, что прячет его именно под арафаткой. Это сейчас вроде ничего особенного, а тогда, когда они с Кофой начинали, это был настоящий вызов общественности. Как раз шла травля регрессирующих, депортировали этих... как их? Которые не по образу и подобию...

— Я не знаю, кого ты имеешь в виду. Инсектропосов?

— Ну да, — кивнул я, — всех этих Пауков и прочее. Они же тоже прятали лица в арафатки. И тут появляется Соилер в арафатке. Ходили даже слухи, что он сам из регрессирующих...

— Опять же пиар-ход, — сказал Лебрус, сворачивая на Литовский. — Знаешь, сколько музыкантов вылезли на свет божий, пользуясь подобными скандалами?

— Ничего ты не понимаешь, — отмахнулся я, — ну при чем тут скандал? Он уже к тому времени был достаточно известным студийным диджеем. Зачем ему было устраивать скандал, если популярность сама к нему так и перла? После концепт-альбома с Кофой он вообще стал невероятно подниматься. Нет, брат Лебрус... или тебя лучше сестрой называть, а?

— Прекрати эти свои пошлые подколки, — тут же насупился Лебрус.

— Ладно, я пошутил. Лицо попроще, напарник, эй. Я только хотел сказать, что дело было вовсе не в...

— Не понял, — оборвал меня Лебрус и медленно затормозил. Я проследил за его взглядом, потом сверился с листком распечатки, на котором значился адрес dj Сойлера, и убедился, что все совпадает. Только там, где должен был стоять нужный нам дом, оказался обширный котлован, обнесенный неровным забором из ржавых рам с натянутой сеткой

рабицей, с уже вбитыми кое-где бетонными столбами фундамента.

— Похоже, твой Марк Твен прячет не только лицо, — проговорил Лебрус, доставая из сумочки сигару, — а «public»-порталы напичканы лажей... Занятно, да?

— Чем дальше, тем страньше, — согласился я, выбивая из пачки сигарету. На душе сразу стало как-то уже привычно нехорошо...

На МКАДе было более оживленно, особенно в местах съезда на большие автобаны, ведущие в область. Лебрус не торопился, держась левого крайнего ряда. Торопиться в принципе было уже некуда. Мелко просыпался и тут же стих дождь, асфальт, словно нехотя, потемнел, замелькали дворники...

— Куда ты теперь? — спросил я Лебруса.

— Не знаю. Мало ли мест... Покатаюсь месяцок по области, побездельничаю. Денег пока хватает. А потом, если припрет, всегда можно устроиться телохранителем к какому-нибудь местечковому князьку-героинщику. Не пропаду, короче. Где тебя посадить?

— Давай около «Солнечного».

Шины с шорохом прошлись по гравийной полосе вдоль дороги. Я вышел, хлопнул дверью и услышал, как «Мини Купер» Лебруса сорвался с места. На этот раз мой бывший напарник не жалел лошадиных сил своей пудреницы. Оглядываться не хотелось. Я перекинул ноги через ограждение, подошел к спуску.

...Далеко впереди стремительно краснеющее солнце давило своей тушей на хрупкий горизонт. Казалось, оно с кровью отдирает от себя облачное одеяло. За спиной перхал пролетающими машинами МКАД. Передо мной ошетинился высоким забором заброшенный кемпинг «Солнечный». Прямо перед ним высились дымящиеся горы мусора и металлолома. Свалка. Воняло омерзительно. Будущее пока представлялось смутно, и думать о нем не хотелось.

Звонок мобильного я не услышал, просто почувствовал короткую вибрацию. СМС: «УТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕВЕРНА! Только что откопали: dj Соьер и Томаш Кофа — один и тот же человек. Выясняем местонахождение».

С минуту я смотрел на экран мобильного, вжимая клавишу «с» каждый раз, когда гасла подсветка. Никаких особых чувств я не испытывал. Просто смотрел на экран мобильного, и все. Между тем, что означало это сообщение яйцеголовых, и тем, где оказался в конце этого сумасшедшего дня я, громыхал МКАД. Я усмехнулся и удалил сообщение. Возвращаться — плохая примета. Где-то внизу уже маячил маркер милиции, подозрительно направив в мою сторону одно из щупалец. «Сейчас сам подойду, — подумал я, — не торопись». И даже полез за паспортом, когда виброзвонок мобильного сработал еще раз. Нехотя достал, прочитал. Убрал паспорт.

«Сегодня. Бар «Крышка» у Чистых прудов. В 23:00. Кофа».

— Вот даже как, — пробормотал я вслух, а за спиной уже взвизгнули тормоза подлетевшего задним ходом «Мини Купера».

— Ну, ты долго?! — крикнул Лебрус.

— Я хочу покурить, — ответил я, — ты не против?

— Нет, если угостишь сигаретой. Сигары надоели.

...И снова Москва обрушилась на нас подминающим под себя куполом бетона, зеркальных стекол, низкого горизонта и рекламных плакатов, которые, словно куски лейкопластыря, липли ко всем свободным участкам тела города. Иногда мне кажется, что только за счет этих растяжек его бетонные стены еще не обрушились друг на друга. А там, где в стремнине проводов вдруг пытается проглянуть небо, непременно появляется рекламный дирижабль, и город снова становится тем, чем и был в последние годы: твердым искусственным наростом на теле планеты, универсальным организмом, паразитирующим на собственных жителях и окружающей среде, своенравным и равнодушным ко всему, что не касается его лично. Короче, я искренне любил этот город, и нигде в другом месте не смог бы

чувствовать себя так, как тут, ощущение дома — так это, кажется, называется. Ведь я был, по сути, не просто частью этого гигантского монументального организма, я был его порождением, генетически предрасположенной мразью, убийцей от природы, уверенным работягой, получающим деньги за уничтожение себе подобных... Мало того, я видел в таком положении дел некую поэзию, странную гармонию, шаткую, неясную и легко рассыпающуюся на составные части за пределами МКАДа. Но тут, в Москве, в столице, эта гармония была сильна, куда сильнее всех прочих признаков человека. Москвича, впрочем, можно назвать человеком только с той же долей скепсиса или научной достоверности, с которой дельфинов и кашалотов называют животными. Разумеется, наши органы принадлежат одному виду, мы тоже млекопитающие, дышим легкими, и наша печень одинаково разрушается алкоголем. Но в головы нам вмонтированы датчики самоосознания, подающие тревожные сигналы, как только срок и расстояние, отделяющие нас от бетонного тела матки, становятся критическими. Нам уютно только под плотным покровом кокона проводов, даже если мы ненавидим их, а может, *именно* потому, что ненавидим, ведь ненависть — одна из составляющих жизни москвича.

Мы, москвичи, разные в своем уродстве. Я — убийца. Томаш Кофа — ГПС. Лебрус — гей. Яйцеголовые — лишённые конечностей существа, тоже (биологически!) люди. В 2004 году в городе было уничтожено около трех тысяч так называемых регрессирующих особей, людей с элементами генетической сетки, идентичными паучьим. Еще тысячу позже депортировали за пределы МКАДа. В мае 2005 года на людей стали нападать песчаные змеи, приучившиеся жить на карнизах домов. Они нападали исключительно на мужчин, бросаясь со своих карнизов и вцепляясь в кадыки. Спустя месяц змеи вдруг исчезли. Из облаков смога, формирующихся порой над проезжими частями, вырываются ужасные твари. В катакомбах под городом обитает полумифический Низовой Художник Ниху, питающийся крысами и заблудившимися в подземельях людьми, — Ниху пишет будущее. А по Кольцевой иногда проносятся грохочущие стаи Де-Нойза, хозяина звука и тишины. Эти двое — два божка городского пантеона, в существовании которых мало кто сомневается, потому что Ниху однажды вышел наружу и сожрал столько человек, сколько в него влезло, а ДеНойз нередко оставляет за собой смятые в ком, как бумага, остовы попавшихся на пути грузовиков. Ужаснее всего, наверное, то, что только такую жизнь мы способны воспринимать как естественную. Мы органически вросли в бетонное тело этого города, так что вне его уличных вен и капилляров не можем существовать, а что самое важное — ничего из себя не представляем.

Но это ненадолго. Москва — хищник. Она не только поглощает каждое существо, попадающее в зону ее влияния, и перестраивает его психологию на свой лад. Она разрастается территориально, захватывая щупальцами окраин землю вокруг своего ожиревшего и отяжелевшего тела. Пройдет не так много лет, ну, может, два-три столетия, асфальтовый шар сомкнется над планетой, и ее не станет. Будет только Москва, каменная тварь, рожденная человеком и изуродовавшая своего родителя. Да, я люблю этот город, я знаю, что он не остановится и пойдет дальше, подминая под себя Вселенную... Настанет день, когда бесконечности не останется, и даже эхо от шагов Бога станет едва различимым под плотным ковром отходов человеческой жизнедеятельности, паутиной арматуры и высоковольтных проводов, неонов рекламы и нашими склизкими душами, точно так же изуродованными нами, как мы изуродованы этим городом. Так что славься, Москва. Ты нравишься нам такой, какая ты есть.

Мы пересекли МКАД и поняли, что возвращаться домой — всегда хорошо.

Ближе к ночи на улицы вернулись машины. Мы легко пугаемся и легко забываем, что нас напугало. А знаете, почему? Потому что страх не оправдывает себя. Он мешает шевелиться, драть когти, зарабатывать, одним словом, выживать. Так уж вышло, что инстинкт самосохранения, лежащий в основе нормальной жизни, тут, в Москве, становится опасным для здоровья пережитком. Даже от копчика порою больше пользы. На огромных

уличных экранах картинок с Маяковки больше не появлялось. Прошло несколько часов, и новость себя исчерпала. Снова мелькали клипы рекламных роликов...

— Знаешь, — признался я, — а мне тут нравится. Хорошо, что нам не удалось смыться.

Отражение огромных букв Почтамта полоснуло мокрый от недавнего дождя асфальт.

— В целом — да, — сказал Лебрус, глядя на дорогу, — но как-то... тяжело на душе. Что-то меня беспокоит...

— Не думай об этом, — посоветовал я, достал пачку и понял, что курить не тянет — слишком много я выкурил за этот длинный день.

Мы миновали широкий разъезд перед шайбой станции метро «Чистые Пруды», свернули перед баром «Крышка», припарковались в десятке метров от него и стали ждать. До назначенного времени оставалось около получаса.

Спертый воздух постепенно насыщался свежестью вечерних сумерек. Упали первые тяжелые капли дождя, вялый, разомлевший ветер окреп и погнал по улице всякий мусор. Лебрус вынул из-под юбки браунинг и проверил его. Я подумал и все-таки закурил. Мимо машины, оживленно жестикулируя, прошли две странные личности в черном.

— Они же должны быть меланхоличны и печальны, — сказал Лебрус.

— Кто они?

— Да так...

Первая пуля прошла как раз между нашими головами, превратив зеркало заднего вида в пластмассовое крошево.

Люди бросились врассыпную, а Томаш Кофа шел сквозь серое полотно дождя в облепившей тело белой рубашке, в потемневших мокрых джинсах, босой... Он улыбался и стрелял с двух рук. Краем глаза я заметил, как выкатывается в распахнутую дверь Лебрус. Браунинг подал голос, оглушительно рявкнув, и отослал в грудь Томаша Кофы свинцовый цилиндр пули... «Лебрус не промахивается», — подумал я, распахивая дверь и вываливаясь со своей стороны. Но браунинг напарника рявкнул снова, потом еще раз — и все в какие-то доли секунды. Потом Лебрус тихо выругался. Я поднял голову. Томаш Кофа все так же неторопливо приближался. Три красных пятна на его белой рубашке стремительно расплзались, но Кофа шел уверенно, спокойно улыбаясь, не обращая внимания на кровь. Я усмехнулся в ответ, вскинул «Папу Дуче» и выстрелил. Кофа покачнулся, обернулся ко мне... И не замедлил шага. В следующую секунду лавина свинца превратила переднюю часть «Мини Купера» в уродливое месиво. Лебрус отскочил в сторону и сделал еще два выстрела. Но Томаш Кофа не чувствовал боли, он принимал в себя свинец, буквально пропитываясь им, и продолжал улыбаться.

— Да он под наркотой какой-то! — крикнул Лебрус, отбегая за машину.

Я снова выстрелил и с тем же результатом. Мотнулась задетая пулей Кофы антенна на крыше «Купера».

— Надо сматываться, — пробормотал я, — какой-то он...

Заднее стекло машины осыпало нас мелкими осколками, и мы, не сговариваясь, побежали, стреляя вслепую. О черт, это было безумно долго — бежать к маленькой, в нескольких шагах, нише в стене дома. Этот путь был самым долгим в моей жизни... Но Кофа не торопился нас прикончить, он стрелял скорее для развлечения.

Дождь вдруг перестал, и сверкнули прореженные многочисленными проводами солнечные лучи. С громким звоном обрушилась, отхватив несколько кофовских пуль, часть витрины бара. Лебрус прыгнул в эту прореху, оставляя на острых осколках лоскуты платья. Я вжался в нишу в стене напротив и трижды выстрелил, опорожнив обойму. Ручаюсь, минимум раз я попал в голову Кофы, но тот лишь приостановился, покачнулся и снова пошел как ни в чем не бывало, лишь расплзающиеся пятна крови говорили о том, что мы палили не холостыми.

И, мать вашу, это было страшно. Он шел по зажатой между старыми особняками узкой улочке весь в крови, улыбаясь, и иногда лениво стрелял, почти не целясь. Только поэтому и не по каким-то иным причинам мы еще были живы. Я торопливо сменил обойму. Томаш

Кофа был уже метрах в десяти от меня. С такого расстояния даже не целясь промахнуться сложно. Я положил руку на карниз, прицелился. В полуметре надо мной пулей выбило кусок кирпича, а я все целился. Прижавшись спиной к боковой витрине бара, стоял Лебрус, готовый начать палить, как только Кофа поравняется с ним. Когда между нами оставалось чуть больше пяти метров, я выпустил всю обойму, кроме последнего патрона. Сбоку одновременно со мной стрелял Лебрус. Я своими глазами видел, как от головы Томаша Кофы отлетают куски, как рвет в клочья его тело... Но он не остановился и не перестал улыбаться. И следующая пуля вошла мне в живот чуть ниже солнечного сплетения, а секундой позже еще одна, в правую часть груди.

Никакой боли я в тот момент не почувствовал, просто четко осознал, что вот оно — все. И еще ощутил вдруг, как вместе с кровью уходят силы: стремительно, куда стремительнее, чем я ожидал...

Я видел, как Кофа поднимает руку на уровень моей головы, и понимал, что если не найду сил, эта пуля станет последней... Но где взять силы, если этот странный ублюдок никак не хочет сдохнуть и подарить их мне?

То, что произошло дальше... произошло само собой, просто мой организм сам выбрал способ выжить — от моего сознания это никак не зависело. По крайней мере мне хочется так думать.

Рука стремительно дернулась, посылая последний патрон в сторону Лебруса. Он так удобно стоял и так близко... Промахнуться я не мог. Уверен, он умер легко, пуля вошла в висок, мгновенно оборвав его жизнь и перекрасив витрину бара. В то мгновение, когда Кофа поднял руку и выстрелил, я уже был полон сил, недоступных обычному человеку. И я заставил свое тело двигаться. Пули продолжали впиваться в него, но я не останавливался, я бежал мимо в ужасе жмущихся к стенам прохожих. И каждая пуля приносила с собой нечеловеческое наслаждение. Смерть Лебруса толчками билась в моем теле, скапливаясь тугим комом в паху.

В какой-то момент Томаш Кофа перестал стрелять. Возможно, его наконец оставили силы и он истек кровью на мокром асфальте перед баром «Крышка». А может быть, он просто потерял ко мне интерес. Я бежал, понимая каким-то уголком сознания, не подверженного приходу, что эйфория, вызванная убийством Лебруса, продлится недолго, что потерявший много крови организм на этом кроссе сожрет свои последние ресурсы и к тому времени я должен добежать до больницы.

Но осознавая это, я чувствовал безумное, ни с чем не сравнимое наслаждение, которое атаковало эндорфинами рецепторы мозга. Я был счастлив в тот момент. И испуганные лица людей заставляли меня улыбаться точно так же, как минуту назад улыбался Томаш Кофа, кем бы он ни был, убийцей или смертником. Дело в другом.

Мне кажется, у меня были почти все шансы выжить...

Круг третий

«И СОЛНЦЕ СИНЕЕ, КАК АПЕЛЬСИН»

1

Раймон Мандаян — занятнейшая личность. Одна фамилия чего стоит. По слухам, он армянин индийского происхождения или наоборот, индус армянского, тут сам черт ногу сломит. Фамилия интересная, веселая, я бы сказал, аллюзорная такая фамилия. Да и личность не менее занятная, весьма загадочная.

Само собой, как и большинство курьеров, я не люблю получать такие задания, хотя они, как правило, хорошо оплачиваются. Слишком много шума и света вокруг объекта, а мы, курьеры, не любим ни того, ни другого. По понятным причинам. Другое дело, что курьер от

задания не отказывается. Это не принято. Особенно если дается оно персонально, из рук, что называется, в руки.

— Ну и где мне его искать? — спрашиваю я, доедая бутерброд, который стянул у девчонок в бухгалтерии.

— Он сам тебя найдет. Считай, что до того момента ты в оплачиваемом отпуске. Ходи, гуляй на здоровье, только из Москвы ни ногой. Он тебя найдет, передаст груз, ты в свою очередь передашь его адресату. Все. Да, адресата я тоже пока не знаю. Мандаян назовет его тебе при передаче груза. Остальная информация тебя не касается. Поверь мне.

В этом весь мой босс: вроде свой в доску, но черта с два вытянешь из него сверх необходимого. Алексей Бартенев, в прошлом отличный курьер, потерял дополнительный шанс и вынужден теперь сидеть в кабинете. Знаю, ему там неуютно. Знаю, потому что и мне было бы там неуютно, но есть правила, которые не стоит переступать. В работе курьера главное — груз, а уж потом — его собственная жизнь. Беда только в том, что погибший курьер — это, как правило, недоставленный груз. Или поврежденный. Или в лучшем случае уничтоженный. В лучшем, потому что даже поврежденный конверт может попасть не в те руки. Если человек не боится, что его груз попадет не туда — к конкурентам, излишне заботливым родственникам или представителям власти, — он пользуется почтой. В противном случае он приходит в контору, или вызывает кого-то из менеджеров, или, если он постоянный клиент и имеет идентификационный пароль, связывается с конторой через Интернет и нанимает курьера. Это далеко не дешево. Клиент вынужден раскошелиться на круглую сумму, но и условия за эти деньги имеет право поставить почти любые. Как вариант, оплата праздно шатающегося по Москве курьера, которого найдут, когда надо, передадут ему, что нужно, и, может быть, продиктуют имя получателя. Я на мгновение задумался, сколько выложил Мандаян за такое развлечение, но поспешил изгнать ненужные мысли из головы. Потому что, во-первых, меня это никаким боком не касалось, а во-вторых, Раймон Мандаян — президент гигантского холдинга «РайМан», в недрах которого вязнут все штормовые предупреждения налоговых органов и прочих правоохранительных структур. Владелец в прямом смысле слова фабрик, заводов и пароходов (а также прогулочных яхт, пансионатов на взморье, нескольких автопарков, и прочее, и прочее, и прочее), может позволить себе такую мелочь, как один праздно шатающийся за его счет человечешко.

— А как я его узнаю?

— Это тоже момент презабавнейший. Мандаян — человек полумифический. Его слава банальнее, чем, скажем, у тех же Ниху и ДеНойза, и умещается в одну фразу: все знают Раймона Мандаяна, никто не видел Раймона Мандаяна. Как в кино. Пару раз мне попадались газетные снимки странного уродца, сидящего в инвалидном кресле и прячущего лицо под длинными космами. Но практически никто не верил, что этот смахивающий на героя комикса ублюдок и есть тот самый Раймон Мандаян. Так же как никто толком не знал, где расположена резиденция президента холдинга. Это было неизвестно даже правоохранительным органам, а все, чем владел армянский индус (или все-таки индийский армянин?), официально принадлежало марионеточным членам президентского совета мега-холдинга «РайМан»...

Алексей затушил сигарету, морщась, встал и, постукивая по паркету деревянным протезом, подошел к сейфу. Через минуту на столе передо мной лежал браслет из темного металла с подозрительным утолщением на одном из элементов.

— Не понял, — сказал я, удивленно рассматривая подарок, — это что? Лех, ты понимаешь, подо что ты меня подписываешь? Курьер с маяком — это же бред! Ты же сам учил на время доставок даже мобильники вырубать...

— Спокойно, — ответил Алексей, дав мне выговориться, — это не маяк. Это... — он выбил из пачки сигарету, пошарил по столу, хлопнул по нагрудному карману, — дай-ка зажигалку...

Я протянул ему спички.

— Так вот, — сказал мой босс, прикурив, — это не маяк. Эту штуку я сделал в свое

время сам как раз для такого рода дел. Пришлось сделать. Точно такой же браслет сейчас на Мандаяне. Когда клиент окажется в радиусе пяти-шести метров от тебя, — Алексей кивнул головой на стол передо мной, где слева от пепельницы и справа от журнала «PLaysLuts» лежал браслет, — он начнет вибрировать. Тебе по этому случаю дергаться не надо. Я сейчас застегну его своим ключом. Снять ты его сможешь только тогда, когда Мандаян приложится к твоему браслету своим. Все.

— Понятно, — кивнул я, — порвали купюру, значит. И что, эту штуку нереально высветить?

— Вполне реально, — кивнул Алексей, — но только находясь в радиусе пяти метров от тебя. И это бессмысленно. Фишка в том, что когда у тебя на руках окажется груз, браслет ты уже снимешь. Значит, грузу данная бижутерия никак не повредит.

— Все равно мне это не нравится, — признался я.

Алексей пожал плечами, потом взял со стола какой-то лист и показал мне его так, чтобы я мог увидеть написанную на нем маркером четырехзначную цифру.

— Это только мой гонорар? — уточнил я.

— Да. Все как обычно: треть — сразу на карточку, остальное — налом через нашу бухгалтерию после доставки груза.

— Ну что ж... это аргумент, — кивнул я и протянул Алексею руку, — давай надевай мне эту цацку.

— А ты не хочешь узнать режим доставки?

— Что там узнавать? За такую сумму нетрудно догадаться.

Если честно, дело было не в деньгах. Денег мне хватало, да я и не знал особенно, на что их тратить. Дело было в «трех нулях», этом призраке неудачника, который висел за моими плечами все время работы в Конторе. Из-за которого на самые ответственные трипы отправлялся кто-то другой, а я выполнял работу попроще. Впрочем, это долгая история, и для нее пока не пришло время. Я расскажу ее чуть позже. А на этот раз мне поручалось что-то действительно стоящее. Впервые...

— Ладно, — сказал Алексей, — можешь в ближайшее время не появляться в офисе. И заberi в бухгалтерии кредитку, я велел выписать. На имя Погорельского Александра Михайловича, если ты не против. Оружие при тебе?

И солнце синее, как апельсин... Так написал некогда французский поэт Поль Элюар. Ни одной из строк которого я не читал да и вышеупомянутую фразу услышал от кого-то из наших... Услышал и забыл, а сейчас, когда я сидел на скамье, прижавшейся к серому боку библиотеки Нескучного сада над самым обрывом к набережной Москвы-реки, вспомнилось... Слишком долго я всматривался в комок ослепительного света, бьющий с самого зенита, всматривался до тех пор, пока не стало четко выделяться иссиня-черным шаром само светило. И тут же всплыло: «И солнце синее, как апельсин...» Рабочий день в разгаре, Нескучный почти пуст... Рядом на скамье — бутылка пива и только что открытая пачка сигарет. Первая уже дымится между пальцев, я знаю это, но не вижу: в глазах стоит темным пятном силуэт солнца... «И солнце синее...» Вот так, собственно, и видится мне мой отпуск: никаких югов, беготни, дальних перелетов. Всего этого с лихвой хватает на работе. Нескучный сад, бутылка пива, сигарета. И смотри на солнце сколько угодно. А по вечерам — на фонари. И не надо бояться, что блики, временно поселившиеся на сетчатке глаза, помешают точно выстрелить или заметить несущее опасность движение. Еще бы снять с плеча ремень кобуры и закинуть подальше «кобальд» с его бульдожьим рылом. Не навсегда, а только на время отпуска, разумеется. Ан нет...

Темное пятно в глазах сначала бледнеет, а потом и вовсе исчезает, и я успеваю заметить торопливо семенящий вправо, в сторону моста, речной трамвайчик... Мгновение удивления сменяется пониманием. На палубах только люди в камуфляже, все внимательно всматриваются в темную воду. На бортах и корме — огромные гарпунные пушки, нелепо торчащие на этом некогда сугубо мирном судне. Только нос чист. Говорят, октопусы не

нападают с носа. Говорят, что они вообще не нападали, пока кому-то не пришло в голову убрать их из Москвы-реки. А еще раньше октопусов в этой реке вообще не было, и по берегам стояли маньяки-рыбаки и вылавливали непригодные в пищу мелкие мутационные формы, типа волосатых рыб и крыс с жабрами. Что касается октопусов, то я весьма смутно помню тот скандал. Ряд ученых выступил против их уничтожения, утверждая, что этот вид октопуса — результат эволюционного сбоя в развитии отряда, не сможет существовать ни в одном другом водоеме и является уникальным... Другими словами, в грязной Москве-реке появился вид пресноводного спрута, способного жить только и исключительно в условиях мегаполиса. Насколько мне известно, ученым скоро заткнули глотки и началась бойня. Октопусов травили ядохимикатами, превратив основную водную артерию города в отстойник химических отходов, отстреливали гарпунными пушками, глушили тротилом, уничтожив попутно всю остальную фауну... Октопусы пытались сопротивляться (защищались или просто искали возможности прокормиться), нападая на речные трамваи. Да только куда им с их рудиментарным мозгом... В течение нескольких лет пресноводный спрут был практически полностью изничтожен. И вот не так давно появился снова, став умнее, хитрее, осмотрительнее и, кроме того, значительно больше размерами. После того как были практически уничтожены три речных трамвая, пассажирские перевозки по реке запретили, набережные в местах, подобных Нескучному саду, обнесли сеткой рабицей, а на речных трамваях установили гарпунные пушки и стали патрулировать реку. Это то, что знают все. Я же, в свою очередь, ни разу не удостоился чести видеть хотя бы фотографию октопуса, не говоря уж о том, чтобы наблюдать это порождение отходов человеческих воочию. И посему испытывал смутное ощущение, что никаких октопусов нет, а историю эту придумали, дабы прикрыть нечто другое, к примеру, странную гибель трех речных трамваев с пассажирами на борту, загрязнение реки или что-то еще, мне (и большинству наблюдающих с берега) неизвестное...

Да, кстати, фотографии этих трамваев я видел, а вот фотографий пострадавших пассажиров — нет... Тоже странно, учитывая, что любовью к публикациям изображений трупов страдают все представители СМИ. И еще...

Я затаился истлевшей практически наполовину сигаретой и заставил себя думать о другом. Отпуск же, бляха муха, что ж меня так и тянет анализировать, искать мелочи, подвохи?!. Солнце, синее, как апельсин, на несколько минут спряталось за облако, случайно забредшее на московский небосклон. Краски затуманились, и стал отчетливо виден дым моей сигареты. Я усмехнулся, растянулся на скамье и закрыл глаза. Солнце светило даже сквозь кучерявое облако. Я лежал с закрытыми глазами, курил и слушал, как скрипит стволами древесных великанов Нескучный сад, свидетель не одной эпохи человеческой, не одного поколения... За это время у него выработалась особая философия, особый насмешливый взгляд на происходящее. Даже когда в нем вырубали сотню тополей петровской эпохи, он только усмехнулся — в очередной раз. Да и простил, просто махнул ветвями на это дело и на глупость человеческую. Потому что какой смысл дергаться? Все, что должно произойти, произойдет. Так уж заведено под этим солнцем. Был у меня приятель-курьер, который любил повторять: «И это пройдет...»

Я лежал, слушал, как скрипят пока еще не срубленные тополя, и думал о том, что все-таки да, синий апельсин — это здорово, это очень хорошо... И главное, попробуй пойми, что это не просто красивый оборот речи, поэтическая вольность или что-то еще из той же серии. Надо-то всего лишь поднять лицо к солнцу и долго вглядываться. Но мы слишком редко смотрим вверх. Как в песне про архангела группы «Несчастный случай».

Как всегда, стоило дрёме затуманить мою голову, я увидел черные облака, и Джучи вышел из теней, спрятавшихся в уголках закрытых век, и помахал мне рукой. Джучи — мой дополнительный шанс. Он всегда где-то рядом, но встречаемся мы только тогда, когда я засыпаю. Понятия не имею почему, так сложилось. И не знаю, как встречаются со своими дополнительными шансами другие носители, — об этом не принято говорить.

— Как дела? — спросил Джучи. Он стоял на облаке темноты, заложив большие пальцы рук за пояс дорогого шелкового халата. В раскосых глазах — хитрая улыбка лучника, кончики длинных усов от едва заметного ветерка шевелятся где-то в районе солнечного сплетения, иссиня-черные волосы, прореженные серебряной ниткой седины, заплетены в длинную узкую косу...

Я нахожу взглядом облако потемнее, взбиваю и усаживаюсь. Далеко-далеко внизу плывет планета, которой никогда не было, — там и обитает Джучи. Если приглядеться, можно увидеть витые скаты пагод, сопки, заросшие причудливо изогнутыми, словно танцующими соснами, реки, пенящиеся на порогах... И над всем этим летят и летят белые длинноусые драконы... Вот только облака над этой планетой черные. Всегда черные и всегда неподвижные...

— Дела-то? — переспрашиваю я, устраиваясь на облаке. — Вопрос риторический, я так понимаю? Ты же все знаешь.

— В целом да, — кивает Джучи и вынимает из облака уже раскуренную трубку. В мои ноздри тут же пробивается чуть щекочущий запах табака с привкусом вишни.

Я молчу, а Джучи смотрит вниз, на свою несуществующую планету, и что-то тихо напевает себе под нос... И тогда я начинаю засыпать второй раз — уже по-настоящему, и происходит это намного быстрее, потому что рядом он, мой Джучи... Я все жду, что же он скажет мне в этот раз.

И вот когда за черными облаками начинают проступать контуры голубятни на желтой поляне — моего любимого сна, напоминающего о любимой книге детства, — далекий голос Джучи настигает меня, словно эхо стремительного тропического дождя:

— Нам кажется, что иногда Бог дарит нам дни и ночи, отрывая их от своего собственного существования, но это неправда. Он просто возвращает то, что занял давным-давно. Иногда — дни и ночи, иногда — просто мысли ни о чем, иногда, но очень-очень редко — запах свежескошенной травы, настигающий нас в самом сердце бетонных джунглей мегаполисов... Но поскольку твой мир, как и мой, в общем-то не существует, Бог делает это улыбаясь. Он-то знает, что к нему вернуться и дни, и ночи, и знания, и дым... А у нас только и есть, что облака да драконы... Это немало, просто это ненадолго. Однажды тот, кто спит, проснется, и драконы умрут в агонии, а черные облака просто рассеет по пустоте ветром... Так же произойдет и с тобой. Но есть и другие возможности. Вот, например, — я слышу, как Джучи усмехается, — живет писатель и пишет о сходящем с ума музыканте, который создает в своем воображении мир. Он создает только один краткий момент, но камень уже брошен, и круги бегут во все стороны по глади настоящего. Эти круги пробуждают прошлое и будущее мира, и уже не имеет значения, кто его придумал, — сумасшедший музыкант или глупый писатель. Конечно, иногда занятно наблюдать за парадоксами. Например, как быть, если писатель живет в мире, воображаемом описанным им сумасшедшим музыкантом? И все же подобные варианты на самом деле только подменяют истину. Потому что у истоков все равно сидит Бог. Сидит и улыбается. Иногда мне кажется, что Бог только и умеет, что сидеть у истока и улыбаться. Если это так, то я ему завидую.

— К чему ты мне это рассказываешь? — бормочу я.

— К тому, что Бог только из рук в руки долг отдает, и ему решать, сколько еще спать спящему, сколько плыть облакам и драконам, сколько звучать мелодии... Его не стоит торопить...

— А разве я тороплю его?

— Пока нет...

Иногда случается, что сон уходит куда-то в сторону, даже если ты практически уже видишь его, касаешься пальцами рук, чувствуешь его аромат. Но есть какие-то внутренние течения в непонятном мне океане сновидений: они пересекаются, создавая волны ассоциаций, цветовых диссонансов и атональных звуковых фрагментов, и все это никак не зависит от меня, я же привык не реагировать, а просто ждать...

Поэтому и в этот раз я лишь пожимаю плечами, когда голубятня растворяется в пустоте, едва обретя более менее прочные очертания, и на ее месте проступает силуэт неровного, угловатого, многоэлементного... чего-то. Первая мысль — руины! — отбрасывается спустя мгновение. Нет, это просто стройка, обычная застывшая в отсутствие строителей стройка с серым, пронизанным нитками сквозняка, трехэтажным скелетом будущего дома, удивленным жирафом подъемного крана, горами песка и прочего строительного мусора. Весь пейзаж словно присыпан пылью или мелом. Это особенно заметно, когда поднимаешь глаза и видишь резкий мазок зеленого там, где к Москве-реке сбегает узкая полоска травы. Чуть поодаль, словно остатки инопланетного пикника Стругацких, — перевернутый гусеницами вверх экскаватор и огромная бетонная труба едва ли не в два моих роста диаметром. Труба лежит на боку, одним концом указывая в сторону красностенного Кремля, другим — на перевернутого механического жука...

— Не знал, что тебя сюда пустят...

Джучи вышел из-за сложенных одна на другую бетонных плит, оглядел себя, отряхнул, поморщившись, халат:

— Ну и пылища...

— А ты с чего это вдруг решил в мой сон прогуляться? — удивился я. — Что-то не припоминаю за тобой такого.

— Твой сон? — Джучи весело рассмеялся, и долгое дробное эхо разлетелось по стройке. — Как же вы наивны и наглы порою бываете, люди... Твой сон... Братец, я тебе один секрет открою. У тебя нет ничего твоего, кроме права на выбор поступка. И у меня тоже. Ну, разве что вот этот халат — мой, а остальное — пыль. По крайней мере, относительно меня и тебя. С этим можно бороться, но с этим ничего нельзя сделать. А относительно того, кто сидит там, — Джучи ткнул указательным пальцем вверх, — я ничего сказать не могу. Может, он тоже пыль, а может, и нет. Мне, если честно, и не хочется знать. Не хочу состариться и умереть в третий раз — раньше срока.

— Ты уже умирал два раза? — удивился я.

— Нет, я умирал пять раз, — ответил, хитро улыбаясь, Джучи, — но раньше срока — только два. Пойдем, я покажу тебе кое-что. Только осторожнее, на арматуру не напорись.

Джучи резко повернулся, подняв полый халата тучу пыли, и пошел к перевернутому экскаватору. Что-то сверкнуло в его косе, но я не успел толком разглядеть, что именно. На земле и правда валялось множество обрезков арматуры, часть из них была оплавлена на концах, часть с ровными косыми срезами...

— Здесь планировали построить новую гостиницу, — объяснял по пути Джучи, — но что-то не срослось... Не знаю уж, что, но люди — они везде одинаковые, в любое время и в любом месте. Вечно у них что-то не срастается...

— Но-но, — усмехнулся я, перепрыгивая через арматурный клубок на деревянную паллету, — не так уж все и плохо...

— А кто сказал, что плохо? Я говорю — все через низшие арканы, понимаешь? Через задние чакры. В этом, как ни странно, ваша сила. Иногда мне кажется, что Бог прощает все ваши глупости только потому, что ему с вами не скучно. Вы непредсказуемы. И хотя из этого редко получается что-то стоящее, убивать скуку, глядя на вас, — дело вполне благодарное. Ну все, пришли. — Джучи одним прыжком оказался на груде битого бетона между экскаватором и трубой, оглянулся на меня и кивнул в сторону краснокирпичной крепости по ту сторону реки:

— Смотри на него.

Я посмотрел. Тяжелая вода реки монотонно толкалась в кособокие стены набережной. Темные, знакомые сызмальства очертания. Ничего нового, да и трудно представить что-то новое в этом пейзаже. Он даже на составляющие не делился — сплошной монолит, сплавленный временем, кровью, мифами... Буро-кирпичный массив, скорее уж горная порода, естественное образование, давным-давно переставшее быть творением человеческих рук... Все привычно, все на своих местах, все просто не может быть иначе...

— Смотрю, — сказал я, налюбовавшись бурым, похожим на ржавчину, отражением на воде, — и что?

— Не торопись, — хитро усмехнулся Джучи и плавно повел рукой. — А теперь иди и смотри сюда. — Он кивнул на бетонную трубу, пригладил ладонью усы и снова усмехнулся.

Я осторожно, глядя под ноги, сошел с паллеты, сделал несколько шагов, тщательно выбирая, куда поставить ногу, поднял голову и... удивленно застыл. Там, за трубой не было Кремля. Только груды красного кирпича, покосившаяся Спасская башня, единственная из устоявших, развороченный бок набережной, оползень земли и гравия, остов проломленного почти по центру моста — дальней части почти нет, она рухнула в воду. Руины на том самом месте, где секунду назад я видел Кремль, казавшийся мне символом незыблемости... И вот оказалось, что он вполне раскладывается на составные части.

Я снова сделал шаг в сторону. Кремль как стоял, так и стоит, и вновь ощущение власти над вечностью невидимыми крыльями укрывает весь этот монументальный пейзаж. Шаг в другую сторону, и в кольцо бетонной трубы — кирпичная крошка и перекосившаяся башня...

— Что это значит, Джучи?

— А как посмотреть, — проговорил Джучи, соскакивая с кучи бетонных обломков, — может, и ничего не значит, а может, что-то и значит...

— Загадками изволите изъясняться, уважаемый погонщик драконов?

— Да какие уж тут загадки, — ответил мой дополнительный шанс, неожиданно растворяясь в воздухе и появляясь там, за трубой, — все определеннее некуда...

— Да, практически на ладони лежит! — крикнул я, но уже в пустоту. Джучи снова исчез. И на этот раз окончательно. Джучи пришел, Джучи ушел...

Я пожал плечами и шагнул в бетонную трубу. Интересно же...

— Смотри внимательно, — сказала пустота голосом моего дополнительного шанса, — потому что ты увидишь это только во сне. А кому-то другому предстоит увидеть это воочию. Хотя может быть, и хорошо, что мы до этого не доживем.

— Как это — не доживем? — оглядываясь, спросил я.

— Меня взорвет мертвый человек, который в пику тому, кто пишет историю, исповедует свободу выбора. Может быть, даже в пику тому, кто сидит и улыбается у истоков.

— А я?

— А тебя съедят белые тигры.

— Что? — Я остановился, оглядываясь и пытаюсь найти глазами Джучи. — Это ты так занятно шутишь?

— Конечно, — ответила пустота, — конечно, шучу. Не стоит доверять тому, что видишь и слышишь во сне. Но все-таки тебе придется поверить, что тому, кто увидит все это воочию, будет очень, очень нелегко сделать верный выбор, и подсказать ему будет некому. Тот, кто ведет его сейчас, умрет окончательно. Он всегда умирает окончательно перед самым финалом. Это *его* выбор поступка. Его решение. Поэтому, если ты сможешь ему чем-то помочь, — помоги. А самое главное, самое сложное — что тебе придется поверить врагу своему.

— Ничего не понял, — крикнул я, — кому помочь? Тому, кто увидит, или тому, кто умрет? И какому врагу?

Но Джучи не ответил. Уверен, он уже курил свою трубку где-нибудь на черном облаке, и верные драконы медленно парили над скатами пагод. Такой уж он — мой дополнительный шанс. Никогда не поймешь, то ли шутит, то ли всерьез говорит. А что бы прямо сказать что-то — этого от него вообще никогда не дождешься.

— Простите, молодой человек, с вами все в порядке?

Оказывается, я проспал несколько часов кряду. Солнце успело заметно отойти от точки зенита и теперь уже укладывало на склон обрыва длинные тени сосен, едва ли не

дотягивающиеся до мертвой зыби Москвы-реки... Стало прохладнее.

— Молодой человек...

Медленно, опираясь на палочку, по ступеням библиотеки спускался старичок лет семидесяти, этаким классический парковый шахматист в белой панаме и старом синем джемпере с молнией. Не хватало лишь очков с перемотанными лейкопластырем дужками. Зато наличествовал значок на груди джемпера: «СССР—Венгрия: спортивная дружба — опора мира!»

— Спасибо, я просто задремал, — ответил я и, морщась, принял положение, перпендикулярное земле. Голова гудела, плечи и шея онемели. Я встал и покрутил головой, разминая затекшую шею. Старик все так же с интересом за мной наблюдал. Я выдавил из себя виноватую улыбку и проговорил: — Извините, ради бога, что заставил вас волноваться...

— О, ничего страшного, — отмахнулся он, присаживаясь на краешек лавки, — я привык. Не первый год работаю тут сторожем. А лавочка эта — не на глазах, в стороне. Ну, и бывает, то уколется, а то и просто замерзнут да околеют... По-разному.

— Я действительно уснул, — снова повторил я, чувствуя неловкость оттого, что приходится оправдываться из-за каких-то убожеств. Старичок мелко-мелко закивал, но ничего не ответил. Сидел молча, глядя на тот берег реки. Надо бы уйти, подумал я. А потом вспомнил про солнце, синее, как апельсин. Раз уж оказался рядом с библиотекой...

— Простите, — сказал я, оборачиваясь к старичку, — а библиотекарь сегодня на месте?

— Библиотекарь-то? — Старичок довольно улыбнулся, прищелкнул языком и снова закивал. — Так я и библиотекарь заодно. Делать-то мне все равно нечего. Я ж цепной...

— В смысле, цепной? — не понял я.

— Дык вот. — Старичок поднял правую руку, и я увидел тонкий шнурок, обвязанный вокруг ее запястья. Шнурок был странного, темно-коричневого цвета, блестел на солнце и весьма походил на волосы... Да собственно, вдруг четко осознал я, это и есть волосы. Шнур, сплетенный из волос. Он падал на землю и убегал куда-то в открытые двери библиотеки. Память начала работать без всяких приказов с моей стороны, сортируя запылившиеся байты информации, подчищая уголки мозга, выстраивая логические цепи...

— Вы... граф Тепеш! — вспомнил я.

— Бывший граф Тепеш. А сейчас просто библиотекарь и сторож. Двойной оклад. Крыша... Литература опять же. На жизнь в целом хватает, хоть и не так интересно стало жить теперь... А что?

Я старательно улыбнулся, почувствовав, как струйка холодного пота побежала между лопатками, намекая, что неплохо бы не мешкая уносить ноги. Но любопытство взяло вверх. К тому же не выглядел библиотечный сторож Влад Дра... хм... Тепеш опасным. Старичок как старичок. Божий одуванчик, пушистая голова, силенок только и хватит, чтобы переставить шахматную пешку... И нет никакого ощущения дремлющей силы, никакого намека на истину древней пословицы пионерских лагерей: «Ниху боялся только Бледного Флинта, а Бледный Флинт — только Влада Дракулу. И только сам Влад Дракула не боялся никого. Кроме себя».

— А... простите... — я кивнул на шнурок, — что, с этим уже не?...

— Ну почему же, — пожал плечами старичок, — перегрызть горло сил у меня еще хватает, пару-тройку воров... да какие это воры, так, дети-вандалы, юные варвары... но употребил, ибо приставлен к собственности... Да только не в радость это мне теперь. То ли старость виновата, то ли и правда волосая цепь жизнь крадет, не знаю. Но активно уже не практикую... Давно...

— Угу... все... ясно. — Между лопатками проложила дорогу еще одна обжигающе холодная капля пота, и на этот раз я решил внять голосу инстинкта самосохранения, кивнул старичку и, чуть переиграв с бодростью в голосе, сказал: — Ну, мне пора...

— Уже? А я так понял, вы хотели книгу взять, — с кряхтением вставая и протягивая мне руку, сказал старичок. Используя весь резерв смелости, я пожал сухонькую ладошку

со следами старческой пигментации и узлами вен.

— Да нет... Я подумал, что лучше приобрести. Чтоб дома была... Я ведь Элюара, думал... Поля. Ну, еще раз спасибо за беспокойство. Рад был познакомиться, граф.

— Заходите, если что, — гостеприимно улыбнулся старичок, показав ряд крупных и совершенно здоровых зубов, — а то скучно тут... тоска. Чайку бы попили...

— Непременно, граф, — ответил я, отступая, но так и не сумел заставить свое тело повернуться к старичку спиной, — обязательно загляну на чаёк... Непременно...

Наконец старичок скрылся за библиотечной дверью, и я торопливо зашагал прочь, в сторону выхода из парка. Очень хотелось пить...

После спокойствия Нескучного сада (великолепное место для заслуженного отпуска вампиров пенсионного возраста) резкая, как пощечина, запруженность Ленинского проспекта. Зажатое между шерботой стеной бледнокаменных домов сталинского ампира ущелье знать не знает о таких вещах, как будни, выходные, смена дня и ночи. Непрерывным потоком ползет автотранспорт в обоих направлениях, то и дело пересекая омерзительно бьющие по ноздрям запахом аммиака пятна дорожно-постовых маркеров. Они тут на каждом шагу, смердят у каждого лежащего полицейского, переброшенного через широкий многополосный проспект, у каждого угла, а уж у светофоров десятками пасутся. И все равно то тут, то там сцепляются бамперами легковушки, подминают под себя мелких собратьев тяжелые грузовики, проламываются боковины, идут трещинами лобовые стекла... Да еще этот вечный запах гудрона...

Со скоростью неторопливого велосипедиста я двигался на своем стареньком «Трабанте» в сторону центра. Направление выбрал наугад, но уже по дороге вспомнил, что был неподалеку от гостиницы «Спутник» магазин «Техническая книга», куда я частенько заглядывал в детстве. Мой отец, профессор химии (химия неводных растворов), работал через дорогу, где примостились, упершись боками друг в друга, несколько государственных учреждений, ни одно из которых по сути своей не соответствовало тому, что значилось на стандартных табличках из черного стекла с золотыми буквами. И не потому, что отец работал в одном из знаменитых «ящиков», — нет, все куда проще: просто было такое время, когда ничто не соответствовало официальным табличкам. «Газон», «Кабель 2,4 метра», «Осторожно, гололед», «Институт химии неводных растворов», «АН СССР» и просто «СССР»... Это было, надо заметить, славное время... Тогда все пытались найти то, что пряталось под дезинформирующими табличками, вечно ошибались дверями и телефонными номерами, отчаянно и бессмысленно суеились и потому совершенно не страдали от страшной болезни современного мира — скуки. А теперь все всему соответствует, суэта приобрела осмысленность, и единственным развлечением человека стали его собственные ошибки, на которых, как известно, далеко не уедешь. На «Трабанте» по Ленинскому проспекту, впрочем, тоже. Не скажу, чтобы меня особенно напрягало такое движение. «Трабант» с год назад основательно перебрали мастера Конторы и едва не нарекли Карлом Вторым, призраком дорог. По сути, от древней немецкой развалюхи остался лишь корпус. Но передвижение рывками, которому не было видно предела, напрягало порой нервишки. В конечном счете я плюнул на все и при первой возможности свернул в переулки. Книжные магазины нетрудно найти и вне этого ада...

Я как раз ехал по одному из многочисленных переулков, которыми изобилует столица старой застройки (в районе Ленинского проспекта их невероятное количество), когда каким-то шестнадцатым чувством, нижними чакрами, как любит выражаться Джучи, почувствовал наблюдение. Впереди и за мной не было ни одной машины, все поглотил прожорливый проспект... Дома пялились вниз равнодушными зеркалами стекол. Я как-то сразу и четко осознал, что следят за мной не из дома. Видимо, теми же чакрами. Эти дополнительные чувства, небιологические ощущения очень важны для курьера, которому в пути зачастую кроме них некому довериться. Интуиция? Возможно. Но не только. Тут срабатывал какой-то глубоко зарытый в геном мусор инстинкт самосохранения. Курьер чувствует слежку, как

ласточки грозу или собаки землетрясение. Если груз доверялся служащим Конторы, значит, он просто больше никому не мог быть доверен: слишком дорого стоили услуги курьера. Отправитель должен иметь весьма веские причины отправить через Контору груз, в доставке которого заинтересован. В 99 случаях из 100 оказывалось, что есть как минимум еще одна сторона, тоже заинтересованная в Доставке груза, но по другому адресу. Находились (правда реже) и те, кто был заинтересован в том, чтобы груз никогда и никуда доставлен не был. И всегда, в ста случаях из ста, между теми и другими (реже — третьими) оказывался курьер. Такая работа. Поэтому неопределенные понятия «интуиция», «шестое чувство», «нюх на опасность» становились вполне определенными элементами существования, а при их отсутствии оно становилось весьма неопределенным.

Вот и теперь мой ментальный радар подавал сигнал об опасности. Ничего определенного, на внутренних сторонах век не проявлялась детальная инструкция и голос Левитана не объявлял на весь мозг воздушную тревогу. Скорее, это напоминало реакцию собаки Павлова на красную лампочку. Или как будто кто-то прошептал на ухо: «Внимание!» Не имело смысла кидаться на пол, искать в небесах проливной кирпич, стрелять наугад. Просто никто и никогда не следил за курьером просто так. Больше того, никто и никогда не следил непосредственно за курьером. Следили за грузом. А курьер, повторюсь, был просто высокооплачиваемым приложением.

Была только одна деталь в данной конкретной обстановке, которая мне не нравилась совершенно. Деталь, благодаря которой я аккуратно и как можно незаметнее перезарядил «кобальд». Потом тем же движением руки достал пачку и неторопливо закурил.

А не нравилось мне то, что никакого груза при мне не было, а наблюдающий либо не знал про это, либо ему был нужен не сам груз. Тогда кто? В то, что ему требовалась моя жизнь, я не поверил, даже не стал рассматривать этот вариант. Тем более, что был другой, настолько очевидный, что меня просто кинуло в озноб. Раймон Мандаян. Личность полумифическая, *почти* не существующая... И слишком многие, думается мне, предпочли бы сделать его существование более осязаемым. По разным причинам: убить, посадить, убедиться в реальности, помолиться... не знаю. Знаю только, что в данный момент единственной ниточкой, которая вела к главе холдинга «РайМан», был я.

И я понятия не имел, что делать.

Улица впереди и позади меня оставалась все такой же пустой. Ничего не происходило. Возможно, мой радар сработал вхолостую? Но во-первых, я в это не верил. А во-вторых, если мои догадки были верны, то ничего и не должно было происходить. До поры до времени. В конце концов, я решил сыграть роль утомленного водителя, припарковавшегося, чтобы выкурить сигаретку вдали от шума большой автострады.

Минут через пять, когда сигарета дотлела, тревожное ощущение вдруг исчезло. Я подождал еще какое-то время, покопался в бардачке, поставил наугад диск в магнитола и только потом повернул ключ зажигания.

Никаких ощущений слежки больше не было. Движок «Трабанта» с глухим рокотом очнулся от вынужденной дремы.

Может, и правда не зря меня в отпуск отправили, мелькнуло в голове. Иногда, когда вышеперечисленные чувства приходилось использовать слишком часто, курьеры подсаживались на них. Профессиональные навыки перерождались в профессиональную болезнь. Водители страдают геморроем, дворники — хроническим радикулитом, а курьеры — банальной паранойей. Впрочем, как говорят мудрые люди, тот факт, что у тебя паранойя, еще не значит, что за тобой не следят.

Переулочек, сделав плавный поворот, уверенно повел меня вдоль Ленинского с легким отклонением в сторону. «Может, выведет к Шаболовке, — подумал я. — Был там неплохой магазинчик...»

Девушка в зеленом халате с надписью «Москнига» на спине и руках долго возилась, забивая одним пальцем мои данные в допотопный компьютер, потом еще дольше ждала,

когда на синем экране монитора появится ответ. Торопиться мне было некуда, в магазине стояла прохлада и чертовски приятно пахло бумагой. Тревожное чувство больше не возвращалось. Я лениво бродил вдоль полок, вытягивал книги, читал аннотации и наслаждался тишиной. Кроме меня в магазине находился только персонал: будни, самый разгар рабочего дня.

Наконец аппарат разродился парой десятков непонятных мне символов, среди которых я узнал только свой регистрационный номер.

— Извините, — сказала девушка, возвращая мне карточку, — у вас низкий статус информационного допуска, мы не можем продать вам эту книгу...

— То есть как? Это же стихи, какой там информационный доступ?

— Сборник стихов Поля Элюара «Естественный ход вещей» подпадает под закон об ограничении информационного доступа, — ответила девушка, пожав плечами.

— Не понимаю, — пробормотал я, — это же стихи... А закон, насколько мне известно, ограничивает только те из информационных источников, которые являются откровенно провокационными или лживыми. При чем тут Элюар?

— Не знаю, — девушка, похоже, совершенно искренне сожалела, но мне от этого было ни тепло, ни холодно, — но тут я вам не смогу помочь. Обратитесь в регистрационную палату, возможно, они согласятся повысить ваш статус информационного допуска, а потом...

— Ладно, я понял. Спасибо, девушка...

Принятый лет пять тому назад закон «Об ограничении информационного доступа» до сих пор никак меня не касался. Я, конечно, слышал, как и все, собственно, о громком скандале в журналистской среде, связанном с этим нововведением, об увольнении Парфенова с канала НГБ, о закрытии нескольких связанных со СМИ компаний. Но в целом этот закон если и должен был что-то поменять, то на жизни рядового члена общества это никак не отражалось. Лично я не заметил, чтобы в газетах и журналах поубавилось, скажем, политической или скандальной информации, а о том, что любые новости проходят фильтрацию, в этой стране знал каждый школьник. Какой был смысл в принятии этого закона, я не знал, и в принципе мне было на это глубоко наплевать. Любую необходимую мне лично или для дела информацию я получал, разумеется, не из официальных источников. У Конторы была своя информационная база, и я ею довольствовался. Поэтому я даже предположить не мог, до какого идиотизма могут пойти наши роющие свиным рылом землю чиновники. Отныне книги не запрещали. Отныне определялось право на чтение. Исходя из чего, по каким параметрам, суммируя какие данные? Черт их знает. Но если самое простое предположение верно, то гражданам запрещалось читать те книги, из которых они могли сделать *неверные* выводы... Получался бред собачий. К примеру, при чем тут поэзия Элюара? Запретить чтение книги тем, в ком подобная литература может найти отклик, все равно что запретить саму книгу. Потому что, скажем, среднестатистический водитель маршрутки, листавший детективы Дробцовой в мягких обложках в перерывах между рейсами, никогда не станет покупать Элюара.

Я обернулся к девушке и сказал:

— Не стирайте мои данные, пожалуйста. Проверьте на допуск по следующим фамилиям: Кизи, Маркс, Буковски... хм... Поланик, Гитлер и... Дробцова.

— У Дробцовой общий доступ, — улыбнулась девушка, — ее книги — лидеры продаж.

— А остальные?

Через десять минут девушка вновь с сожалением покачала головой, и я пошел к выходу.

Маленький книжный магазинчик на Шаболовке. Стеклопакетные двери разъезжаются с тихим шорохом плохо приклеенных к стеклам рекламных плакатов: Дробцова, «С левой», «Меченый возвращается», «Басаев и пустота» etc...

Зной, струящийся над тротуаром, запах горячей бумаги мгновенно липнут к коже. Торопливо пересекая дорогу и ныряю в прохладное брюхо «Трабанта». Кондиционер

работает почти бесшумно. Я в легкой растерянности — куда теперь?

Был у меня в студенческие времена приятель с замечательной фамилией Свежий. Работал выездным оператором на «Эртеррор», объездил все горячие точки планеты от Дагестана и Чечни до Мозамбика и Багдада. И вдруг однажды получил отпуск. То ли лишнее что-то снял, то ли, наоборот, снимать отказался — я не в курсе. В общем, отправили его в месячный отпуск... И он едва не спился. Он просто не знал, чем заняться, куда пойти, чем заполнить образовавшуюся вдруг пустоту. Через неделю вернулся на канал и оставшиеся три недели помогал монтажерам сводить и компилировать.

Не скажу, что у меня было все так же запущено, но в ту минуту, глядя на улицу через лобовое стекло «Трабанта», я вдруг понял, что не знаю, куда ехать...

...Осторожный стук в окно со стороны пассажирского сиденья. Наклоняюсь, чтобы рассмотреть человека, левой рукой отжимаю кнопку стеклоподъемника, пальцы правой рефлекторно освобождают лезвие в рукаве. В окно заглядывает незнакомая физиономия, круглая, лоснящаяся от сала. Солнцезащитные очки, неровная щетина с желтыми подпалинами над губами. Редкие сальные волосы зачесаны назад, открывая две глубокие залысины. Голос с одышкой:

— Я извиняюсь, конечно, это вы Элюара приобрести желаете?

— Ну, предположим...

— Тридцать долларов.

— Что?

Физиономию на секунду заслонил небольшой томик в коричневом под кожу переплете: «Полю Элюар. Стихи».

— Суперобложки, к сожалению, нет... — Книга снова исчезает, уступая место сальной физиономии книжного барыги. — Берете?

— За тридцать долларов? — глупо улыбаюсь я.

Что-то абсурдное есть во всей этой ситуации, к тому же барыга безумно похож на придурковатого ведущего программы о путешествиях.

— Она у вас золотая? Или с платиновыми вставками?

— Двадцать пять.

— Вы смеетесь!

— Двадцать. Себе в убыток отдаю... У «Библиоглобуса» барыжат по сорок пять!

— Пятнадцать, и плачу кэшем.

— Договорились.

Думается, переплатил я ему, уж больно легко он сдался. Но я не жалею. Кладу томик на пассажирское сиденье и вывожу «Трабант» на дорогу; еду, держась в крайнем правом ряду. Мимо с грохотом пролетает трамвай с единственным пассажиром — тем самым книжным барыгой. Я оглядываюсь по сторонам и двумя переулками ближе к центру нахожу тенистый двор между тремя однотипными двенадцатиэтажками и стандартной планировки зданием, похожим на школу. Припарковываюсь, закуриваю, открываю книгу... Все.

При свете права на смерть
Бегство с невинным лицом.
Вдоль текучих ветвей тумана
Вдоль неподвижных звезд
Где царят мотыльки-однодневки,
Время бархатный медный шар
Катится скользкой дорогой.¹

¹ П. Элюар Мир — одиночество, XXI. Пер. М. Ваксмахера.

...Я не был в собственной квартире около двух месяцев. Рядовая ситуация для активно трипующего курьера. Больше трипов — больше заработок, но дело не только в деньгах. Для большинства из тех, кто работает на Контору, оплата труда играет важную, но не первостепенную роль.

Распространяться на эту тему не стану, поскольку история адреналиновых подсадок изжевана, обсосана, неоднократно перевернута вверх дном, вывернута наизнанку и отполирована лживыми или малозначительными фактами.

Не хочу добавлять суеты в этот формикариум. Что касается меня, то за эти месяцы один трип следовал за другим, перерывы между ними составляли максимум день-два, и смысла ехать домой я не видел, проще было переночевать в казарме. И в этом тоже нет ничего из ряда вон выходящего. Для курьера жилье не является домом в привычном смысле. Это просто крыша, место, где можно переждать неожиданно затянувшийся перерыв между трипами, зализать раны, если трип прошел не совсем удачно, и куда уходят перешедшие критический возраст курьеры доживать свой век (возможно, тогда дом и становится Домом, я не знаю).

Однокомнатная малогабаритка встретила меня глуховатой тишиной. Кушетка в одном углу, компьютерный стол в другом, стул, музыкальный центр на полу, в проем балконной двери вделан турник, на нем вешалки с одеждой. На окне — опущенные жалюзи. Широкий подоконник завален журналами и начинающими желтеть газетами. Запах пыли и пустоты. На кухне все то же самое, но с учетом специфики помещения. И нет холодильника. Он просто ни к чему. Функционально, так сказать, не предусмотрен. Вдохнув, я иду в ванную и набираю в ведро воды. Стандартный обряд моего возвращения домой.

Два часа спустя квартира постепенно начала преобразовываться. С помощью мокрой тряпки, швабры и сквозняка был изгнан настырный демон пыли. Раздавался запах готовящейся еды. Старенький музыкальный центр, побрезговав дисками Deep Purple и The Doors, согласился скрепя сердце прокрутить древнюю нарезку Вельветовой подземки. В общем и целом здесь уже можно было худо-бедно существовать, а приложив определенные усилия — и жить.

Я вышел на балкон, закурил и стал следить, как огромное солнце с неторопливой уверенностью сползает за стену красно-синей двадцатидвухэтажки.

Не то что бы я никогда не любил этот город, но многое в нем вызывало во мне отвращение. Бывали дни, когда я просто ненавидел эту загрязненную клоаку, в которой свили свои гнезда мерзейшие на планете существа. Но должен признать, нигде мне не приходилось видеть таких прекрасных закатов. Пожалуй, это единственный плюс загрязненной атмосферы... Кажется, что солнце не садится за горизонт, а расплавленным металлом растекается по западной части неба, после чего лава постепенно сползает на землю где-то там далеко, за щербатой стеной московских небоскребов... А люди, дураки, опускают солнцезащитные жалюзи, как будто тонкие пластинки жести могут спасти их от капель расплавленного небосвода.

Позже, поев, я с наслаждением завалился на кушетку, но Элюара так и не открыл. Центр доигрывал последние песни Вельветов, небо пыталось свести с ума сотни тысяч истекающих солнцем окон, и каждая мелочь, каждая капля росы на невидимых мне с высоты двадцати двух этажей травинках, каждая заусеница высохшей краски, каждая оторванная пуговица города в эту минуту существовала в гармонии с этой трогательной нелепостью вечерних сумерек, когда алое солнце рождает синеву в воздухе, отчего он становится лишь прозрачнее. И только я, лежа в пустой берлоге неподалеку от самого сердца Москвы, глядел в оцепеневшее окно — оказался тут некстати, как, наверное, некстати оказываются самолеты, совершающие аварийную посадку. Но ведь не откажешь... И мой музыкальный

центр уныло крутил диск Вельветов, и мое окно показывало мне закат, и кушетка удобно обнимала меня за плечи. Потому что не откажешь ведь...

О, эти сумерки! Они способны указать чужаку его место и неуместность. Они били мне в глаза мартеновским излучением горизонта, и даже Элюар, тот самый Элюар, который на полтора часа проглотил мое внимание там, у Шаболовки, даже он не вписывался в это светопреставление, даже он был чужаком, хотя и имел, пожалуй, больше шансов стать здесь своим. Мне, похоже, таких шансов не предоставлялось.

Я бросил книгу на пол, привстал и дотянулся до брошенной на спинку стула рубашки. Солнце кинулось на перехват и, на одно ничтожнейшее мгновение отразившись в стекле часов, вбило мне в сетчатку глаз свой четкий отпечаток. Тут же в носу засвербело, и я от души чихнул. Сигареты пришлось нашаривать по карманам вслепую.

И стенные часы просыпаются от свинцового сна
И вскипает ручей и тлеет задумчиво уголь
И барвинок сшивает серые сумерки с днем
И в моих закрытых глазах обретает корни заря.²

Истлело уже полсигареты, когда зрение мое пришло в норму, и еще через две-три затяжки я понял, что в квартире уже не один. Впрочем, меня это никоим образом не беспокоило. Я знал только одно существо на свете, способное попасть в это жилище без моего разрешения. Его все, кроме меня, называют Безголовым блюзменом. Он заходит порой поболтать или одолжить мой «Джексон». Я не против, гитара висит без дела уже несколько лет. А Безголовому блюзмену пару лет назад проломили голову арматурным прутком в каком-то дешевом ночном клубе, где он подрабатывал на живом звуке. Он как раз играл соло из «Shine on you». Он умер, говорят, почти сразу. Так что с непривычки вид Безголового блюзмена может несколько шокировать. А я привык, мы с ним давно знакомы, практически с момента его смерти. Я называю его Библом.

— Привет, старик, — усмехнулся Библ, входя в поле моего зрения, — рад видеть тебя все еще живым.

— Здорово, — усмехнулся я, — рад видеть тебя все еще мертвым.

Библ снял со стула мою рубашку, неуверенно посмотрел на турник, потом положил рубашку на компьютерный стол и оседлал стул. Его единственный глаз смотрел на меня с радостью, и на какой-то миг в мою голову вползла провокационная мыслишка: а ведь кроме этого мертвого блюзмена нет никого, кто хотя бы изредка был рад мне, рад просто так, просто потому, что нам удалось пересечься.

Левая половина лица Библа представляла собой неаппетитное месиво, но я привык этого не замечать. А серый цвет кожи и легкий сладковатый запах меня не смущали.

— Как дела, полوماتый?

— А какие у мертвых дела? Скука — бич наш. Хочешь, блюз новый лобану?

— Валяй. Тока я закурю сначала.

— Что, пахну?

— Да нет. Просто тебя прикольнее слушать с сигаретой.

— ОК. Можно, твой «Джексон» поюзаю?

— Юзай, какие вопросы. Если бы ты не был мертвым, я бы тебе его подарил.

Я не знаю, хороший ли это был блюз. Я вообще не знаю, бывают ли блюзы хорошими или плохими. Это как невозможно любить Хендрикса. Хендрикс просто есть, он начинает существовать для тебя с первого прослушивания, и математические знаки в данном случае теряют смысл. Ведь никто не станет положительно или отрицательно оценивать дыхание,

² П. Элюар Сб. От часов к заре. «Черно-белые завесы». Пер. М. Ваксмахера.

сердцебиение, смену дня и ночи... Так же и с Хендриксом. Так же и с блюзом. Либо есть, либо нет; цвета можно инвертировать, но третьего в любом случае не дано. Или это уже не блюз, не Хендрикс, не сердцебиение, а ничтожный суррогат, что-то вроде музыка в стиле. Блюз можно только чувствовать. Григорян сказал когда-то: «И если ты чувствуешь это, как негр чувствует блюз...»

Последний сустейн еще висел в воздухе, сигарета еще тлела в паре затяжек от фильтра, солнце еще цеплялось за телевизионные антенны, а в комнату уже пробрались и окончательно освоили ее сумерки. Которые, к слову, бывали в моей квартире куда чаще меня. Станный покой немножко беспокоил меня, но скорее в силу привычки. К нему, как и к постоянным адреналиновым впрыскам, надо привыкать, нельзя окунуться в него вот так сразу, со всеми его атмосферными декорациями, тишиной, сигаретой, блюзом... И еще не известно, к чему привыкнуть легче. Думается, если бы сейчас, в минуту умирания последнего сустейна прозвучал звонок из Конторы со срочным вызовом, даже просто с отменой трипа, я бы вздохнул с облегчением. А слабость это или зависимость, тут уж не мне судить...

— Красиво, наверное, — вздохнул Библ, вставая и подходя к окну...

— А ты совсем ничего не видишь?

— Вижу, но не так... все плоское, все серое. Оттенки серого... И только там, где солнце, немного черного... Пустой мир...

— Ты ведь сам выбрал это, да?

— Да. — Библ вернулся на стул, вытянул из моей пачки сигарету, закурил. — Когда меня спросили, я выбрал звук. И в принципе не жалею. Но... иногда внутри, вот тут, — Библ ударил себя по груди, — начинает чесаться от бессилия.

— Сколько тебе еще мучиться?

— Не знаю. Может год, может десять лет. Не думаю, что дольше, но и это немало. А самое главное, я начинаю замерзать, Сань. Вдруг ни с того ни с сего становится холодно. Я не чувствую, как разлагается мое тело, как его жрут черви, но этот холод... Пальцы уже не слушаются так, как раньше, только не в этом дело. Я ощущаю, что начинаю замерзать не только физически. Что-то теряется с каждым днем — воспоминания, способность чувствовать... Все чаще остаюсь равнодушным. Зрение уже отмирает, тактильные ощущения слабеют, двигаюсь как-то... странно. Я знаю, скоро все исчезнет, и я буду только лежать и слышать. Но что я услышу в своем гробу? Как скребутся черви в моем черепе? Или как проседают доски под тяжестью земли?

— Хочешь, я сварю кофе? Я купил по дороге отличный кофе.

— Давай, — кивнул Библ, — а я пока поиграю. Хочу послушаться... впрок.

Я встал с кушетки и медленно пошел на кухню. Там на маленьком пространстве в восемь квадратных метров тоже ошивались киноварные сумерки, и я, по-прежнему ощущая себя гостем в этом жилище, не стал включать свет. Со своим уставом в чужой курятник... Синего кольца огня вокруг конфорки было вполне достаточно. Я поставил турку на огонь, сел на краешек стола и принялся ждать. Мне было не по себе.

В середине девяностых, когда я только начинал работать в Конторе и в моем послужном списке значилось всего три-четыре незначительных трипа, мне поручили доставку важного груза «000». Каждый начинающий курьер проходит через эти «три нуля». Три капсулы с различными ядами вшиваются ему под кожу. Срок доставки ограничен по нескольким причинам, но основная заключается в том, что спустя какое-то время капсулы начинают растворяться, и содержимое неминуемо попадает в организм. Не доставить «000» означает перечеркнуть минимум на год карьеру в Конторе. Какие-то трипы все равно поручали бы, но из самых низкопробных, и практически это была бы работа почтальона. Каждому экзаменуемому Контора выделяла куратора доставки — опытного курьера, который должен был создавать максимум помех исполнению трипа. Куратор играл в данном случае роль, которую в настоящих трипах играли те самые вторые и третьи

заинтересованные лица.

Я готовился к трипу загодя, как к самым важным экзаменам в жизни. Это, черт побери, и был самый важный экзамен в моей жизни.

И я его не сдал.

Мне оказалось слабо обойти ловушки, подготовленные моим куратором, курьером по имени Монгол. Деталей приводить не стану. Дело не в них. Спустя трое суток одна из капсул растворилась, и в мою кровь попала ударная доза героина. Дикий дозняк, который накрыл меня с ходу, неожиданно, как удар бейсбольной битой по затылку. Теоретически я должен был отбросить копыта, и в каком-то плане это был лучший вариант. Но Монгол спас меня. Он оказался рядом, вколол солевой раствор, вызвал врачей Конторы. Я не умер, но стать настоящим курьером не смог.

Конечно, дело было во мне, в том, что я оказался не готов. В том, что *мне* оказалось слабо. И на целый год я стал развозчиком корреспонденции, почтальоном, мальчиком на побегушках. И хотя потом у меня появилась возможность повторить «три нуля», я знал, что курьеру, не прошедшему первый экзамен, очень сложно, практически нереально попасть в элиту, в группу тех, кому поручают самые рискованные, самые важные, самые высокооплачиваемые трипы. Я знал, что клеймо первого поражения будет висеть на мне даже в том случае, если позже я докажу свою надежность. Докажу, что *мне не слабо*. Так оно и оказалось, кстати, так оно и было. Мне выпало играть вторые роли всю жизнь. И как ни обидно это признавать, кроме меня, винить в этом некого.

Но я понимаю это только теперь. Тогда же, более или менее встав на ноги и осознав в полной мере случившееся, я думал иначе.

Я был переполнен черной завистью к тем, кто оказался удачливее меня, и, как свойственно в юности, искал причину своих бед не в себе, а в окружающих. Зависть легко перерождается в ненависть — они одного замеса. Нужен только легчайший толчок и объект приложения античувства. Таким объектом моей вселенской зависти и ненависти стал курьер Монгол. Хотя к тому времени он уже перестал быть курьером. Известие о том, что человек, которого я считал виновным в своем провале, так легко отказывается от того, что казалось мне смыслом существования, окончательно помutilо мой разум. Долго рассказывать о том, как я искал встречи с Монголом, как выслеживал его, как строил планы мести. Долго и неприятно. Мне никак не удавалось выйти на его след, отчего моя злоба лишь усиливалась, мне казалось, что Монгол напоследок издевается надо мной, указывает мне мое место. Сколько это длилось? Несколько месяцев... Пока однажды я не встретил его в одном из немногих открывшихся тогда ночных клубов. К тому моменту я был уже изрядно пьян и еще под какой-то дрянью, в общем, совершенно не контролировал свои действия. Откуда я взял тот арматурный прут? Как в стенах дорогого ночного клуба оказался этот строительный мусор? Понятия не имею. Помню, как замахнулся, как плыла перед глазами неверная картинка, как отшатнулись люди и как растерянно смотрел на меня Монгол. Он, как выяснилось позже, и знать про меня забыл.

Я промахнулся, оборвав соло Библа. Навсегда. И еще раз доказав, что *мне слабо*.

А Монгол каким-то образом вытащил меня из того клуба, отвез в Контору и как-то отмазал...

Я успел погасить огонь как раз в тот момент, когда вскипевшая кофейная пена коснулась ободка турки. А ведь кофе не должен кипеть... Есть, впрочем, средство, которое придумали наши кабинетные физики-лирики. Они варили некогда кофе с помощью нехитрого устройства «бульбулятор»: самопального кипятильника, сделанного из проводов, двух лезвий и куска эбонита. Чтобы вернуть кофе особенную горчинку, исчезающую при закипании, следовало просто долить в турку столовую ложку сырой воды. Прямо из-под крана.

...Библ играл в комнате старенький блюз, солнце уже успело скрыться за щербатым горизонтом многоэтажек, оставив красное небо не у дел. Первый день отпуска умирал

отражением в окнах дома напротив. Курить хотелось почти беспрерывно.

— Мир иллюзорен, — вдохнул Джучи, — но не статичен. То есть в чем-то старики, разумеется, были правы, и каждый из нас является иллюзией каждого и создателем каждого. Мир — это гобелен, сплошное переплетение иллюзий. Вот мы встретились, и наши иллюзии переплелись, на какое-то время оба мы стали реальнее, но все равно не стали реальными. Я слышал, что мир, любой мир, — дело рук сумасшедшего, слышал и о том, что мир — это всего лишь текст, и все кончится тогда, когда читающий перелистнет последнюю страницу. Но это только легенды. Просто легенды, которые вполне могут оказаться правдивыми, и что? Наш мир уже существует с тем же правом, с каким существуют и другие миры, он уже оброс иллюзиями, создал свое тело и породил новые иллюзии, чтобы те, в свою очередь, стали чуть более реальны. Богу достаточно вздоха, остальное сделают круги на воде или нити, они сами сплетут свой гобелен. Для тебя реально то, во что ты веришь, или то, во что верят те, в кого ты веришь. Иллюзия цепляется за иллюзию, хотя Бог давным-давно забросил обожженные горшки и пошел искать себе новое хобби. А иллюзии живут. Я вообще не знаю, что может быть более приспособлено к существованию, чем иллюзии. Разве что ошибки человеческие... так и они, по сути, иллюзорны.

— А что реально? Или реального вообще нет? — спросил я, поудобнее устраиваясь на черном облаке.

— Да все реально, — усмехнулся Джучи, — если кроме иллюзий ничего нет, то они становятся единственной реальностью. Но не перестают быть при этом иллюзиями.

— Тогда все бесполезно. Совсем все. Бессмысленно.

— Ну почему? Надо признать, что любое устремление и любой результат в принципе не имеют значения. И найти силы в пику этому создать собственную иллюзию, которая будет чуть более реальнее, чем все остальные, и существовать в ней и за счет нее же — это неплохой смысл жизни.

— Но Джучи, если я иллюзия, да еще по большей части своя же собственная, то как же я умру, а? Мне вовсе не хочется умирать.

— Слишком много других людей, в которых веришь ты, верят в то, что ты однажды умрешь. Поэтому ты умрешь. Иллюзии только потому и перестают существовать, что человек однажды постиг конечность, хотя предназначался для бесконечности. Впрочем, откуда мне это знать? Откуда мне знать, что и для чего предназначалось?...

Четыре белых дракона, извиваясь, проплыли под нами над красными скатами пагод, и их длинные усы касались низких крон танцующих сосен. Далеко внизу цапля застыла с поднятой ногой, а мальчишка толкал и толкал перед собой телегу с огромными колесами. Гобелен.

— С другой стороны, — усмехнулся Джучи, — если иллюзии — единственное, что реально, то иллюзий не существует...

— Эй, ты что, издеваешься?

— Нет, рассуждаю...

В шесть ноль-ноль я открыл глаза, ожидая услышать монотонный зуммер будильника, но не услышал ничего, кроме ровного гуда никогда не засыпающего города. Библ ушел еще вечером, аккуратно повесив на место гитару. На полу между кушеткой и стулом стояла переполненная пепельница, увенчанная смятой пачкой, словно центр мироздания, вокруг которого теоретически должно крутиться все остальное. Да и крутится. Я вздохнул, выбрал бычок посолиднее, закурил.

Немногим позже контрастный душ смыл последние крохи сонной апатии, и я вернулся в комнату с чашкой горячего кофе. Поморщив нос в проникающих сквозь жалюзи лучах, я решил, что пропускать такое утро кощунственно. Вытащил стул на балкон, уселся, закинул ноги на перила и стал наслаждаться бездельем. Кофе был дьявольски горький. Подумав, я вернулся в комнату, взял с подоконника газету и высыпал на нее содержимое пепельницы. В

тщательно отсеянном содержимом было обнаружено достаточно пригодных для употребления окурков, коими без труда можно было накурить небольшую китайскую свадьбу. С этим достойным уловом я вновь вернулся на балкон, высыпал окурки на полочку для прищепок (которой, помнится мне, ни разу не воспользовался по назначению) и снова оседлал стул. Утро было таким же горьким, как кофе. Ну, вы знаете эту приятную, чуть знобящую горечь раннего утра...

Солнце висело над зарослями антенн, и все окна, обращенные к востоку, истекали золотом его света, иссеченного сетью морщин-электропроводов. Где-то за домами прозвенел трамвай. Я улыбнулся, подумав об упрямстве этих электрических стариков-мальчишек. Они были похожи на беспризорников, и городу с его стремительными маршрутками, меняющими направление по собственному усмотрению, и огромными вместительными автобусами, они, тихходные и неуклюжие, были давным-давно не нужны. И все же, следуя непонятной мне логике, каждое утро они покидали свой парк и выезжали на маршруты, чтобы за день утомительной езды по кругу перевезти десяток-другой пассажиров. И это все не мешало им по-детски звенеть и нести непонятное ощущение счастливой утренней горечи случайным людям, встречающим рассвет на балконе с чашкой кофе в руке и кучей окурков на полке для прищепок.

Хлопнула невидимая мне дверь подъезда. Хлопнула дверь машины, хлопнула створка форточки в доме напротив. Заворчал добродушно автомобильный движок. Через дорогу, всего в трех шагах от зебры, пробежала симпатичная, кажется, девушка в длинном бежевом плаще, и солнце на мгновение (но какое, черт побери!) прошило ее волосы золотыми нитями. «Сила моя во всем, что пока еще нравится мне» (Поль Элюар).

Я подумал, что было бы неплохо проехаться с ней на трамвае черт знает куда... Ну, например, от Чистых прудов к Университету, есть, кажется, такой маршрут. Можно даже случайно: она впереди, с какой-то книгой, я даже толком не вижу, с какой, но вижу четко, что заложена она полосой красной бумаги. И лица не вижу тоже, потому что еду на задней площадке...

Ну, спасибо тебе, уважаемый мистер-твистер Раймон Мандаян. И пусть у тебя самая идиотская фамилия из всех, что мне приходилось слышать, ты чертовски вовремя организовал для меня этот странный трип-отпуск.

Я поставил чашку на пол, выкинул окурки за перила и пошел в комнату. Телефон разрывался на части. Браслет норовил оторвать мне ладонь.

— Да, слушаю вас.

— Я прямо под вами, квартира номер 37. Дверь не заперта. Могу я попросить вас поторопиться?

— Я уже выхожу.

— Благодарю вас.

От кавказских предков ему досталась ранняя мраморная седина в вороновом крыле шевелюры да едва заметная горбинка на носу. Ну, и еще эта смешная фамилия. От индусских — смуглая кожа. На вид ему было чуть больше сорока, но именно из-за фьюжна национальных черт в возрасте легко ошибиться. С таким же успехом ему могло быть и тридцать пять, и пятьдесят. Простые — весьма, впрочем, стильные — очки. Высок и худощав, его легко было представить за кафедрой какого-нибудь престижного университета читающим лекцию о германских поэтах-романтиках середины XIX века.

— Доброе утро, Александр.

— Доброе утро, мистер Мандаян.

Он сам открыл дверь, и за его спиной я не заметил вполне предсказуемого громилы с лицом вырождающегося травоядного.

— Проходите, — слегка натянуто улыбнулся он и добавил: — В квартире, кроме меня, никого нет...

Я прошел мимо него и оказался в небольшой прихожей, оклеенной обоями светлых

тонов. На стене висела репродукция Дега. Никакой мебели, пустота.

— Я не живу в этой квартире постоянно, — словно прочитав мои мысли, объяснил Мандаян. Он захлопнул дверь и, едва заметно припадая на левую ногу, прошел мимо меня в комнату, — скорее, я тут пережидаю. Это... как бы выразиться... нора одинокого человека. Этаким склеп, что ли.

Его манера говорить, чуть виновато, словно оправдываясь, как-то по-профессорски, меня удивила, я ожидал иного. Я не мог поверить, что именно этот человек обладает самым огромным, практически мифическим состоянием. Однако именно на его руке был браслет — двойник моего. В принципе этого было достаточно.

Я прошел вслед за ним в скудно обставленную комнату, сел в предложенное кресло, огляделся. Эта комната чем-то напоминала мою и в тоже время была совершенно иной. Письменный стол, над ним полка с книгами. Со своего места я смог разглядеть только две крайних: «По направлению к Свану» Пруста и «Черная весна» Миллера. Соседство весьма занятное. Спать в этой квартире явно не собирались, здесь не было ни кровати, ни дивана, ни даже раскладушки. Стояли два кресла и между ними — небольшой журнальный столик. Все. Но почему-то в этой пустоте было уютнее, чем в моей квартире, здесь чувствовалось больше жизни. Это трудно объяснить. Просто в таких комнатах приятно проводить вечера, читать того же Пруста, пить кофе. Думать.

На журнальном столике стояли две кофейные чашечки, кофейник и блюдце с крекерами. Между ними — объемный конверт из твердого пластика размером примерно двадцать на двадцать сантиметров плюс сантиметров семь в глубину. В том, что это был мой груз, я не сомневался.

— Присаживайтесь и наливайте себе кофе, — предложил Мандаян, усаживаясь во второе кресло, — у меня еще осталось минут двадцать...

Правда, для вас это скорее пятнадцать...

— Что вы имеете в виду? — спросил я, наливая себе кофе.

— Вот это, — спокойно сказал Мандаян, задирая рукав. В его руку чуть ниже локтя был вмонтирован маленький жидкокристаллический экран. На моих глазах 22:14 превратились в 22:13, а потом в 22:12...

— Что это?

— Это... цена, — ответил Мандаян и пожал плечами. — За все приходится платить. За власть, за деньги. За удовольствия. За право быть самим собой. Но вас должен интересовать груз. — Он кивнул на пластиковый конверт, потом неторопливо отпил кофе и добавил: — Имя адресата на обратной стороне.

Я протянул руку, взял конверт, перевернул его и прочитал имя адресата. Перечитал еще раз. Пожал плечами. Конверт должен был получить бывший курьер, бывший куратор моих «трех нулей», бывший мой враг. Человек из прошлой жизни. Ничего особенного, обычный трип. Бизнес есть бизнес.

— У вас прекрасный кофе, — сказал я, положив конверт на колени.

— О, — улыбнулся Мандаян, — вы даже приблизительно не можете представить себе, насколько он прекрасен.

— Наверное, это нелегко...

— Нелегко, — кивнул Мандаян, — но безысходность и философское мировосприятие многое меняют, поверьте мне. К тому же я сам выбрал свою судьбу.

— Расскажите?

— А вам интересно?

— Чертовски.

— Ну что ж, — Раймон Мандаян пожал плечами, — теперь уже, наверное, можно.

Нет, он не был бизнесменом. Он был выдающимся ученым, человеком, создавшим социо-экономическую теорию. Великую теорию. Сути ее я узнать не захотел. Да и не в сути дело. Когда Раймон Мандаян опубликовал свой труд, нашлись люди, которые поверили ему.

Очень богатые люди, мечтавшие стать еще богаче. Они предложили Мандаяну деньги, чтобы он воплотил теорию в жизнь, испытал ее на практике. Но вкладчики совершенно справедливо опасались, что в случае удачного завершения эксперимента Мандаян станет слишком могущественной фигурой. Недостигаемой. А им хотелось не просто вложить деньги и убедиться в действенности теории Раймона Мандаяна, но и вернуть себе во много раз увеличившийся капитал. И гарантией этого стал контракт, официально распределяющий имущество Раймона Мандаяна после его смерти, а также вживленный в его тело экран, который отсчитывал в обратном порядке время. Деньги – это все, что их интересовало.

— А меня интересовали люди, их сила, их сопротивляемость методам управления. Если бы у меня было хоть немного больше времени хотя бы столько, сколько мне обещали... Но... — Раймон Мандаян грустно пожал плечами, — они меня обманули. И времени заложили меньше, чем было обусловлено нашим договором.

— Но вы же богаты. Разве нельзя было избавиться от этого?

— Нет. *Это* управляется дистанционно, и я так и не смог узнать, откуда. Но я не остался в долгу. — Мандаян по-мальчишески улыбнулся и постучал пальцем по виску. — Да, я не остался в долгу. Видите ли, они действительно получают все, что я имею, — вот эту квартиру. А больше у меня нет ничего. Они плохо изучили мою теорию, очень плохо. Этот конверт тоже не мой. Когда-то давно мне передал его тот, к кому он теперь должен вернуться. Мой единственный друг. Такой же, наверное, одинокий как я.

— Я знаком с ним.

— Да. Я знаю. Он просил передать, что тут, внутри, ваша первая скрипка. Не знаю, что это значит, просто...

— Я знаю, — кивнул я, ставя чашку на стол. — Сколько осталось времени?

Мандаян снова завернул рукав, посмотрел на циферблат своих жутких часов и ответил:

— 17 минут. Целая вечность.

— Хотите, я почитаю вам Элюара?

— Почему бы и нет?...

Я живу в странном мире, слишком грязном, чтобы быть привлекательным, и слишком прекрасном, чтоб заслужить мое прощение. Однако кто я такой чтобы брать на себя право прощать или не прощать? Просто человек, бредущий от подъезда к припаркованному у тротуара «Трабанту» в ожидании глухого хлопка взрыва в квартире самого богатого человека планеты, так похожего на профессора романо-германской филологии... Я не могу точно определить собственную роль в происходящем. Я даже толком не знаю, есть ли она — моя роль. Просто иду к припаркованному «Трабанту» и думаю об этом странном мире. Знал я некогда мудрейшего человека, написавшего как-то, что мир не просто грязен — он принципиально грязен, он унавожен грязью, и именно из такой почвы может прорасти что-то достойное... Там было еще что-то написано, но кровь и мозги мудрейшего человека делали все остальное не подлежащим прочтению. Он нашел самый верный способ унавозить почву. Самый кардинальный. «Профессор» Мандаян, впрочем, тоже.

И вот стекла секут асфальт. Они предназначены не для этого, но и человеческое тело не предназначено для того, чтобы в него встраивали циферблаты, отсчитывающие время в обратном порядке. Я иду к своему потрепанному «Трабанту» и думаю, понравились ли стихи Элюара профессору (отныне я стану называть его так). А еще о том, что вот ведь как получается: профессора только что разнесло на части, и ему уже все равно, читал я ему перед смертью Элюара или нет, а я иду и думаю о стихах, прочитанных человеку, в теле которого несколькими минутами позже сработал детонатор.

Где-то за домами снова проносится с неунывающим звоном трамвай. Я думаю о том, что юность равнодушна, и в этом ее неоспоримая прелесть. Перешагнув через тридцатилетний барьер, равнодушие можно только изображать. Я думаю о том, что это нелепо: посреди квартиры, в которой человек появляется раз в год, висит подлинник (теперь-то я в этом не сомневаюсь) Дега. Его никто не видит, он впитывает пыль, темноту и тишину

и раз в год радуется глаз хозяина. И в этом, как ни странно, есть какой-то смысл. Мне его не понять, ну и черт с ним. А потом хозяина Дега разносит к чертям, его мозги, внутренности и прочее вылетают из квартиры вместе с осколками стекла, обломками мебели и обрывками книг, но за несколько минут до этого другой человек снимает Дега со стены, практически спасая его... Но в этом уже нет смысла. Это уже нелепо... Как будто Дега писал эту картину только для того, чтобы она висела в пустующей московской квартире... И ведь самое страшное, что я почти верю: Дега писал именно для этого... Мимо меня по тротуару стремительно проползает масляное пятно милицейского маркера — туда, где падают осколки. Я сажусь в «Трабант», пристраиваю Дега на заднее сиденье, туда же кладу пластиковый конверт с именем человека из прошлого, завожу мотор...

Можно покурить. Можно вернуться в Контору и немного поспать. Можно взяться за новый трип, поскольку этот не имеет точной даты завершения и от меня никак не зависит.

В последний момент я вспоминаю, что забыл у профессора своего Элюара. Я смотрю в зеркало заднего вида и вижу уголок багета Дега. Я думаю о том, что это не очень честный обмен, но уже ничего не могу изменить. А вы, профессор, и подавно.

Я не поехал в Контору, я вырулил из дворов на проезжую часть, сместился в средний ряд и погнал «Трабант» вдоль трамвайной линии. По встрече пронеслось несколько траурночерных карет скорой помощи. Запах аммиака сползающих маркеров преследовал меня несколько кварталов. Я ехал и думал, что ведь никто кроме меня не знает, что за человек погиб в той скудно обставленной квартире. Даже если им удастся определить внешность погибшего, это ничего не даст. Ведь хозяин «РайМан» — уродливый карлик... «Так об этом пишут газеты, а газеты всегда правы» (Константин Кинчев). Город был цинично-прекрасен и, пропуская сквозь частые сети проводов солнечные лучи, ловко подставлял под них угловатые плечи зданий, редкие кроны деревьев, полупрозрачные купола остановок, — все, что попадалось под руку, и превращал обычные тени в произведения искусства. В какой-то момент трамвайные пути свернули в узкий переулок, увенчанный «кирпичом», а проезжая часть увела меня в другую сторону.

Прошла минута, потом другая, и я забыл и о профессоре, и о Дега, и о превратностях жизни. Я ведь один из сегментов этого города, его биологическое подобие, созданное по его образу. А в этом городе не принято думать о чужой смерти слишком долго. Нужно думать о своей жизни.

— Как считаешь, — пробормотал Библ, опуская солнцезащитный козырек, — долго такая жара продержится?

— В следующий раз появляйся не так внезапно, будь другом. Чертовски, кстати, непривлекательно выглядишь. Что-то случилось?

— Да нет... Но жара эта... тело разлагается быстрее. Намного быстрее. Это ты взорвал Мандаяна?

Ленинский был на редкость пустынен в этот час, и разнокалиберные витрины по обе стороны проспекта отражали только друг друга, рекламные плакаты да размытые очертания моего «Трабанта». Библ скормил магнитоле диск «Radiohead», закурил мою сигарету, чуть опустил спинку кресла. Я усмехнулся:

— Расслабляешься?

— Типа того. На посошок. Ничего, что хозяйничаю?

— Да нет. — Я пожал плечами и вдавил прикуриватель. — Не знал, что ты «Radiohead» любишь. Думал, ты в основном по блюзам специализируешься.

Библ криво усмехнулся сквозь дым.

— Во-первых, я специализируюсь по музыке как таковой и блюз предпочитаю, но на нем не заикливаюсь. А во-вторых, у тебя все остальное в бардачке — говно, ты уж прости, Сань.

На этот раз криво усмехнулся я.

Над перекрестком с Ломоносовским завис, запутавшись в проводах, рекламный дирижабль. Я выхватил из слогана словосочетание «Усни покойно» — основной слоган коммерческой церкви Спасения.

— Когда-то я думал, что неплохо будет под конец обратиться к этим ребятам, — кивнув на дирижабль, сказал Библ.

— Я о них почти ничего не знаю. Как-то не интересовался.

— Они взяли идею какой-то книги... За внушительную сумму клиента поселяют в их пансионе, где он проживает неделю в свое удовольствие. Монахи и монашки выполняют все его желания. В один из дней клиента убивают. Не предупреждая, разумеется. Как правило, выстрелом в затылок. Все легально, лицензия, все дела.

Я засмеялся.

— Что смешного? — не понял Библ.

— Ты не поверишь, но примерно то же самое произошло с Мандаяном.

— А я думал, это ты его.

— Не-а, я тут совершенно ни при чем.

Библ улыбнулся, но как-то натянуто, неискренне. А потом и вовсе отвернулся, и улыбка мгновенно сползла с его лица. Убитый мной музыкант смотрел куда-то вперед, но глаза его были пусты.

Я подумал, что мне будет его чертовски не хватать, когда...

— Ты что-то сегодня невеселый, — заметил я.

— Да... не веселится что-то. Понимаешь, боли я уже не чувствую, но все это... иногда я думаю, что сошел бы с ума, не будь мертвецом. Беда в том, что безумных мертвецов не бывает... Я уже перестал видеть краски. Все черное и белое, даже серого почти нет...

Я молчал, не зная, что сказать. Сигарета тлела. Витрина какого-то ресторанчика впитывала в себя отражение моего «Трабанта». Когда мы уедем, она еще будет некоторое время его удерживать.

— Я к тебе не просто так заглянул, Сань, — помолчав, сказал Библ. —

Нужна помощь.

— Выкладывай.

— Я решил обратиться к Вагнеру. И мне нужен живой посредник. Там такие правила...

— Да, — кивнул я, чувствуя, как что-то холодное пробежало от затылка по спине, — я слышал об этом...

— А у меня кроме тебя и нет никого, — сказал Библ, — так что... Я понимаю, что просить о таком...

— Дай мне минуту, — попросил я, выбивая сигарету из пачки.

...О Вагнере говорили много и с удовольствием. Пожалуй, с не меньшим удовольствием, чем о Раймоне Мандаяне, хотя состоянием он обладал несравненно меньшим. Впрочем, когда сумма хотя бы на одном счете переваливает через десяток миллионов, разница имеет скорее теоретический характер. Разумеется, деньги сыграли свою роль в шумихе, которая возникла вокруг этого имени, но не только они.

Даже великий Мандаян при всем своем богатстве официально не мог считаться абсолютным монополистом, поскольку, во-первых, действовал антимонопольный закон (и казнь Хабаровского передавалась в прямом эфире как подтверждение его действенности); а во-вторых, потому что корпорация «РайМан» действовала в стольких отраслях, что им пришлось бы монополизировать всю планету. А Вагнер и считался де-юре, и был де-факто абсолютным монополистом в собственной области. Прежде всего потому, что до него никто не додумался зарабатывать на смерти, а при нем никто не знал, как это делается. Как это — продавать смерть мертвым?... Вагнер же обладал этим знанием, и оказалось, что делать деньги на мертвых так же легко, как и на живых. В одном интервью он сказал: «Главное в нашем деле — не забывать: святое имеет свою цену... Как и все остальное». Наравне с анекдотами о Вагнере ходили самые разные слухи. К примеру, о том, что сам Вагнер

несколько лет назад умер, но благодаря контракту, который он заключил со Смертью («Святое имеет свою цену...»), это никак на нем не отразилось. Как-то в Интернете появилась информация, *разумеется, липовая*, в каком именно Термотерминале находится труп Вагнера. Нетрудно догадаться, что в ту же ночь Термотерминал был уничтожен прицельно сброшенным с частного самолета тротильным эквивалентом. Погибло около полусотни человек, из находящихся в анабиозе никто не пострадал. В очередной раз появившись перед телеэкранами, Вагнер во всеуслышание объявил, что его тело всегда при нем, но на вопрос, в каком состоянии, отвечать не стал. А интервью закончил предложением посетить его офис всем тем, кто погиб при бомбежке Термотерминала. При этом он учел практически каждую мелочь, в том числе и тот факт, что ежели что-то пойдет не так, то непосредственно с клиента спросить будет уже нечего. И потому Вагнер требовал, чтоб мертвые приводили живого свидетеля, который ручался, как нетрудно догадаться, собственной смертью. То есть при неудаче с товаром непосредственного клиента у поручителя изымалась его смерть (а точнее, упокоение, как значилось во всех официальных проспектах доктора Вагнера), и при необходимости бывший поручитель, став мертвым бывшим поручителем, вынужден был идти все к тому же Вагнеру и выкупать свою смерть, приведя с собой следующего живого поручителя *actis testantibus*³.

Именно об этом и просил меня Библ — стать его поручителем, отдать свою смерть на определенный финансово-отчетный период в залог не столько самому Вагнеру, сколько общему потребительскому капризу...

— Что ты хочешь предложить ему? — спросил я.

— Мой блюз, — ответил Библ. Он как раз закуривал вторую сигарету, — «Девять грамм блюза».

— «Девять грамм блюза» твоя вещь? — удивился я.

— Да, — кивнул Библ, выплевывая слова вместе с дымом, — моя. Я продавал права на ее исполнение, но никогда не продавал права на саму вещь.

— Хм... Думаю, Вагнер согласится...

— Уверен в этом. И в финансовой стабильности этого блюза я уверен, так что ты практически не рискуешь. Я бы мог прийти вообще без поручителя, но я понятия не имею, чего ожидать от этого человека. Так что лучше сделать все так, как он требует. Выручи напоследок, старина.

— Да, — пробормотал я, — да... Какие вопросы, старик... Конечно, я буду твоим поручителем. Хочешь, поедem прямо сейчас? Это ведь по дороге...

А что еще я мог сказать?

Я припарковал машину на площадке у Дома ткани. Прихватил с панели пачку сигарет, хлопнул дверью. Краснооко подмигнул глазок сигнализации. Я не нервничал, я просто банально боялся непонятного. К примеру, я не знал толком, что значит заложить собственную смерть и как это может отразиться на моей жизни. В том, что все взаимосвязано, я, к сожалению, не сомневался.

Время близилось к обеду, и асфальтовый пяточок перед магазином постепенно заполнялся женщинами всех возрастов и различного социального статуса. Домохозяйки и бизнес-леди, школьницы и спившиеся существа неопределенного возраста. Брюнетки, блондинки, вытравленные пергидролом, причесанные в лучших салонах города, завитые, с распущенными или заплетенными волосами. Их глаза смотрели с детской наивностью, были по-азиатски раскосыми или старчески бесцветными. Они были совершенно не похожи друг на друга, но что-то объединяло их только здесь и только сейчас, какая-то женская тайна, недоступная противоположному полу. Раз в день, когда Дом ткани закрывался на обеденный перерыв и на его витрины опускались серые пыльные жалюзи, эти женщины появлялась

³ Согласно документам (*лат.*)

перед его дверьми, чтобы провести час в растерянном сиротливом блуждании на пяточке перед магазином, с пустыми глазами и безнадежно потерянным видом. Меня всегда поражала и даже пугала жуткая тишина, которую они с собой приносили. Тишина, разумеется, городская, с фоновым ревом Ленинского проспекта, с выкриками рекламных слоганов, со всем тем, без чего московская тишина превращается в гробовую. И тем не менее было в ней что-то неясное, как шевеление тени за спиной. Теперь же, когда по какой-то причине проспект был пуст, эта тишина ощущалась особенно ясно. Женщины ходили с потерянным видом, сталкивались, шли дальше, замирали, снова куда-то шли. Иногда то одна, то другая подходила к двери магазина, дергала за ручку, но дверь была неприступна и жалюзи все так же закрывали все то, что хранится за стеклами витрин. И тогда с еще более потерянным видом женщины отходили в сторону и снова начинали бессмысленно бродить по пяточку. Они никогда не говорили друг с другом, не извинялись, столкнувшись, и казалось, вообще не замечали остальных. Каждая из них была одинока в эти минуты изгнания. Мне кажется, что даже дышали они вполсилы...

Это было место женщин, их тоски, безнадежности, их персонального, непонятного мужчинам одиночества. Место, куда пусть и ненадолго, их ежедневно изгоняют, возможно, напоминая о том, первом изгнании.

Внизу, в десятке метров от пяточка перед Домом ткани, зажатая между неровными асфальтовыми берегами, медленно текла, исходя серым дымом, река гудрона. Медленно и уверенно, как время. Мы прошли среди молчащих женщин, отразились на мгновение в витрине магазина, миновали останки сбитого рекламного дирижабля со слоганом «Легализация бизнеса. Законно, быстро, надежно. ДОРОГО».

Через реку гудрона было перекинуто несколько мостов, но нам подходил только один, тот, что вел к памятнику Юрию Гагарину. Вагнер выбрал необычное место для своего офиса.

— Жарко, — пробормотал еле слышно Библ.

— И жутко, — ответил я, оглядываясь на молчащих женщин.

Еще год назад участок Ленинского проспекта между Домом ткани и рестораном «Красный Дракон» был огорожен унылыми бетонными плитами, перетянут колючей проволокой, окружен видеокамерами и маркерным кордоном ППС. Иногда, когда туман над этим местом разгонял заблудившийся порыв ветра, можно было разглядеть просевший, в подпалинах и гудронных пятнах остов Третьего транспортного кольца: чугунные балки, торчащие из обвалившихся бетонных перекрытий, колосья ржавой арматуры, беспорядочно тянущиеся к небу, глыбы бетона. Этаким постапокалиптический пейзаж, антиутопия как она есть, спилберговщина. В действительности три с половиной года назад здесь, в метре от памятника Юрию Гагарину, вырвался на свет божий мощный и, как впоследствии оказалось, неиссякаемый поток гудрона. Откуда он взялся и что послужило толчком к такому казусу урбанистического естества, давным-давно не имевшего никакого отношения к природе естественной, ни тогда, ни позже понять так и не смогли. Вопреки всему гудронный поток не остыл и не иссяк, напротив — с неторопливостью асфальтового катка он проложил себе путь сквозь все встречающиеся препятствия, пока не добрался таким нехитрым образом до Дворца науки, где и скрылся, благополучно обвалив кусок дороги метров в шесть диаметром. Тогда же рухнули сваи Третьего транспортного, похоронив под собой несколько облюбовавших это место бомжей. Больше никаких жертв не было, поэтому СМИ дружно повторили формулировку министра по чрезвычайным ситуациям: «Во время промышленной катастрофы почти никто не пострадал». На это «почти» почти никто не отреагировал. А вот определение «промышленная» тогда удивило многих, поскольку ни к какому предприятию произошедшее вроде бы отношения не имело и являлось скорее проявлением странной городской природы, подобным появлению некогда огромных анаконд (история с которыми так до конца и не ясна городской науке).

Как бы там ни было, поток гудрона продолжали изучать, и в скором времени ученые при помощи и непосредственном участии служб МЧС выяснили, что называть не желающий

остывать и истощаться поток гудрона рекой неверно.

Было установлено, что на глубине около километра под землей два гудронных потока соединялись, образуя кольцо, которое крутилось вокруг своей оси, а его верхний край приходился на пространство между Домом ткани и Дворцом науки. Пройди оно чуть ниже, возможно, никто и не обратил бы на него внимание.

Эта тема около месяца не сходила с первых полос ведущих газет и журналов столицы, пока ее не сменил очередной рухнувший на окраине Домодедова самолет. Тогда кто-то выкрал черный ящик и требовал с властей выкуп, были погони, перестрелки, подозреваемые и судебные ошибки, в общем, это было интереснее непрерывающегося движения гудронного кольца. А вокруг последнего тем временем установили глухие бетонные плиты и посты маркеров ППС... К изменившейся картинке очень быстро привыкли, стали водить сюда знакомых и гостей столицы, балконы ближайших домов некоторое время приносили владельцам неплохой стабильный доход, но тоже недолго. Как известно, стабильность приводит к обыденности. Люди научились жить без сегмента Ленинского проспекта и Третьего транспортного кольца, ученые получили новые темы для публикаций и диссертаций, а лично я научился ездить в объезд, хотя это и занимало несколько лишних минут. Но я тогда купил свою первую машину, родную отечественную «шестёрку», и наслаждался возможностью не спускаться в недра метрополитена. Так что круг в несколько минут для меня значения не имел.

И вдруг однажды утром (дело было, кажется, в самом начале сентября) бетонных плит на привычном месте не оказалось, маркерный кордон был снят и колючая проволока исчезла. Поток гудрона был охвачен мраморными берегами, между которыми повисли три моста: один исключительно автомобильный, еще один пешеходный (оба они тянулись от Дома ткани к ресторану «Красный Дракон», который к тому времени стал «Желтым Тигром», а сегодня, кажется, «Зеленым Какаду»), и еще один — прямоком к постаменту памятника Юрию Гагарину, который, кстати, во время всех этих катаклизмов совершенно не пострадал. Власти города решили, что поскольку справиться с этой напастью они не в состоянии (ибо никто так и не понял, где искать первопричину), а уничтожить поток нереально (некоторое время мотались по проспекту закапанные черным КАМАЗЫ да экскаваторы с черными же ковшами, но поток оказался действительно неиссякаемым), его надо по возможности использовать. И использовали.

Место облагородили, креативщики состряпали грамотный пиар, организовали и продали в рекордные сроки торговые точки, и вот уже Гагаринский поток (так его называли мудрецы, посчитав слово «гудрон» в контексте лишним) стал одним из самых популярных у населения, предпринимателей и налоговиков районом города. Ну, и соседние автодороги заодно разгрузили. Столько зайцев было убито зараз... Правда, очень скоро пришлось перенести перила подальше от края мраморных набережных, так как несколько человек все же не удержали равновесие и были заживо сварены, а потом и переварены неостывающим Гагаринским потоком. Да и теперь, несмотря на предупреждающие надписи и маркерные наряды, находились время от времени неудачники... особенно в день ВДВ.

Мы стояли и курили: Библ у одних перил, я у других. Мраморные карнизы метровой ширины отделяли нас от неторопливого потока гудрона, вяло шевелящегося под мостом. Тень от вонзающегося в ослепительный зенит памятника делила мост на две неравные части: чуть меньше света, чуть больше тени... Время, слава богу, значения не имело. По крайней мере время, разделенное на минуты. Мы стояли и курили, не решаясь направиться к офису доктора Вагнера.

В постамент памятника Юрию Гагарину была вделана тяжелая металлическая дверь с колотушкой. Слева от нее висела стальная же табличка с гравировкой «Доктор Вагнер. Смерть». Лаконично и вопросов не вызывает. Нужна смерть — заходи и покупай. Не нужна — не переходи мост. Кстати, однажды в Интернете появилась заметка о том, что Вагнер пытался выкупить у властей города право переименовать этот мост в Калинов, но власти

заломили такую цену, что Вагнер отказался от своей затеи. Так и остался мост Гагаринским, чем, по сути, уже ничего не отражал.

Я повернул голову и уставился на мраморный карниз перед перилами. Какой-то отчаянный мастер граффити вывел на нем «Fuck Off, мистер Джимми Моррисон». Далее вполне правдоподобно была изображена голова легендарного вокалиста группы «The Doors». Я знал, что на противоположном карнизе нарисована голова киборга-терминатора с ободранной кожей и красным значком и написано «Fuck Off, мистер Иосиф Кобзон». Смысл этой концептуальной акции граффитейкера оставался для меня сокрытым. Когда я выкурил вторую сигарету, тени на мосту стало еще немногим больше, а света — еще немногим меньше. Я запустил дымящийся бычок в гудронный поток и хлопнул ладонью по перилам:

— Ну что, старик, пошли?

— Пошли, — кивнул Библ, поворачивая ко мне свою изуродованную голову.

За дверью нас встретил тип, который благодаря прожорливой и всеядной журналистской братии был известен, пожалуй, не меньше своего хозяина. Огромный, за два метра ростом, широкоплечий детина с бритой головой, покрытой жуткими шрамами. Его звали Фрэнк, и о нем ходили самые разные слухи. Говорили, в частности, что Фрэнк был отдан Вагнеру за долги. И что человеком его можно назвать с большой натяжкой. И что этот самый уродливый Фрэнк занимался поисками должников, причем как со стороны живых, так и со стороны мертвых. И что долги, как правило, возвращались...

Как бы там ни было, Фрэнк служил своему нынешнему хозяину как преданный пес и дважды спас Вагнера во время вполне естественных для людей подобного статуса и рода занятий попыток покушения. Первый раз стрелял фанатик-исламист, второй — фанатик-католик. Оба, кстати, использовали автоматы Калашникова. Правда, исламист успел выпустить всю обойму, а католика Фрэнк завалил на двенадцатом патроне. Все пули достались ему же, громиле Фрэнку, который, впрочем, без труда выкарабкался. О невероятной живучести слуги и телохранителя доктора Вагнера также говорили много и долго, и по сей день то и дело возвращаясь к этой ненадоедающей теме.

По левой стороне черепа Фрэнка шла стальная пластина, и в голове моей пронеслось вполне предсказуемое: «Fuck Off, мистер Иосиф Кобзон».

Кстати, о псах. Кроме Фрэнка, доктора Вагнера охраняли три огромных животных жуткого вида, выведенных на заказ. Псами их можно было назвать разве что цинично усмехаясь, хотя доберманы и значились в числе их генетических предков. Так же как уссурийский тигр, белый медведь, россомаха, муравьед, etc. Звали их Акутогава, Джошуа и Марлен. Я никогда не переставал восхищаться юмором доктора Вагнера.

Мы спустились по широкой винтовой лестнице на пару этажей и остановились у серебристых дверей лифта. Справа и слева от них стояли два глубоких вазона с искусственными цветами. На стенах висели портреты улыбающихся клиентов доктора Вагнера из числа знаменитостей, разумеется бывших.

Фрэнк молчал, упреков немигающий взгляд в зеркальные двери. Нас тоже на общение, прямо скажем, не тянуло. Благо ждать пришлось недолго. Двери лифта распахнулись, и мы загрузились, наконец, в обитую красным бархатом и очень похожую внутренним убранством на гроб кабинку. Все время движения лифта нас сопровождала печальная мелодия, несущаяся откуда-то с потолка, из-под многочисленных бархатных складок. Чуть позже к ее звукам присоединился собачий лай. Двери лифта открывались непосредственно в кабинет доктора Вагнера.

Впрочем, место это совершенно не походило на кабинет, разве что на кабинет домашний. Забитые книгами стеллажи вдоль стен, в промежутках между стеллажами — портреты в тяжелых подрамниках. Массивный стол темного дерева, похожий на замершее реликтовое животное, слева от стола — большой шар аквариума с вьющимися водорослями и мелкими юркими рыбками.

Четыре пары глаз (хозяина и его собак) встретили нас с холодным и уверенным

равнодушием. Джошуа и Акутогава остались лежать перед столом, Марлен же тяжело поднялась и обняла каждого из нас по очереди, включая Фрэнка. У нее была шкура забавно розового цвета, почти плюшевая на вид. И это было единственным, что показалось мне забавным в ней и в двух ее братьях.

— Добрый вечер, господа, — приподнялся из-за стола доктор Вагнер в тот момент, когда Марлен потеряла к нам интерес и с грохотом рухнула между братьями.

Доктор Вагнер... Что ж, он выглядел так, как должен выглядеть доктор Вагнер, торговец смертью, посредник между тем и этим миром. Высокий, ладно скроенный мужчина преклонных лет с густой шевелюрой пепельно-седых волос, ниспадающих на угловатые плечи. Черный костюм, рубашка с высоким белым воротничком. Я знал, что в прошлом он был капелланом одной из боевых частей московского военного округа. До того, как начал приторговывать смертью. Кроме всего прочего, доктор Вагнер носил монокль, и это отнюдь не казалось уступкой имиджу, скорее наоборот: не будь монокля, картинка была бы несовершенна. Еще бы высокий цилиндр да глубокие тени под глазами... Но нет, должность библиотекаря в Нескучном саду уже не вакантна...

— Добрый вечер, — повторил доктор Вагнер, хотя было лишь недалеко за полдень. Впрочем, и это не показалось мне странным — тут, в катакомбах офиса торговца упокоением, время значения не имело. Хозяин указал нам на два глубоких кресла перед столом, предложил сесть и сел сам. Пока мы усаживались, он склонился над нарочито допотопной коробкой селектора и, нажав одну из пары десятков кнопок, произнес:

— Гелла, сделай мне и господам чаю...

— «9 грамм блюза»... Да, помню. — Улыбка доктора Вагнера не была ни равнодушной, ни наигранной, ни профессиональной. Но и искренней ее назвать тоже не получалось. Чувствовался в ней какой-то холодок этакое постороннее созерцание, что ли... Приценивается, подумал я. Так человек способен улыбаться только деньгам. И только ОЧЕРЕДНЫМ деньгам...

Вагнер же, пока я гадал о природе его улыбки, откинулся в кресле и некоторое время разглядывал потолок, постукивая по столешнице тонкими длинными пальцами. Такие пальцы бывают у музыкантов и убийц. С оглушительной печалью вздохнул Джошуа, с ленивой грацией перевалился с правого бока на левый Акутогава. Равнодушно смотрели в пространство безжизненные глаза Фрэнка, застывшего сзади и чуть левее кресла хозяина. В полумраке кабинета жуткие шрамы, исполозовавшие словно бы составленное из отдельных лоскутов кожи лицо телохранителя и слуги доктора, проступили особенно ярко.

Пауза затягивалась. Я осматривал кабинет, приглядываясь к портретам в тяжелых подрамниках. Это были старые фотографии людей в военной форме времен Гражданской войны. Разглядеть детали лиц было невозможно из-за качества фотографий и приглушенного освещения кабинета. Тихо всхлипнул невидимый колокольчик, и один из стеллажей медленно ушел в пол, открыв кабинку еще одного лифта. Тот же красный бархат и печальная мелодия, то же ощущение внутреннего убранства гроба... В кабинке стоял сервированный на троих столик на колесиках и совершенно обнаженная девушка с невероятно белой кожей и иссиня-черными волосами... Она была чертовски привлекательна: маленькие, но четко очерченные груди выглядели безукоризненно, а в меру широкие бедра придавали ее фигуре элемент античности, лишь подчеркивающий гипсовую белизну кожи. Однако от одного ее вида мне стало холодно. За всей этой внешней привлекательностью было что-то жутковатое, неживое, неестественное (не в коже дело и не в контрасте с черными волосами, тут что-то иного порядка), и я поспешил отвести глаза.

— А вот и наш чай! — воскликнул доктор Вагнер. Гелла выкатила столик из лифта и, умопомрачительно покачивая бедрами, подошла к нам. Я понял, что снова ее разглядываю, и снова отвел глаза. Могильный холодок пронесся вдоль моего позвоночника. Звонко коснулся кромки чашки фарфоровый чайник. Обнаженная Гелла разливала чай, мы с Библом с удвоенным интересом разглядывали убранство кабинета, а доктор Вагнер говорил:

— Геллочка — замечательный экспонат в моей коллекции. Да! Почти как мальчик

моего коллеги доктора Франкенштейна, — Доктор кивнул на равнодушного ко всему Фрэнка, — или, скажем, вот эти портреты двадцати шести бакинских комиссаров, — хозяин повернулся в сторону ближайшей ниши между стеллажами, — которые были сделаны, кстати сказать, непосредственно перед расстрелом... Нам, коллекционерам, свойственна некоторая... бестактность, что ли... Да, наверное, это как раз то слово... Ведь вот собирает человек картины. Коллекционирует. Заполучает в свою власть, в собственное владение кусочек истории мироздания. Неважно, что все произошедшее теперь значения не имеет, в отличие от цены, но оно мое. Связанное темой или разрозненное, какая разница... Власть над мирозданием, пусть частичная и даже в некотором смысле эфемерная... о, в этом есть что-то от власти над женщиной, но на другом уровне, без либидо... Меня же, как нетрудно догадаться, интересует смерть. И это неисчерпаемая тема, доложу я вам... Я обдумал ваше предложение, — неожиданно прервал себя на полуслове доктор Вагнер, а Гелла тем временем закончила разливать чай и, вернувшись в лифт, испарилась из кабинета. Я вздохнул с облегчением.

— Думаю, цена могла бы считаться достойной, — продолжил доктор Вагнер, сделав долгий глоток чая, — но товар залежалый...

— Что значит залежалый? — оторопело пробормотал Библ.

— Только то, что значит. «9 грамм блюза» пока еще на волне, но цена этой композиции уже не так высока, и не сегодня завтра ее начнут забывать и игнорировать. Она не окупит вашу смерть, только и всего. Не окупит в полном размере.

Чашка со звоном коснулась блюда... Я молчал, чувствуя себя лишним, Библ был потрясен, в лице же доктора Вагнера ничто не изменилось, он все так же улыбался.

— Что же мне делать? — спросил Библ. — У меня больше ничего не осталось, и...

— У вас — нет, — оборвал Библа Доктор Вагнер, — а вот у вашего поручителя есть кое-что, живо меня интересующее. Товар, в кредитоспособности которого я абсолютно уверен. — Сказано это было так, словно меня здесь не было.

— Послушайте, — решил вмешаться я, — но разве я уже не представляю собой интересующий вас товар в качестве поручителя?

— О нет, — рассмеялся Доктор Вагнер, — речь идет не о смерти, этого добра у меня в достатке... Хм, занятно... Смерть — добро...

— Тогда что вас интересует?

Вагнер снова откинулся на спинку кресла, обратив на меня свою холодную улыбку профессионального ювелира, глаза которого давно уже переняли безжизненный блеск драгоценных безделушек.

— Конверт, — сказал он, и улыбка внезапно исчезла с его лица.

— Конверт?

— Да, — Доктор Вагнер внезапно поднялся, и его тень метнулась по кабинету обезумевшей летучей мышью, — мне нужен конверт этого армянского выскочки Мандаяна. Тот, который он передал вам перед смертью... Этот ублюдок думает, что от Вагнера можно сбежать, не возвращая долгов, но...

— Я не понимаю, о чем вы, — сказал я, чувствуя, как у меня начинают холодеть кончики пальцев.

Доктор Вагнер замер, глядя на меня. Что-то такое запульсировало в воздухе между нами, или мне это только показалось. Неважно. Улыбка так же внезапно вернулась на лицо коммерсанта. Доктор Вагнер снова уселся в кресло и пожал плечами:

— Ну, нет так нет. Ваша смерть вполне подойдет в качестве поручительства, благо оплата произойдет куда раньше, чем вы думаете. Вот, подпишите. — Доктор Вагнер протянул через стол лист гербовой бумаги. Библ торопливо подписал его и медленно положил ручку на столешницу.

— Этим вечером вы упокоитесь... окончательно, — с улыбкой сообщил доктор Вагнер Библу, затем повернулся ко мне, и я заметил легкую судорогу, которая на мгновение свела его лицо. — И вы тоже, — не меняя тона, сказал доктор Вагнер. — Фрэнки, приятель,

проводи наших уважаемых гостей...

...Когда мы вышли из катакомб офиса доктора Вагнера, пяточок перед Домом ткани опустел, жалюзи на витринах были подняты, и там, в аквариумных пустотах магазина плыли счастливые лица лучшей половины человечества. Осененные inferнальным в мужском представлении светом... Проспект же Ленинский оживился автомобилями разных мастей. Вернулся привычный грохот и гул. Солнце, ушедшее с зенита окончательно и бесповоротно, опросталось светом на пережившие эпохи камни сталинских исполинов и добавило к заскорузлой цивилизованности и технократичности проспекта долю трогательного уюта, так характерного для провинциальных городов и так не свойственного Москве. Мы медленно, думая каждый о своем и все же, видимо, об одном и том же, перешли Гагаринский мост, миновали осиротевший пяточок перед Домом ткани, дошли до «Трабанта». Около машины я кинул ключи Библу, а сам впервые уселся на пассажирское сиденье. Ни слова не было сказано, да и голова была пуста. Ни страха, ни переживаний — какая-то абсолютная пустота. И дело не в том, что я не принял слова Вагнера всерьез, напротив, я сразу же безоговорочно ему поверил. Но я помнил, что у меня есть запасной вариант, и намеревался сначала переговорить с Джучи, а уж потом думать и переживать.

Я закрыл глаза и попытался задремать. В это время Библ вставил в замок ключ зажигания. Ни звука взрыва, ни боли я не услышал и не почувствовал. Лишь мелькнул на мгновение Джучи в своем красном халате, улыбнулся знакомо и пропал.

Москва пахла серой. И в опадающих с болезненной медлительностью стеклах витрин Дома ткани, и в неторопливо бредущей куда-то женщине с окровавленным лицом, и в обломках моего «Трабанта», рушащихся на перила моста, вызывая к мимолетной жизни протуберанцы гудрона, — во всем этом было что-то ненастоящее. И несущественное. словно во сне, приснившемся кому-то другому.

Казалось странным, что меня отделяет от всего этого лишнего звука и замедленного хаоса не телеэкран, а удивленно замерший Ленинский проспект. Кто-то толкнул меня сзади в плечо, кто-то пробежал мимо, и снова кто-то толкнул меня. Ползли по асфальту медлительные пятна маркеров. Из дверей магазина «Арбат Престиж», расположенного по неясной московской логике на Ленинском проспекте, выскакивали кричащие люди, и я мешал им всем. Ведь они могли чего-то не увидеть, не успеть оказаться свидетелями. Прав был Вова Маяковский, дурак, а прав. Нет ничего столь притягательного, столь сладкого и оживляющего, нежели картина разрушения, энергия распада, отразившаяся в твоих зрачках, отметившаяся на твоей линии жизни. А я — мешал.

Тем временем ленивый ветер отогнал дымовую завесу в сторону, и я увидел на удивление целый кузов «Трабанта» и два черных силуэта внутри. Сдерживая рвотный позыв, я отвернулся, и в поле моего зрения попала молодая девушка, торопливо снимающая на камеру мобильного телефона происходящее. На девушке была зеленая футболка с надписью «ALL Pigs Must Be DiLdoing». Девушка фотографировала, неосознанно улыбаясь, и периодически выдувала шарик жевательной резинки.

Потом чья-то рука легла на мое плечо. Я обернулся и увидел дремлющую голову Монгола.

— Пойдем, — сказал Монгол, — пойдем отсюда.

— Знаешь, кто был там, в машине? — пробормотал я, чувствуя, как прожигают на моем лице две неровные дорожки слезы.

— Знаю, — кивнул Монгол, — это я минировал «Трабант». А теперь пойдем, пока Вагнер не догадался, что я его надул.

— Надул?

— Вагнер не знал о твоём дополнительном шансе. Давай пошли, у меня тут машина рядом.

— Там конверт остался. Он для тебя...

— Я забрал его. Пойдем, Саш. Нам здесь больше нечего делать.

Посмертие было страшным... Суррогатная кончина, суть которой до сих пор не смогли постигнуть светлейшие мужи российской медицины, философии, теософии и ряда других относительно схоластических наук, выжала меня, как цитрус, поселилась в утробе разгневанной медузой, выжигающей внутренности физические и метафизические, опустошая душу и разнося боль от желудка по всему организму. Если в первые минуты тело и мозг, онемевшие в результате психофизической контузии, отказывались воспринимать реакцию тканей и нервных клеток, то потом шквал боли заставил меня выгнуться дугой, и только вовремя вставленная между зубов рукоять отвертки не дала мне задохнуться. Наверное, то же самое переживают больные эпилепсией. Но кроме телесных страданий меня мучили ощущения другого порядка. Мне казалось, что из меня вырезали часть МЕНЯ ЖЕ, оставив рану незашитой, и вот теперь в эту прореху исходит самая суть моего естества, делая оставшиеся крохи сиротами... Это трудно передать словами, это вообще не поддается вербальному способу изложения, как не передать словами смысл умирания звезд и рождения песка. Что за чушь — пытаться пересказать боль. Кто-нибудь измерял рулеткой любовь? Взвешивал скуку? Проходил со счетчиком Гейгера сквозь страх? Мне было плохо, но сильные руки Монгола удерживали меня на поверхности этого мира, не давая соскользнуть за зыбкую грань. Иногда меня вдруг кидало в жар, и Москва за лобовым стеклом становилось зыбкой, как неверный воздух над раскаленными углями. Это продолжалось бесконечно долго, но спустя долю вечности жар уходил и на смену ему являлся озноб, но не тот, что приходит с холодом, а судорожный, когда все части тела сводит по отдельности и только иногда они попадают в резонанс, и в такие моменты меня выгибало дугой, а зубы намертво впивались в рукоятку отвертки.

— Я не дам тебе умереть, парень, — бормотал где-то на грани моего восприятия Монгол. — Я слишком много на тебя поставил и не дам тебе умереть сейчас.

«Чего же ты хочешь от меня?! — пытался прокричать я. — Оставь меня в покое, отвали от меня. Считаю меня слабаком хоть всю оставшуюся жизнь, но только отвали!»

Это жуткое мерцание на грани, свободное падение в бесцветном пространстве моего персонального ада продолжалось недолго, но когда речь заходит о вечности, сроки теряют ценность. И потому, когда озноб (но уже иной, целительный), оцепенение и опустошенность (но то была другая опустошенность) вернули моим глазам ясность, а мозгу — способность воспринимать видимое глазами, я был на поколения старше самых старых звезд из тех, что еще жили. И в тоже время я был младше грудничка, которому только что отсекали пуповину.

— С возвращением, враг мой, — пробормотал над самым моим ухом Монгол, потом помог сесть прямо, закурил и передал мне сигарету.

...Это было стандартное кафе-стекляшка из тех, что тысячами облепили Садовое кольцо, распространяя аромат прогорклого масла и дешевых сигарет. В народе они именовались не иначе как «хачовники» (хотя большая часть подобных заведений принадлежала предприимчивым молдаванам). За подрагивающим в ненадежных пазах стеклом витрины кружилось извечное веретено Садового, лишь слегка затененное глыбой сталинской высоты на Баррикадной. Ни о какой звукоизоляции, разумеется, даже речи идти не могло. Как и о вкусе проданной нам пищи. Ведь это была именно пища... Не еда, ни в коем случае не блюдо. Пища. Для поглощения.

Сметя прямо пальцами неровно нарезанные дольки картофеля фри с третьей тарелки, я подтянул четвертую и обильно посыпал ее солью. Аппетит не пропадал, моему обновляющемуся организму требовалось огромное количество энергии на восстановление или на что он там ее тратил, уж не знаю. Есть хотелось смертельно и насытиться пока не удавалось. Смуглокожая толстушка за стойкой смотрела на меня с плохо скрываемым удивлением, переходящим в подозрение, а потом в новую волну удивления, но молчала, учитывая, видимо, что каждая съеденная мною тарелка приносила кусочек капитала в ее

маленький локальный коммунизм. Думаю, она была уверена, что я обкурился и на меня напал характерный для отходняка «свин». Монгол равнодушно помешивал пластиковой ложкой в картонном стаканчике с надписью «Kofe-net» и рассказывал, глядя за окно...

— Принесли это калики управителям московским в тот самый год, нига Саша, когда князя Шуваловы зарезали юного царя Петра Первого Мученика... Представь, как разгневались власть предержащие. Ну, калик, само собой, под нож, весть о создателе-беглеце объявили мифом неверных и постарались похоронить. Однако первоисточника так и не доискались. Скорее всего, это был блаженный инок Серафим, который, как известно, питался только болиголовом и зверобоем... Хотя мне кажется, без псилоцибина там тоже не обошлось. И вот в какой-то момент, думается мне, и ухватил Серафим истину за хвост. Только истина, она же как ящерица, хвосты отбрасывает без сожаления. Недаром же инструкторы наши с тобой говорили, что выражение «истина где-то рядом» не соответствует истине. Правильнее будет «истина ВСЕГДА где-то рядом»... В общем, никто до сих пор толком не знает, где зерна, а где плевла...

— погоди, Монгол, — пробормотал я с набитым ртом, — я не понял. Если все это не прогон, в чем ты меня пока не убедил... если все, что ты говоришь, правда, то какие могут быть калики и иноки? По твоим словам выходит, что этому миру чуть больше года от рождения... По крайней мере, он никак не может быть старше того парня. Так?

— В этом как раз ничего удивительного нет, — ответил Монгол и стащил с моей тарелки дольку картофеля. — Он, сам того не зная, вынужден был создать и время, потому что он же не Бог, он должен существовать. А существование всегда движется вдоль линии времени. Богу все равно, быть или не быть, а человеку быть необходимо. Время полярно. Другими словами, нига, если у него есть будущее, значит есть и прошлое. Появившийся мир совершенно естественно обрел и собственное прошлое, тем самым дав жизнь во времени окружающему и окружающим. Тот парень вроде как камень бросил в воду. А от камня пошли круги: в одну сторону будущее, в другую прошлое. К тому же каждый человек, населяющий этот мир, создавал собственное время и собственное прошлое в том числе. Кидал свои камни. Таким образом, мир оживал во всех направлениях одновременно. Территориально — обретая сам себя, и вдоль временного отрезка — обретая прошлое и будущее. Так что созданный год назад мир создал заодно и века до того. Пусть и необдуманно... От того парня, мне кажется, вообще мало что требовалась. Все равно созданное рано или поздно заживет по своим законам, которые могут быть параллельны замыслам создателя, а могут быть перпендикулярны. Но даже параллельные законы, как в геометрии Лобачевского, могут пересечься. Хотя и это все может оказаться оторванным хвостом ящерицы, тут на самом деле нет ничего ясного. Меня больше интересует банальный вопрос: кто был раньше — яйцо или курица? Понимаешь, получается какая-то херь, нига. Этот свинтившийся музыкант создает вроде как мир, в котором живет другой свинтившийся тип, который пишет книгу о мире, в котором свинтившийся музыкант создает мир... И так далее, нига, так далее. Это тоже круги, и я, черт побери, хотел бы найти того, кто бросил первый камень.

— Ну, а почему бы тебе не забить на все это, Монгол? Почему ты не думаешь, что был придуман вот таким, какой есть. Не согласным жить по сценарию, пытающимся что-то изменить?

— Да я пробовал... Но я ведь человек, нига, я не книжный персонаж, не песок, не что-то там еще. Меня бесит, что круги идут и идут и я просто кручусь в них, как говно в проруби, а за меня все уже вроде как решили. И я хочу постараться прорвать этот круг. Дать этому миру самому решить за себя, что и как должно быть. Понимаешь?

Я расправился с четвертой тарелкой и понял, что теперь могу остановиться. Меня одолевала сытая сонливость, но я заставлял себя слушать Монгола. Каким-то краешком недремлющего сознания я понимал, что все сказанное им, наверное, очень важно. Предельно важно. И скорее всего, именно об этом просил меня Джучи тогда, во сне у бетонной трубы. Ведь это про Монгола он говорил: поверь врагу своему. Но осознать, принять это почему-то

не получалось. Возможно, все еще сказывалось подобие контузии, которую я получил в посмертии, не знаю. Я слушал, слышал, запоминал, но никак не реагировал. Мое состояние в тот момент, пожалуй, правильнее было бы назвать инертностью. Это не совсем точно, но ближе всего к истине.

— Тогда, в клубе... погиб один... очень хороший человек. Погиб вместо тебя, — вдруг неожиданно для самого себя и совершенно не в контексте сказанного признался я.

— Безголовый. Да, я в курсе... И мне жаль. Но есть вещи, которые вынуждены происходить, хотя, думаю, они предпочли бы остаться неоправданным предчувствием. Ты даже не представляешь, сколько раз мне пришлось видеть, как ты убиваешь Безголового...

— Ты говоришь как политик. Несколько смертей во благо общего будущего...

— Поверь мне, я-то уж точно имею право так говорить, — усмехнулся Монгол и тряхнул дредами. — Но дело не в этом. Дело в том, что я не хочу больше этого видеть. И того, что будет дальше, тоже не хочу. Только для этого надо многое сделать.

Я вспомнил слухи о том, что Монгол однажды решил найти самого Ниху, или наоборот, не помню. Короче, я не стал переспрашивать. Воздух за окном словно развели синей акварелью — сумерки не спешили припасть к земле, но были уже где-то на подходе. По небу неторопливо волок свое обрюзгшее тело рекламный дирижабль. Я прищурился, пытаюсь разглядеть слоган... На противоположной стороне Садового кольца неприкаянно бродили вдоль тротуаров несколько полуобнаженных фей, настолько далеких во вспотевшем унынии своем от сексуальных идеалов человечества, что даже тонированные стекла дорогих иномарок отражали их нехотя и через раз.

— Получается, что Бог никак не влияет на человечество?

— Я не говорил этого, — покачал головой Монгол, — я этого не знаю. Пути Господни...

— Не так давно я говорил об этом... С одним хорошим человеком. Знаешь, он просил поверить тебе.

— Джучи?

— Ты до хрена всего знаешь, Монгол.

— Я просто многое помню, нига. Раз за разом я вспоминаю все круги, все камни. Я предпочел бы не помнить, но помню. И много кругов подряд я выстраивал цепь событий, пытаюсь заставить этот мир вырваться из долбаной цепи повторений. У меня кое-что получилось, Саш. Да, у старого Нигера Монгола кое-что получилось.

— Так это ты следил за мной у Ленинского?

— Я. У тебя, кстати, развился отличный нюх, парень. Не то что тогда, когда ты сдавал «три нуля».

— Так что тебе надо, Монгол? Не думай, что я поверил во всю эту хрень, просто... Я помогу тебе ради Джучи. Иначе бы я тебя послал. Поверь мне.

— Верю. Потому что и такое уже было. Да, нига Саша, поэтому я и искал Джучи, и нашел. Ты даже не представляешь, на что мне пришлось ради этого пойти...

— Монгол, что тебе нужно?

— Помощь...

Монгол вздохнул, выбил из пачки сигарету и долго чиркал зажигалкой. Кофе в его чашке давно остыл.

— Есть тут один момент... Блин, сомневаюсь, чтобы кто-то смог понять, тем более изложить словами природу связи творца и творения, нига. У беременных в корне меняется обмен веществ. А тут — рождение сущности. И отторжение... Мне кажется, этот парень крепко поехал мозгами. С каждым разом, несмотря на то, что все вроде бы и повторяется, появляются какие-то странные подробности, какая-то неправильная херня. Ты даже не представляешь, каким все это было в самом начале. Я имею в виду тот первый раз, что я помню. А до него были, уверен, и еще. И... Мне нужно, чтоб ты выручил меня. Понимаешь, есть кое-что, что должен сделать я. И никто другой этого за меня не сделает. Не вспомнит, не поймет. Мне не хочется идти на это, собственно, из-за того я всю кашу и заварил... В общем,

мне придется на это пойти. Но для этого, нига, нужно, чтобы кто-то другой мне помог. Я не смогу быть в двух местах одновременно. А этот конверт нужно доставить.

— Ну надо же... А ты не боишься доверять мне, а? Ведь я когда-то проворонил «три нуля», помнишь?

— Помню. Если бы я не знал, что ты стоишь большего, что кроме тебя никто не пройдет там, где придется теперь пройти, ты бы прошел через «три нуля». И ты проходил их, парень. А так тебе все время пришлось доказывать, держать марку, не расслабляться даже там, где другие могли работать вполсилы. Ты стал одним из лучших, Саша. Можешь проклинать меня сколько хочешь и, наверное, будешь прав, но все-таки ты стал одним из лучших. Может, даже лучшим. Ты сможешь пройти там, где нужно пройти, только ты. И это будет настоящий трип, парень, такой трип, какого не было ни у кого.

— Ты что, покупаешь меня, Монгол?

— Нет. Говорю как есть. Без тебя мне не справиться.

Я тоже закурил и смотрел на Монгола сквозь сигаретный дым, застрявший в расходящихся лучах закатного солнца.

— Так что ты от меня все-таки хочешь?

— Хочу, чтоб ты прошел под кругами.

— Не понял. Какими кру... ты вот про эти? Которые круги на воде и все такое?

— Я хочу от тебя, чтоб ты прошел под *этими* кругами и передал *этот* конверт.

— Бред... — Я затушил едва прикуренную сигарету. — Даже если бы я верил тебе, все равно это был бы бред.

— А это и есть бред, — кивнул Монгол. — Только я в этом бреде живу.

— Мой приятель ответит тебя в одну берлогу в катакомбах. Она находится на территории крысоловов, Ниху туда не забредает. Пережди некоторое время, потом я пришлю к тебе гонца. Или ты сам почувствуешь, что пора идти, — я пока не могу точно сказать. Ты должен будешь передать пакет Архивариусу.

— Кому?

— Просто запомни: Архивариус. Передай ему пакет, а он передаст его адресату.

— Монгол, — я снова выбил сигарету, но курить уже не хотелось, и я просто крутил ее в пальцах, — зачем все эти сложности, если человек, которому предназначен конверт, якобы находится в одном из твоих схронов? По-моему, ты что-то темнишь, Монгол...

— Адресат пока НЕ находится в одном из моих схронов. Но есть надежда, что он там окажется... Просто, мягко говоря, не в этот раз. А может быть, он уже там, только совсем-совсем в другом месте. Фактически в данный момент в данной Москве мой схрон пуст. А насчет «темнишь»... — Монгол затушил свою сигарету, вытащил другую из моих пальцев и снова закурил, — я был бы рад стемнить, но, похоже, уже просто некогда. Все должно идти своим чередом, нига. Все. Кроме того, что я задумал.

— Опаньки. Но ты же сказал, что Провидения нет...

— Тем более, нига, тем более.

Солнце наконец уцепилось за шпиль высотки, отчего по небу мгновенно прошлась густая тень, и я смог разобрать слоган на дирижабле: «ЕСЛИ АКУТОГАВА ГНЕВАЕТСЯ, ЭТО ПРОБЛЕМЫ АКУТОГАВЫ. ЕСЛИ АКУТОГАВА СТАРЕЕТ, ЭТО НЕ АКУТОГАВА. ЛЕГКАЯ СМЕРТЬ ОТ РЮНОСКЕ И СЫНОВЕЙ». Я усмехнулся, вспомнив одного из трех зверей доктора Вагнера... И решил заказать себе еще одну порцию картошки.

И все же Москва — город жизни. Это кажется странным, часто нелепым, а порой и просто абсурдным, однако спорить с данным утверждением не приходится. У зубчатого разноэтажного горизонта, иссеченного кладбищенскими крестами телеантенн, и около самой земли, плотно затянутой в серый бандаж асфальта, жизнь находит способы и возможности проявиться и заявить о себе, объявить во всеуслышание, или напротив, вполголоса, что, дескать, вот она — есть, и никуда вы с вашими абсурдами, нелепостями и странностями от этой данности не денетесь. Суррогатный, неестественный мир. Москвы породил подобную

себе же природу, однако вряд ли кто-то осмелится утверждать, что жизнь всегда приемлет исключительно естественное. Да и что считать естественным? Для меня, скажем, температура выше двадцати пяти градусов по Цельсию уже не кажется комфортной для существования. Но даже если откинуть — что в силу условий профессии нередко приходилось делать — все эти сибаритские замашки, я все равно вряд ли долго протяну даже при температуре в 40-50 градусов выше нуля (да и ниже тоже). Однако ученые утверждают, что и в жерлах морских вулканов шевелится жизнь, и те, кто там обитает, чувствуют себя прекрасно, а что еще важнее — естественно. А глубоководные рыбы, приноровившиеся в ходе веков эволюции к невероятному давлению? А анаконды, так легко освоившиеся с жизнью в городе совсем недавно и с таким трудом уничтоженные? Не стоит забывать и о крысах с тараканами, этих извечных спутниках человека, чемпионах по адаптации к любым условиям и ядохимикатам... Так что жизнь и понятие «естественное», разумеется, связаны между собой, но исключительно внутри видов. Я давно сделал для себя вывод, что где бы и какие бы неожиданные условия ни создавались природой или ее пасынками, непременно отыщется форма жизни, для которой именно эти условия окажутся естественными. Но и этого мало. Оказавшись в определенной среде, жизнь начинает взбрыкивать всеми конечностями, от ложноножек до каблучков-шпилек, и перестраивать сущность под насущное. То бишь менять среду естественную на еще более естественную для себя. Исходя из этого соображения, любой взгляд со стороны определит данное состояние среды как НЕестественное, но только в том случае, ежели сам не войдет в контакт с изменившейся средой. Потому что тогда ему будет уже не до размышлений и придется спешно адаптироваться: отбрасывать хвост, растить копыта, резать скот и толкать героин. Круг этот бесконечен, но не замкнут. То есть, простите за речевую диарею, он вовсе и не круг даже, а скорее уж спираль.

Условия порождают новые формы жизни, а новые формы жизни, в свою очередь, формируют новые условия существования. Так имеем ли мы право именовать природу Москвы, пусть и суррогатную по сути, неестественной? Ведь, скажем, боги местного пантеона способны существовать лишь тут, в этом конкретном городе, и нигде больше. В любом другом месте они перестанут быть самими собой и обратятся черт знает чем. Ниху — Низовой Художник, хозяин крыс и катакомб под Москвой, ДеНойз — властитель звука, скорости и Московской кольцевой автодороги, маркерная система ППС и ДПС действуют исключительно в черте города, а ряд форм растительности, как, например, мох руин, в иных местах вымирает. Здесь же стоит упомянуть и про октопусов из Москвы-реки. Да и сами люди, сами москвичи — мало кто из нас способен выжить в других условиях. Не та эргономика, не те энергия и энергетика, не то движение транспортных потоков, не та обездвиженность душ. Все не то. Москва являет собой такое невероятное сочетание сущего и сущностей, такой симбиоз или как там это еще называется, что каждый шаг, каждое движение способно породить жизнь. Впрочем, с той же легкостью жизнь здесь уничтожается. Поэтому я и утверждаю — Москва, безусловно, город жизни, причем настолько разнообразной, что познать ее во всей полноте вряд ли возможно. Скажем я, в отличие от Монгола, не был знаком с миром и жизнью катакомб. Однако пробел этот в скором времени грозил из моей биографии исчезнуть...

Пока Монгол с тихим матерком пытался просочиться сквозь забитые пробками улицы, я сидел на заднем сиденье и разглядывал самопальную диггерскую карту московских катакомб. Карта была поделена на лоскуты четырех разных цветов. Большая часть закрашена желтым цветом, по которому неровным, почти детским почерком шло тщательно выведенное фломастером пояснение: «Зона, контролируемая внутренними службами метрополитена». Меньше всего на карте было серого цвета, тем же почерком надписанного: «Гаммельн, территория крысоловов (безопасно)». Кусок карты чуть больше был закрашен красным карандашом и обозначался как «Ареал Ниху». Все остальное пространство, лишь ненамного меньше, чем зона метрополитена, осталось нетронутым.

— Монгол, а кому принадлежат незакрашенные области? — спросил я, не отрываясь от карты.

— Никому, — ответил Монгол, — это либо спорные территории крысоловов и Ниху, либо нейтральные. Большая часть нейтралки не изучена. Диггеры чаще бывают на территории Ниху, чем на нейтралке. Говорят, даже у Низового не так опасно.

— Даже так...

— Кресты видишь на белых пятнах? — Монгол бросил на меня быстрый взгляд в зеркало заднего вида.

— Угу, вижу. — По карте именно в белых районах было проставлено с десяток черных крестов.

— Это глубокие провалы, тоннели вниз. — Монгол прервался на ритуал долгого щелканья зажигалкой и прикуривания. — И диггеры уверены, что они ведут непосредственно в преисподнюю. Только один из них рискнул туда спуститься, да и то только потому, что терять ему было нечего. Но он никому и ничего не расскажет.

— Почему?

— Потому что этот диггер — я.

Мы продвигались рывками в очередной пробке где-то в районе Красных Ворот. Над перекрестком на столбе блестело пятно маркера ДПС, но он даже не пытался повлиять на движение. В час пик это было бесполезной тратой энергии.

— Я так понимаю, никакой преисподней там нету, — сказал я.

— Есть, но она чуть ниже. А как раз с того уровня в преисподнюю ведут ворота...

— Вот как... А на том уровне тогда что?

— Третье метро...

— Ого. Ты хочешь сказать, что...

— Я тоже бы не поверил. Но ты скоро сам все увидишь.

— Подожди. То есть это все правда — черная бригада, открытые поезда, стальной причал, подземное море?

— Все, — затылок Монгола качнулся, — до последней буквы в легенде.

— Тогда я, пожалуй, не откажусь оказаться чуть ближе к преисподней... — усмехнулся я и потянулся за сигаретами.

Немногим не доезжая до улицы Академика Сахарова, Монгол сбросил скорость, а потом припарковался напротив высокого серого дома с узкими окнами-бойницами и мрачными мавританскими арками, наглухо забитыми тяжелыми воротами. Небо хмурилось совсем низко, облака на глазах пропитывались тяжелой синевой. Дождичек бы, в общем, не помешал бы при такой духоте... Минуты через полторы в створке арочных ворот открылась неприметная с первого взгляда калитка, и наружу, перешагнув высокий металлический приступок, вышел крепенький мужичок лет под пятьдесят. На мужичке была классическая спецовка, слегка даже присыпанная чем-то белым. Впрочем, и по комплекции хозяин спецовки вполне бы мог во времена оно пробавляться, таская вверх-вниз мешки с зерном и мукой. Сейчас, пожалуй, таких профессий уже и нет...

— Приглядишься, — не оборачиваясь велел Монгол, и я пригляделся. Первое, что сразу бросалось в глаза — красное лицо, какое бывает только у здоровяков из Нечерноземья либо у гипертоников. Но гипертоника мужик не напоминал никак. Кто кого передавит... Когда он повернулся к нам спиной, я углядел на его спецовке трафаретную надпись: «ЗАО «ШОЛОМ». ОБЛИЦОВКА. БЫСТРО, НЕДОРОГО, КАЧЕСТВЕННО». Не обращая на нас внимания, мужичок вынул из кармана изрядно смятую пачку, выбил сигарету, и неторопливо, как-то даже степенно ее раскурил.

— Это Облицовщик, — не оглядываясь, пояснил Монгол, — твой проводник. Старый диггер, не подведет. Но он отведет тебя только до крысоловов. Дальше придется идти самому... С картой разберешься, курьер?

Я кивнул, открывая дверь.

— Тогда вот тебе еще небольшой подарок, — Монгол сунул руку в бардачок и достал оттуда старую опасную бритву, — пригодится.

— Поиграем в Хичкока, — делано усмехнулся я и вылез из машины.

Облицовщик затушил недокуренную сигарету об ворота, глянул на меня глубоко посаженными глазами и снова исчез в калитке. Я двинулся за ним. Когда густая арочная тень накрыла меня огромным капюшоном, Монгол вылез из машины и окликнул меня:

— Эй, нига!

Я обернулся.

— Там внизу можешь наткнуться на Слепого Сторожа. Передай ему привет от меня. Но не слушай его, он придурок.

— Мне бы еще добраться до низа, — ответил я.

— Доберешься, — усмехнулся Монгол и тряхнул дредами, — куда ты денешься.

— Зря обернулся, — вздохнул я и шагнул в калитку.

Круг четвертый ТИГРОВАЯ МАНТРА

Никогда бы не подумал, что Москва может так долго гореть. Так упорно, так по носорожьей упрямо бить в небо пизанскими башнями дыма и гореть наперекор бетону, арматуре, стеклу. Даже каменный Кремль, от которого теперь остались только руины, развалы красно-кирпичных груд, да нелепо покосившийся остов Спасской башни, — там-то чему гореть? — ан нет, уже который день все дымится и дымится... Словно само тело земли тлеет, выписывая черные письма по низкому серому небу... Как на картинах всех этих неоготических художников, имена которых никогда не запоминаются. Очень похоже. Особенно на одного... хм... не помню имени. Его, кстати, ослепили. Чтоб не повторил... А потом то ли утопили, то ли задушили... Или он сам повесился, не знаю точно, не моя была смена.

Да, Москва горит... Под тихое нутряное гудение киноаппаратуры, фиксирующей историю города для архива, под щелчки автоматических цифровых камер, фиксирующих то же самое с той же целью, под едва слышный скрип сейсмологических самописцев. И в то же время только для меня, *only for...* Это я стою чуть левее окна и выглядываю сквозь жалюзи наружу, страшась шальной, а то и злонамеренной, снайперской пули. Я — последний архивариус этого города, перешагнувшего девятисотлетний рубеж, чтобы быть в очередной раз разрушенным варварами и снова подняться из пепла, — а он поднимется, законы исторических циклов никто не отменял, — отстроиться, измениться согласно новым условиям и быть в очередной раз сожженным новыми варварами, рожденными новым городом, возвысившимся в новых условиях. На новых костях, если хотите. Исторические условия развития государства — универсальны и неизблемы. Как физические законы и человеческие суеверия. Впрочем, нечеловеческих суеверий не бывает.

Помнится, во время студенческой архивной практики я наткнулся на летописный документ, повествующий о разорении Москвы татаро-монголами. Документ этот не оставлял сомнений в том, что город был сожжен дотла, о чем, впрочем, и так было известно. Но он невероятно заворожил меня своей поэтичной циничностью. Спустя десять лет, когда я сам стал архивариусом Москвы, я нашел этот документ, и с тех пор он постоянно лежит на моем столе.

«Взяша Москву татарове, и воеводу убиша Филипа Нянка... А князя Володимера яша руками сына Юрьева, а люди избиша от старьца и до сущего младенца; а град и церкви святыя огневи предаша, и монастыри вси и села пожгоша и много именья взямше отъидоша».

Однако же вот: стоит снова, и снова горит. Так что единственное, о чем не стоит

беспокоиться сегодня, это о судьбе Москвы. Я не беспокоюсь.

К тому же документу прилагается отчет археологической экспертизы, где сказано: «То обстоятельство, что 19-й и 20-й пласты не различаются по вещевому материалу, объясняется отсутствием сколько-нибудь значительного перерыва в существовании города, который, видимо, восстановился после татарского разорения очень быстро. В противном случае здесь была бы какая-нибудь стерильная прослойка либо разрыв в датах находок, как это уже приходилось констатировать для других периодов. При новом строительстве города, возможно, производились какие-то перекопы более древних слоев. На это указывает, например, находка в 19-м пласте раскопа VIII серовато-зеленой цилиндрической стеклянной бусины, какие датируются обычно X-XII вв...» Ну, и так далее. Надо заметить, что Риму (первому Риму) повезло меньше. Как ящерица хвост, Москва отращивает будущее в любых обстоятельствах. Я предполагаю, что собака зарыта даже не в самом этом городе, то есть не в камне, фундаментах и арматурных сетях, а в его природе, в жизни Москвы, в этом органико-неорганическом симбиозе, который существует независимо от внешних факторов. То есть даже уничтожение города является вполне органичным действием в природе данного образования, не влияющим на сам факт существования синтеза, а лишь обозначающим новый виток эволюции странной псевдобиологической формы существования. А может, даже и не виток, а продолжение цикла. Пепел же удобряет... Время соответственно лечит.

Но все же, что может так долго гореть? Внизу вокруг башни мечутся черные точки. Смешно, но факт: единственное место, куда так и не прорвались варвары, — Останкинская телебашня. Остатки одной из тигровых манипул Фальстата отошли к ней, умело заминировав подступы. Сюда же подтянулась рота милицейских маркеров и разрозненные группы городского ополчения — смешных бородатых то ли академиков, то ли мелких бизнесменов, не знавших, что таким образом они не только от налогов ушли... И не столько. Вот эти-то двести, кажется, человечешек (отсюда, сверху, особенно ясно видно, сколь ничтожно их количество) и удерживают пока Останкинскую телебашню. А значит, и Городской архив, коим я волею судьбы заведу в этот час. И надо заметить, я благодарен этим людишкам. Мне бы очень не хотелось активировать механизмы автоматического уничтожения архивов. Да и за собственную жизнь отчасти...

...Но вот в небо ударил новый столб дыма. Это где-то в районе станции метро «Тульская», там, где небо уже не затмевает надменный зеркальный уродец налоговиков. Там-то есть чему гореть, одна Градская больница чего стоит с ее деревянными перекрытиями позапрошлого века... Но, право, чтоб с такой силой и сразу... Скорее всего, взорвали опять какой-нибудь склад или хранилище ГСМ. Надо бы порыться в архивах, посмотреть, что там у нас прятали... А впрочем — все прах. Всего не отрыть, за всем не уследить... Пусть уж завтрашние историки и аналитики делают выводы. Мое дело — хранить накопленное. И наблюдать. Тем более, что с минуты на минуту заглянет капитан Вацлавски, а я обещал ему чай.

— Газмазня. Г'яжданская газмазня, господин Айхивагиус, вы уж пгастите мне мой гнев солдафонский, но слов нет. Зачем же надевать фогму? Чтоб пазогить? Ведь не под пули в атаку посылаю. За пговьянтом! Что б им же было чем бгюхо набить. Сегют! Сегют за мины соваться, пгохиндеи! Пгостите еще газ.

Пока капитан привычно разорялся и клял на чем свет стоит «г'яжданское отгебье», то есть ополченцев и отчасти маркеры ДПС, я неторопливо заваривал чай. По-нашему, по-архивному. Засыпал в трехлитровую банку полную пачку индийского «со слоном», залил холодной водой, взболтал да и воткнул непосредственно в сердце круговорота кипятыльник. Сзади Вацлавски дробно выкатил на оргалит обещанные еще со вчерашнего вечера конфеты. Собственно, так и уговаривались, по-джентльменски — тихий междусобойчик с конфетками, чифирем и заведомо стариковскими разговорами о судьбе державы и распутстве дам.

Москва не унимаясь чадила во всю силу легких в то утро, ретушью дыма секла

горизонт и мертвила естественную синеву неба. Да и не синеву уже, разве в таком пожаре небо бывает синим? Что-то асфальтовое проступило сквозь редкую синь, да и ту сильно затеняли низкие и беспокойные тучи-облака. От этого отчетливо представлялось, что уже совсем скоро осень. Но стоило бросить взгляд вниз, и становилось видно, что качается чудом уцелевшая береза, все еще упрямо зеленая во всем этом отрезвляющем двуцветии войны и разора. Без очков все размыто, и береза очень похожа на куст водорослей, легко пригибаемый течением. Что ж, это лучше правды. Однако я архивариус, «кгыса айхивная», как сказал бы, наверное, капитан... Я приучен смотреть на то, что есть.

Изредка солнце все же прорывало серую завесь, и тогда по полу беспокойно металась неуместная сетка теней, которым вроде бы и неоткуда было взяться при таком-то небе. Как тень от ажурной решетки... Ох, что-то потянуло меня на лирику да символы.

— Каковы ваши прогнозы, господин капитан, — спросил я, отвлекаясь от вида из окна, — придет Фальстат выручать свои манипулы или следует ждать худшего?

Вацлавски мгновенно спал с лица. Он если и походил на военного, то никак уж не на командира одной из легендарных тигровых манипул, куда, как известно, брали исключительно полевых, проявивших себя в бою офицеров.

Напротив, Вацлавски, пожалуй, напоминал такого сельского бухгалтерешку, человека весьма уважаемого в узкой общине своей и даже газеты столичные порою почитывающего. В общем, чеховского такого человечка. Того, что ноль уже в ближайшем городе, но знает три фразы на латыни и периодически шокирует этим сельский люд. Другими словами, был капитан Вацлавски невысок, краснолиц, склонен к полноте и к тому же имел вместо шевелюры нечто похожее на пушок младенца. Право, не знаю я, что передо мной сидит полевой, увешанный боевыми наградами офицер, к тому же капитан тигровой манипулы... Не знаю, не знаю...

— Фальстат не пгидет, — словно решившись, твердо отчеканил Вацлавски, — и я бы на его месте не пгидел ни за что. Люди пгегде всего, а он и так пгоявил себя мудрым военачальником, сумев спасти в этом инфегнальном багдаке часть бойцов из манипул и пгиданные войска. Нет, Фальстат не пгидет... Но и отчаиваться, уважаемый Пётг Петёвич, ни к чему. Пгодержимся недельку, а там видно будет. — Вацлавски вдруг, словно вспомнив о чем-то, хлопнул себя по карману, а потом извлек из него... пачку сигарет... «Winston»! Лицо у него при этом было как минимум как у героя Пелопоннеса. Впрочем, правомерно...

— Черт побери, капитан! Да вы совершили чудо! Как вам это удалось?

— Мои гвагдейцы одагили. В последней вылазке за пговьянгом была обнагужена табачная точка. Все не вынесли, но... Авось еще наведаемся!

— Тогда, может, и есть смысл продержаться неделю, — усмехнулся я, подходя к столу и с удовольствием угощаясь сигаретой. Не курил я... постойте... ну да, неделю!

...Сквозь оргалит, неплотно прилегающий к столешнице стандартного конторского стола двадцатилетней выдержки, нелепо проглядывали два склеенных скотчем листа бумаги с выведенным фломастерами заголовком «МЕДИАПЛАН». «Какие уж теперь планы», — предательски мелькнуло в голове. После первой же затяжки, видно, с непривычки, приятно закружилась голова.

— Чегтовски пгятно, не пгавда ли? — усмехнувшись, поинтересовался Вацлавски, отламывая от сигареты фильтр и прикуривая ее с обратной стороны. — Жаль, легковаты... мы п'ивыкли к вейбьюду без фийт'а... ай, да что теперь. Багдак, беспогядок и неизвестность... Извечная гусская действительность, если вдуматься. Экспьессивность, конечно, свою голь игъяет, но в целом — все, как всегда...

«Вот и державные страдания», — подумал я, отходя к банке закипающего чифирия. В этот момент в окне что-то ослепительно блеснуло. Я отогнул полосу жалюзи и пригляделся. В районе храма Христа Спасителя полыхало гигантское костровище. Самого храма, по всей видимости, уже не существовало.

— Мегзавцы, — сквозь зубы пробормотал подошедший капитан, — ничего святого не осталось у этого нагода.

— Не в первый раз, впрочем, — заметил я, выключая из сети кипятильник, — кстати, капитан, вы проверили генераторы башни? Не грозит нам оказаться без электричества?

— Да-да, пговегил, — все еще глядя сквозь жалюзи, пробормотал Вацлавски, — но вы подумайте, какие мегзавцы. Все-таки, — капитан резко отошел от окна и вернулся за стол, — все-таки, уважаемый Пётг Пётгович, пгав был Фальстат, стопгоцентно пгав! Беспогядок. Надо. Выкогчевывать. Силой. Гастьелы, тьюмы, газенвагены, в конце концов! Если этот нагод не запугать, он становится неуп'являем и... И взгывает х'ямы!

— Во-первых, это уж было. А во-вторых, вас бы ненавидели, — заметил я.

— А, это егунда... Не впегвой. Ну, что там наш чаек?

— Готов, доставайте чашки.

Капитан кивнул на ближайший шкаф, одна створка которого хронически не закрывалась из-за переполнявших его свертков ватманов. Другая половина издревле служила буфетом для нас, архивных крыс, и для архивных тараканов, которых, кстати, с момента начала смуты я не замечал. Кроме чашек, банки с сахаром и трех спичечных коробков с солью там валялись две таблички из коллекции моего сменщика, Тихунова Ярослава Андреевича, по кой-то черт коллекционировавшего такую вот «егунду»: одна синяя, с цифрой 18, служившая, очевидно, некогда номером дома, а вторая поинтереснее, с выведенными трафаретными надписями: «Ремонт крыши завода «Егерьмаш» проводит бригада РСУ «Мостострой» по главе с прорабом_____». Помнится, это служило некоторое время темой для шуток. Строители мостов чинят крыши...

— Потому и крыши у нас такие, — сказал тогда я.

— Да, — кивнул Ярослав, — и мосты.

А про табличку с цифрой 18 он говорил так:

— Я же практически помог людям. Кому же приятно жить под числом зверя?

— Но число зверя — 666... Ах ну да, ну да, понял. Три шестерки — восемнадцать. Занятно.

Вацлавски, впрочем, не обратил на таблички никакого абсолютно внимания и, выбрав большую пиалу, вернулся за стол.

— Я ж ведь тоже об ином мечтал, — говорил он задумчиво, пока я переливал чифирь из банки в пиалу, — я ведь по сути... Ну, не военный человек по гождению. Так уж кагты легли, или кости выпали, чегт его поймет... Я ж ведь из семьи учителей. Вот к чему у меня душа лежит. Жить в сосновом богу... Чтоб, знаете, этак уютно пасмугно было, ели под окнами, сосны, туя... Дети носятся... Мечты, конечно. А тут еще эти газгильдяи, кгысы тыловые, пгостите гади Бога, негвы не выдегживают... Ведь не под пули отпгавляю, чегт их побегит!...

«Ну-с, — подумалось мне, — начнем с самого начала-с».

Некоторое время мы молчали, с удовольствием морщась и отпивая ядреный чифирь из мгновенно почерневшей нутром пиалы. Потом в ход пошли шоколадные конфеты, добытые гвардейцами Вацлавского. С улицы доносились гулкие отголоски далеких взрывов да рвущаяся ткань автоматных очередей. Но поблизости было тихо. Варвары, мародерствующие и жгущие Москву, не желали рисковать без надобности и к минному заграждению близко не совались. По крайней мере последние два дня. А тех, что тем не менее появлялись, без труда снимали засевшие в помещении ресторана «Седьмое небо» снайперы Вацлавского. Эхо канонады и стрельбы весьма органично вписывались в фоновый рисунок этого утра, заменив собою вечный шум со стороны автодороги и прочие звуки, образующие московскую тишину. Что, собственно, лишь подтверждало мою теорию о непрерывности жизни этого города. Великого города, поистине вечного, в отличие от исчезнувшего два года назад Рима, который был поглощен взалкавшей жертв планетой. Неповрежденным в результате локального раскола земной коры оказался лишь Ватикан, что, разумеется, тут же было воспринято как благоволение Господа к святой территории. Голоса немногих геологов, утверждавших, что причина этого кроется в расположении Ватикана вне

зоны сейсмологической опасности, легко затерялись в общем хоре выгаркивающих типографскую аллилуйю СМИ. Москва же существовала не просто в пику катаклизмам, а переваривая их, впитывая, обращая частью собственного естества...

— Скажите, капитан, — обратился я к Вацлавски, когда первая пиала была опорожнена, а вторая еще не налита, — а как случилось, что войсковая элита, тигровые манипулы Фальстата, так... хм... бесславно проиграли битву за Москву плебеям?

— Позогно, Перг Петъевич, позогно. Давайте называть вещи своими именами. Тем более, что именно так будет пгописано в скъйжалях истогии. Но... это не совсем пгавда. Всех этих плебеев, как вы изволили выгазиться, мы бы газметали, как туалетную бумагу, выходя из согтига. Это же не войско, а банальное, пгостите, быдло, котогое следует давить исключительно кавалейгайдскими сапогами. И шпогами гвать. Однако пги газгаботке плана пегевогота не были учтены инфегнальные силы гогода. Да и кто мог пгедположить, что они так экст'енно активизигуются? И еще эта Твай. Вот вы, Пётг Петъевич, можете мне сказать, что это за Твай такая?

— Не могу, капитан, увы. Сам ломаю голову над этим вопросом много дней. Теорий легион, а истины ноль.

— Вот и я не могу, — вздохнул Вацлавски, — но стгашная чегтовка. Еще две-т'и таких атаки, и могут не выдегжать даже бывалые гвагдейцы. Что уж пго этих тгусливых мегзавцев-ополченцев говогить... Я, п'изнаться, сам едва не обосгался, когда ее увидел...

— Однако, похоже, Тварь не очень заинтересовал наш маленький гарнизон, — заметил я.

— Уповаю на это, — снова кивнул Вацлавски и потянулся за сигаретами. Я поспешил последовать его примеру — когда еще доведется покурить по-человечески? — А каковы ваши планы на ближайшее будущее, Пётг Петъевич?

— Планы? — Я усмехнулся, чувствуя, как приятно тяжелеет голова от только что опорожненной пиалы чифиря, наполняясь одновременно странной, немного туповатой бодростью, — планы-то есть. У меня со всей этой войной и неразберихой появилось неожиданно масса свободного времени, чтоб разобраться, наконец, вот с этим. — Я кивнул на грудку канцелярских папок, видеокассет и CD-дисков, сваленных горой на трех составленных в углу столах вроде того, за которым мы чаёвничали, — там есть документы аж семилетней давности, но все как-то руки не доходили. Теперь же с Божьей помощью разгребу бедлам.

— А хотите, я вам помощников пгишлю? Кого-нибудь из гьяжданских? Все йавно внизу от них помощи ни чегта не дождешься.

— Буду вам весьма благодарен, — согласился я, поскольку помощь действительно не помешала бы.

Я взял банку и аккуратно перелил в пиалу остатки чифиря. Вацлавски развалился на стуле и даже расстегнул верхнюю пуговицу кителя. Утро обещало быть приятным...

— Приступим, капитан...

Но в тот самый миг, когда я взялся за пиалу, хрипло ожил вдруг уоки-токи на груди Вацлавски.

— Сокольничий, это Гнездо Один. Вижу приближающегося противника, у них танк с минным тралом. Сокольничий...

— Вот чегт, — выругался Вацлавски и схватил рацию, — Гнезда! Снимайте всех, кого сможете. На гедутах — к бою, гуабицы газвегнуть навстгечу пготивнику! Если танк доползет до минного загьяждения — шкугы поснимаю! — Последние указания капитан отдавал, уже подбегая к дверям лифта, который вел непосредственно в архив. — Пгостите гади бога, Пётг Петъевич! — крикнул уже из лифта Вацлавски, — служба, мать ее газъетить.

И вновь я занял свое место чуть левее окна, по-детски забравшись на высокий архивный табурет коленями, чтоб видеть происходящее внизу. Отгибая полосу жалюзи, заметил, что между пальцами все еще тлеет сигарета. Мгновением позже отметил, что руки

уже не трясутся, как в первые дни. Да и в целом чувств поубавилось. И что тоже показательно, я уже не кидаюсь первым делом к ящику стола, в котором, прикрытый по привычке газетой, лежит старый парабеллум профессора Минина. В первый-то день, припоминая, все гадал: выстрелит, не выстрелит? — и с тоской разглядывал пятнышки ржавчины на стволе. Тогда еще не было ни тигровых гвардейцев, ни ополченцев, ни маркеров ДПС. Больше неизвестности. О том, что со временем станет привычным существование между двух миров, в осажденной башне, окруженной кольцом минного заграждения, я не думал. Что в такой обстановке буду пить чифирь с капитаном тигровых, — тем более. Да я и не поверил бы, скажи мне об этом кто другой.

Внизу тем временем дымилась в нескольких метрах от минного заграждения чернотелая коробка танка. Сквозь дым иногда — не часто — прорывались языки беспокойного пламени. В какой-то момент распахнулся башенный люк, но наружу так никто и не вылез. Больше я ничего разглядеть не сумел, хотя откуда-то сверху, видимо, с того самого Гнезда Один, доносились редкие щелчки выстрелов.

Ну и ладненько. Я слез с табурета, морщась от боли в давно беспокоившем колене, и вернулся за стол. Пить одному чифирь не хотелось. А вот любезно оставленные Вацлавски сигареты оказались как никогда кстати, и я прикурил одну от другой. «Я же часть этого города, я тоже его жизнь, его природа. И если природа в целом способна продолжать движение в подобные моменты, то почему бы и мне не сделать того же? Правда, меня, в отличие от природы, без труда остановит пуля, но...» Но пока этого не произошло, а мысль об этом стала привычной, и возвращаться к ней я не видел смысла. Под мерное стрекотание снайперских СВД и привычный уже гул далекой канонады я закинул ноги на стол, глубоко затянулся и едва не задремал.

Лишь мысль о превратностях человеческой жизни и способности человека к адаптации вернула меня к реальности. Впрочем, не сразу. Открыв глаза, я не услышал уже выстрелов снайперов, зато откуда-то снизу доносились грозные выкрики капитана Вацлавски: «Гаспиздзя гъёбанные, опять обосгались!!! Умогю голодом пидегасов!!!» Все это стало частью моей реальности, моего бытия, моего движения вдоль неровной оси времени в сторону далекого, как морской горизонт, будущего. И такого же, если вдуматься, недостижимого. «Будущего нет, — говаривал мне мой куратор в период прохождения архивной практики, — есть надежда протянуть дольше отведенного тебе срока». Профессора Минина, совершенно, кстати, внешнестью не соответствовавшего своей фамилии и весьма лицом и буйной седой шевелюрой напоминающего Эйнштейна, застрелили в неразберихе тигровые гвардейцы. Впрочем, тогда многих постреляли...

Между прочим, именно профессор Минин обучил меня искусству чифиря. И это, надо сказать, не шутка. Готовить его и принимать кое-как ни в коем случае нельзя, так как в плане вреда здоровью чифирь способен дать фору многим известным наркотикам.

Чифирь — это не просто крепчайше заваренный чай. Его надо долго кипятить, поскольку только в этом случае экстрагируется тот самый приносящий удовольствие алкалоид (гуанин), ради которого, собственно, все и затевается. При обычной заварке он в чай не входит. Мало того, даже верный цвет чифиря имеет громадное значение, и, скажем, светлые чифири только вредят здоровью, гуанин в них малодейственен. Недаром само слово «чифирь» происходит от сибирского местечкового «чихирь», что означает любое скисшее, испортившееся, перебродившее дурманящее средство темного цвета. Дабы из чайных листьев вышел весь гуанин, можно добавить немного молока и масла. Чифирь получится значительно крепче и сильнее по воздействию, но и отходняк будет тяжелее. Кроме того, во времена тотального запрета на алкоголь (а такие времена периодически наступали на территории России и бывшего СССР) в чифире открылась еще одна немаловажная грань. Тогда, помнится, многих принудительно кодировали и зашивали. А чифирь не содержит водки, потому даже при кодировании и со вшитой ампулой легко усваивается организмом.

Всем этим премудростям профессор Минин обучился у истинных профессионалов своего дела, проведя некоторое время в самом начале пятидесятых годов в местах не столь

отдаленных, как их принято называть. Эти сакральные знания он обменял на передние зубы, часть из которых была выбита ударом приклада, а другая выпала сама собой из-за острой нехватки кальция и витаминов.

Надо заметить, что со мной профессор Минин поделился не только этими крайне полезными сведениями. Он дал мне и многое другое. Именно благодаря его лекциям и кураторству я заинтересовался перманентным настоящим Москвы, хотя до того меня волновала совершенно другая тема. Я тогда работал над загадкой Чаши Грааля. Теоретической, разумеется. Меня очень интересовал тот факт, что этот христианский символ (а ведь даже Крестовые походы велись во имя Гроба Господня и Чаши Вечери) непосредственно в главных документах христианства практически не упоминается. О нем ходят мифы и легенды, но Библия упорно молчит, да и появление самого мифа именно на Британских островах, на периферии христианской истории, в тот момент казалось удивительным. Впрочем, теперь об этом вспоминать смешно, я давно сменил Чашу Грааля на пиалу с чифирем, а мифы и легенды — на действительность и архивные папки. И не жалел об этом. Меня вполне устраивал такой ход вещей. Вот только парабеллум все же стоило почистить.

Вылив в раковину остывший чифирь и ополоснув чашку, я некоторое время посвятил осмотру аппаратуры и замене обоев с видеокассетами и CD-дисками, лент и картриджей с краской для сейсмографов, а также прочего технического оборудования архива. На все это у меня ушло чуть больше двух часов. Подойдя вновь к окну, я обнаружил, что танк дымиться перестал и лоснится влажными боками, а по его броне ползают черные фигурки тигровых гвардейцев.

Различать людей внизу я научился достаточно быстро: серые фигурки — ополченцы, черные — бойцы тигровой манипулы, неясное марево — маркеры ДПС, все остальные — враги. Все остальные. Простота не только сестра гениальности, но верный спутник живого человека. Даже в том случае, если в городе остались мирные жители, цель которых — не уничтожить зарвавшийся (а что ему остается) гарнизон, а спастись, — таких окажется немного. И потому отданный снайперам Вацлавски приказ отстреливать всех приближающихся людей, за исключением одетых в форму тигровых манипул и женщин, я считал пусть и не совсем гуманным, но разумным. Впрочем, о какой гуманности может идти речь в такое время... Философия, да и вообще любая гуманитарная наука теряет ценность, разбиваясь о волнорезы сути и настоящего момента. Когда же речь заходит о жизни и смерти не в философском, а в утилитарно-прикладном ключе, то моральные ценности и приоритеты цивилизации тускнеют, как бронза, покрываясь патиной необходимости, а то и коррозией безысходности. Мне как архивариусу этот аспект был ясен изначально, а слабый ропот со стороны ополченцев умолк после того, как в первый же день осады за кордон был пропущен старичок, активизировавший пояс шахида в тот момент, когда его обступили сердобольные ополченцы. Погибло двенадцать человек, еще трое позже скончались от ран. И я, разумеется, догадываюсь, что старика вынудили пойти на этот шаг, угрожая его родным или каким-то подобным способом. Но это понимание никак не влияет на мое сиюминутное мировоззрение. Как и тот факт, что несчастный мирный житель, если он не является женщиной и не запасся формой тигровых манипул, но я рассчитывает на помощь и укрытие под сенью Останкинской башни, безусловно, не согласится с моей позицией. Но это уж дело аспектов.

Гулко ударили полчаса старые часы, подаренные некогда архиву города Музеем современной истории. И хотя часы эти не были ровесниками очередного русского бунта, его время они отсчитывали четко и без сбоя, как и положено любому экспонату архива. Я с тоской оглянулся на груды неразобранного материала, вздохнул и решил, что еще одна сигарета ни на что не повлияет. Даже на здоровье.

Понятия не имею, что представляли собой бойцы ополчения как солдаты, но в деле расчистки архивных завалов они пришли весьма кстати. Едва первые сумерки заглянули в

окно, как два профессорского вида рядовых и один ефрейтор с лицом студента-микробиолога уже растаскивали освобожденные столы. Надо заметить, что работать в архиве им понравилось намного больше, чем выполнять свои военные обязанности. Кроме меня и ополченцев, в архиве находился боец тигровой манипулы. Приведя ополченцев, он встал слева от двери, заложив руки за спину, и с тех пор, кажется, даже не моргал. Однако вроде бы дышал, из чего я сделал вывод, что он не мертв.

Темнело быстрее, чем обычно в это время года. Из-за дыма, по всей видимости. Зажигать свет в помещениях, где есть окна, Вацлавски запретил категорически. Так что я перенес настольную лампу с классическим абажуром зеленого стекла в кладовку, служившую некогда для проявки пленок, и вечерам там. Надо заметить, что кладовка эта была моим маленьким убежищем и лекарством от развившегося у меня вдруг страха темноты. Когда приходило время укладываться спать, я выключал настольную лампу и включал красную подсветку. Спалось, надо заметить, великолепно.

Заметив, что работа закончена, гвардеец ожил и увел ополченцев. Начал ли он при этом моргать, я не заметил. Вполне может статься, что и нет.

Я постоял некоторое время в нерешительности и решил согреть на ночь чайку, благо спать пока не хотелось и можно было немного посибаритствовать в кресле с книгой в руках. Тем более, что я мог позволить себе такую небывалую роскошь, как сигарета перед сном. Я как раз собирался споласкивать ту самую банку из-под чифиря, когда вдруг разразился серией хриплых трелей телефон на моем столе. Банка вырвалась из рук, упала на стальное дно раковины и разлетелась в осколки. Что касается телефона, то он зазвонил впервые с тех пор, как я стал заложником телебашни.

— Да, алле...

— Пётг Петъёвич! — ответил мне искаженный, но вполне узнаваемый голос капитана Вацлавски. — Почему вы так долго не бегёте т'юбку? Я гешил, что у вас там что-то пгоизошло.

— Я... хм. У меня все нормально. Без происшествий, как у вас, у военных, принято выражаться. Вот, хотел книгу полистать да спать лечь...

— Пётг Петъёвич, боюсь, что чтение вам в'еменно п'идется отложить. Мне очень жаль, но в Интейнет выхода нет, и вообще из телефонов габотают только внут'енние, так что мне понадобится ваша помощь. П'ежде всего, не говогит ли вам что-нибудь имя... или тегмин... чегт знает, когоче — Тейсинтай?

— Разумеется, говорит, — ответил я, — как, впрочем, и любому историку.

— П'ек'ясно! Чегез минуту я буду у вас, — объявил Вацлавски и бросил трубку.

Я вздохнул и огляделся. Пачек пять чая у меня еще оставалось, а вот с банками было хуже. И этот баночный кризис беспокоил меня куда сильнее, чем некогда банковский...

Выйдя из освещенного лифта в темный архив, Вацлавски тут же обо что-то споткнулся, чем-то загремел и немедленно заглушил все это очередью такой отборной брани, что мне невольно подумалось: нашим гусарам все еще есть чем гордиться, чейт побеги.

— Темно, как у нег'я в... г'ябу, — закончил тираду Вацлавски и остался стоять, видимо, давая глазам привыкнуть к полумраку, царящему в архиве. — Так что там с этим тегмином, Пётг Петъёвич?

— Тейсинтай, капитан? Хм... Так назывались отряды добровольцев-смертников в армии Японии периода Второй мировой войны. Их философия основывалась на «Бусидо», но я тут не специалист. Знаю лишь, что это морально-религиозный кодекс самураев.

— То есть д'югими словами, — странным голосом уточнил Вацлавски, — это камикадзе...

— Не совсем так. Камикадзе — лишь одно из подразделений Тейсинтай. Кроме воздушных смертников, в Тейсинтай входило множество других подразделений. К примеру, кайтен — смертники на управляемых торпедах... М-м... На... хм... Филиппинах применялись смертники на моторных катерах... Я, к сожалению, никогда этой темой особенно не интересовался, капитан. Просто у меня, так сказать, профессиональная память.

Но это все, что я могу вот так с ходу вспомнить из лекций по Второй мировой...

— Пётр Петёвич, — прервал меня Вацлавски, — боюсь, что вам пгидется пегеночевать внизу, в лагее...

— Но почему?

— Вот, извольте... Чегт, пойдёте в кладовку, вам нужно ознакомиться с весьма занятым документом.

Мы прошли мимо высоких, в три человеческих роста, стеллажей, упиравшихся в потолок архива еще в те далекие времена, когда я весьма смутно представлял себе свое место в этой Вселенной. Это была самая старая часть хранилища, она и пахла так, как пахнут лишь нежилые помещения: старым деревом, истлевшей бумагой, благородной пылью. И хотя документы непосредственно в архиве хранились не дольше десяти лет, саму мебель и обстановку не обновляли со времен строительства башни. То бишь с 1967 года. Расположенный примерно в середине полукилометровой трубы Останкинской башни, архив был единственным отделом, который не подвергся тотальной модернизации после пожара. Архив был, простите за тавтологию, архаичен, и меня это устраивало. Мне нравилась эта странное ощущение выпадения из настоящего. Возможно, именно для того, чтобы качественного с исторической точки зрения фиксировать настоящее, архив словно оказался вообще вне времени. Да, разумеется, старилась мебель, старились и уходили работники архива, увозили раз в десять лет документы. Но само это место так прочно удерживало свои позиции вне времени, что происходило это как-то буднично и незаметно. Архив периодически словно снисходил до течения жизни, нехотя подпуская его, но никогда им не пропитываясь, никогда не становясь с ним одним целым.

А ведь башня по сути своей представляла собой некий символ времени, недаром самая популярная новостная программа так и называлась. Построенная на староверческом, якобы проклятом, кладбище, Останкинская башня словно бы приняла на себя бремя времени и временности и несла этот груз через всю вторую половину двадцатого века и через начало нового, двадцать первого. Башня уверенно стояла всеми своими десятью железобетонными опорами-ногами, не просто попирая время, но и транслируя его через множество передающих устройств, колорадскими жуками облепивших ее пятисотметровый стебель. В этом и было ее истинное предназначение: принимать, фиксировать и пропускать через себя время в той форме, в какой его выгодно было преподнести в конкретный период. Именно оно, время, поднималось снизу вверх, от проклятой почвы староверческого кладбища по шахтам инженерных коммуникаций, по всем этим электросиловым кабелям, водопроводам, фидерным системам, даже по лифтовым шахтам и гигантской металлической лестнице, связывающей все этажи. По пути время обрабатывалось, учитывалось, записывалось, фиксировалось на различных носителях и уже в обновленном виде отправлялось наружу. Недаром все технические помещения были изолированы от посетителей и имели отдельный вход, чтобы, не дай бог, кто-то не узнал время в его естественном, аутентичном виде. Работники телебашни — от рядовых техников до старших редакторов с секретными информационными допусками — все они вкупе представляли собой закрытую секту, тайный орден владеющих знанием о времени. С той же целью были созданы ограждающие персонал кабины из алюминия, стекла из стеклопрофилита, которые не только защищали технический персонал от воздействия электромагнитного поля, но и не давали возможности просочиться наружу необработанной информации о времени. Разумеется, все это образно, метафорически, но поскольку истина сама по себе — огромная метафора, кто посмеет уличить меня во лжи?

И тем не менее время, для которого Останкинская телебашня стала своеобразным форпостом, последним укрепрайоном перед выходом на город и страну, не затрагивало это помещение. Архив всегда стоял как бы в центре темпорального торнадо, его минут, складывающихся в события, его информации, его лжи и его перекованной правды, пропуская через себя все это, сохраняя, фиксируя в аутентичном (и не очень) виде, но при этом

выдерживая определенную дистанцию. Вот этим-то вневременьем и пахло между старыми стеллажами, совсем не похожими на новodelы металлических конструкций, заполнивших после модернизации все помещения башни. В архиве все оставалось в прежнем виде.

Мы прошли в проявочную, где я первым делом включил лампу. Некоторое время глаза привыкали к приглушенному, но показавшемуся теперь ослепительным свету, просачивающемуся сквозь зеленый абажур.

— Значит, тут и пгоживаете? — то ли спросил, то ли констатировал Вацлавски.

— Да вот... тут. Вы мне что-то хотели показать?

— Да, извольте-с ознакомиться с данной эпистолой, — кивнул Вацлавски и протянул мне сложенный вчетверо лист. На сгибе листа виднелись остатки сургучной печати с литерой «Р». Несомненно, это значило Pinath. Я взял в руки лист, развернул его и, поднеся под самый абажур, прочитал: «Выводы относительно игнорирования факта захвата Останкинской телебашни и прилегающих территорий считаю в корне неверными. Требую принять самые жесткие меры, срок — неделя. Рекомендую задействовать отряд «Тейсинтай» из освобожденной группы «Особь». При необходимости даю разрешение на задействование всей группы. Отряд, удерживающий территорию Останкинской телебашни, — уничтожить. Pinath».

— Весьма занятно, — вздохнул я, усаживаясь за стол. — Присаживайтесь, капитан.

— Возможно, пгбывание в башне опасно, и...

— Все не так уж страшно, — возразил я и снова кивнул на свободный стул. О группе «Особь» некогда много и активно говорили в допущенных к информации кругах. Особенно после нескольких терактов, произведенных этой боевой организацией в 2004 году.

Несмотря на то, что к декабрю 2004-го все члены группы «Особь» были либо уничтожены, либо захвачены и содержались в Гарибальдийских тюрьмах на окраине Москвы, цели организации так и не были установлены. Они не были религиозными фанатиками, не выдвигали политических и социальных требований. Они просто взрывали дома, вокзалы, самолеты, и казалось, разрушение и было их единственной целью. Возможно, конечно, что в Гарибальдийских тюрьмах заплочных дел мастера смогли добыть иную информацию, но я при всех своих широких полномочиях в области информации ничего об этом не знал.

Отряд «Тейсинтай» был образован в группе «Особь» летом 2003 года, и именно ему приписывали большинство проведенных терактов. Смертники... В основном это были юноши 13-14 лет, обученные пилотированию. Камикадзе. А еще несколько десятков женщин-шахидок, прочно сидящих на героине, да десяток водителей-смертников. Но в целом ставка делалась именно на пилотов-камикадзе.

— Видите ли, капитан. Реальную угрозу башне могут представлять только камикадзе. Но после атаки ДеНойза там, — я показал пальцем вверх, — ни один прибор, ни один механизм не действует и, уверяю вас, не будет действовать еще долгое время. На пару месяцев воздушное пространство над Москвой — мертвое пространство. Разве что на дирижаблях...

— Дигижабли — говно, мои снайпега с ними спгавятся... Значит, вы увегены, что на самолетах к нам не пгобиться? — присаживаясь, уточнил Вацлавски.

— Не только к нам, но и вообще куда-либо в радиусе нескольких километров от МКАДа, — убежденно ответил я. — Сразу после атаки ДеНойза, когда стало понятно, что город не удержать, пытались эвакуировать правительство Москвы. Несколько самолетов рухнули сразу после взлета. Остальные просто не взлетели.

Капитан тигровых нахмурился, взял у меня лист и пробежал глазами по написанному.

— Тогда, чегт побеги, я не понимаю... А это могут быть подземные коммуникации, Пётг Петёвич?

— Хм... не думаю. Во время восстановления после пожара проблема террористических актов была уже весьма актуальна, и такой вариант — взрыв основания башни через коллекторы — анализировался. Это невозможно, капитан. Во всяком случае, потребует таких

затрат, людских сил и энергоисточников, что незамеченным не останется. Площадь фундамента башни составляет 1940 квадратных метров, а масса — 20 тысяч тонн. К тому же все десять граней обжаты специальной напряженной железобетонной обоймой. Да и проект изначально проверялся на сейсмоустойчивость. Делали даже перерыв во время строительства башни, когда возникли сомнения в надежности грунта под фундаментом. Так что нет, я положительно считаю взрыв через коллекторы невозможным. Я же дал вам карту подземных коммуникаций в районе башни, капитан.

— Да там сам чейт голову свегнет, пока газбегется. Но вгоде везде посты выставили...

— Вот и хорошо. Думаю, капитан, речь идет все-таки о шахидах. Кстати, я, конечно, могу ошибаться, но вряд ли Пинасу выгодно уничтожение башни.

Вацлавски надолго задумался. В тишине оглушительно выстукивали Доли секунд старинные часы да поскрипывали изредка стеллажи. К этому времени окончательно стемнело, и за дверью, в основном помещении архива стояла непроглядная темень.

— Этот Пинас уг'ёбил пол Москвы, х'ямов не пожалел. Думаете, он пожалеет вышку?

— Думаю... вернее, надеюсь, что да. Телевизионные и радиотрансляции, должным образом подчищенные, могут сыграть на руку Пинасу. Я не думаю, что многие согласятся сейчас считать его освободителем Москвы, особенно после того, как он отдал город на растерзание этим... бандам. Больше того... хм... возможно, именно этим и вызвано его желание захватить телецентр.

— Может быть, — неуверенно кивнул Вацлавски, — вполне... может стать... Ну что ж, — он внезапно поднялся и уверенной походкой вышел в основное помещение архива, — мне пога. Желаю вам покойной ночи, Пётг Петъевич. Ежели что — не стесняйтесь, спускайтесь.

— Разумеется, — кивнул я в ответ, но про себя подумал, что вряд ли внизу может оказаться безопаснее.

Я не ошибся.

Еще долго гудели растревоженные полуночным лифтом сквозняки. Колотили неплотно прилегающими дверями да свистели в щелях. Но мне почему-то показалось вдруг что-то невероятно уютное в этой игре воздушных потоков в колодце лифтовой шахты. И то, что на столе в проявочной все так же горела лампа, приглушенно высвечивая в общем архивном мраке (словно прокатали по черному картону мелок пастели) зеленый лоскут двери, — мне тоже показалось очень и очень уютным.

О чем же я таком думаю, черт побери? О каком уюте может идти речь в этом месте и в это время? Почему, какого черта я стою посреди этого уже никому не нужного архива, а не бегу вниз, к людям, к какому-то подобию уверенности, к суррогату общества?! Посреди ада, посреди русского бунта, между небом и землей, запертый в теле бетонной телебашни, — что я тут вообще делаю?

Короткий язычок пламени на несколько мгновений отделил меня и от ночи и от странных, словно и не моих мыслей. Дым прошелся по гортани теплым пухом, и студенческий мой приятель из далеких шестидесятых, вечно рассеянный, нечесанный, какой-то даже хипповатый Ося Мандельштам пробормотал из далекого далека мертвыми губами:

Кто знает!

Может быть, не хватит мне свечи

И среди бела дня останусь я в ночи,

И, зернами дыша рассыпанного мака,

На голову мою надену митру мрака:

Как поздний патриарх в разрушенной Москве,

Неосвященный мир неся на голове,

Чреватый слепотой и муками раздора,

От неожиданности я с трудом смог подавить желание оглянуться в темноту между стеллажами, мысленно проклиная (скорее все от той же неожиданности) странную игру памяти, неведомыми ассоциациями разбудившей только что голос мертвого и позабытого... И в дыму полуночной сигареты, словно сквозь наброшенный на раскрытое окно тюль, стали проступать лица призраков и повеяло холодом. Но не могильным, жутким, проклятым холодом могилы, а хрустким холодом замороженных московских переулков, лентами славянских переплетений, окруживших Кремль от Ленинки до большой елки на Лубянке... Сорок два года, целая вечность назад.

...По потрескавшейся наледи от неожиданного дневного потепления и вернувшегося уже в сумерках мороза мы брели сквозь декабрь в зените века, не особенно представляя, куда и зачем: разноглазый Колька, расхристаный Ося, зябко прижимающая к тонкой шее воротник пальто Аня... Мы возвращались из студенческого клуба, где все они конечно же читали. Своё и чужое. Тогда еще это было возможным. А потом, после вечера, когда в прокуренном и шумном вестибюле стало положительно невозможно находиться, мы сбежали ото всех. Я был влюблен в Аню, Колька, само собой, тоже, Ося же витал в каких-то только ему известных сферах.

— Как же ты не понимаешь, — возмущался Колька, — я же не про начало века говорю, не про акмеистов этих несчастных и бубнововалетчиков. Я же согласен — да, тогда было прекрасно. Взлет поэтического слова и так далее... Но родись мы в то время, Оська, и нас бы сломали. Их сломали и нас сломали бы. Нам повезло, понимаешь, Оська. Мы просто вот сейчас понимаем, как тут... ну ты понимаешь... как они относятся к нам, к тому, что мы делаем, к нашим стихам. Да ко всему. Мы знаем, что по большому счету наши стихи им не нужны, больше того, они считают их чужеродными. И поэтому этим нас уже не сломать, ты понимаешь? Я уверен, что наше десятилетие не останется незамеченным историей, вот увидишь, Оська, кто-нибудь будет завидовать тем, кто родился в наше время. Петька, ну ты же историк, ну подтверди!

— Угу, — угрюмо подтверждал я, поддерживая Аню под локоток и прекрасно понимая, что браврирует Колька вовсе не перед Оськой, которому по большому-то счету все равно, тем более, что он был чертовски пьян от мерзкого портвейна, а перед Аней. Мне это не нравилось, но я мужественно молчал, поглядывая с высоты своих неполных шестнадцати лет и четко осознавая, что выгляжу как минимум на семнадцать, а значит, Кольке ничего не светит.

В общем, наверное, все это было достаточно глупо, как глупы подрезанные козырьки на кепках в частности и обычное человеческое счастье в общем и целом. Но в отличие от всего остального эта глупость легко вписывалась и в беспокойство лифтовых сквозняков, и в пастельный штрих на черном картоне полуночи.

Оську Мандельштама сначала арестовали в 1964, позже, по слухам, держали в какой-то больнице, а потом он вдруг обнаружился во Франции, и не просто так, а в эфире «Радио Свобода». Умер в 1983 от сердечного приступа на какой-то парковой лавочке — я потом видел фотографии: то же самое удивление в мертвых глазах, почти то же самое лицо... Колька Гумилев спился, но говорили, будто жив, обитал до всех этих русских бунтов где-то на Можайке, бутылки собирал. А про Аню я ничего не слышал с тех пор, как она была отправлена родителями в Ереван. Обычная, в общем, история.

Вы замечали, что у счастья всегда грустный привкус?

Я поискал на столе пепельницу, вспомнил, что унес ее в проявочную, и затушил окуроч в раковине. Далеко-далеко, а по сути, куда ни глянь, перерождались новые сумерки безумия

⁴ Цит. по О. Мандельштам. Собрание сочинений в четырех томах. Том I. М.: ТЕРРА, 1991. С. 143

русского, традиционного, черт побери, безумия коли не с факельными шествиями, так с канонадой всенепременно. А я стоял посреди этого мира, уставший 58-летний архивный старик, уже и сам претендующий на статус архива воспоминаний и даже на собственное раз и навсегда устоявшееся мировоззрение (а может — мировосприятие). Я подумал, что это, наверное, очень хорошая ночь, и даже если по лабиринтам коллекторов крадется сумасшедший фанатик, обмотавшийся взрывчаткой, — даже это в принципе закономерно... Печалило лишь одно — уж слишком быстро тратились из пачки сигареты...

...Это они взорвали несколько цистерн с напалмом по внешнему периметру МКАДа. И хотя сине-оранжевые вертолеты МЧС смогли предотвратить переброс пламени на Москву и локализовали основную часть пожаров, остановить тление десятилетиями скапливавшегося вокруг Кольцевой дороги мусора было уже нереально. Одним ударом тогда радиус жилой Москвы сократился на несколько километров в глубь кольца. И если до этого о группе «Особь» не знал никто, то уже через несколько часов после начала пожара о ней говорили во всех информационных структурах. Общественность, впрочем, как всегда, получила дозированную информацию. СМИ традиционно добавили паники, объявив официальное воплощение кинотенденций последнего сезона — экологического терроризма, но ничего конкретного им обнародовать не дали. Да и не было у них конкретной информации. Между тем силовые структуры изначально именно так и позиционировали террористическую группировку «Особь» — экологические террористы. Некоторое время корни этой организации искали среди веганов и прочих радикальных гринписовцев. Но члены группировки «Особь» не были экологическими террористами, вернее, они были не только экологическими террористами. В течение второго полугодия 2004 и начала 2005 года «Особь» взяла на себя ответственность за взрывы пяти (!) жилых домов и жуткого взрыва на Ярославском вокзале, во время которого погибло и получило разной тяжести увечья около трех тысяч человек. Наконец, правоохранные органы смогли выйти на нескольких нерядовых членов организации. Уже спустя неделю все члены группировки «Особь» были либо уничтожены, либо захвачены и помещены в Гарибальдийский комплекс тюрем в 15 километрах от МКАДа. Однако факт нейтрализации группировки «Особь» и захват части ее членов так и не дали ответа на основной вопрос — в чем состояла цель этой организации. Не исключено, что в ходе жестких допросов (а никто не сомневался, что церемониться с террористами не станут), какая-то информация и была получена, но даже при достаточно широких информационных полномочиях никто в архиве допуска к оной не получил.

Терроризм в действительности является не столько орудием нанесения ущерба государству, сколько чисто психологическим орудием. Террористический акт — это радикальный способ привлечь внимание, как правило, к неким локальным конфликтам территориально-религиозного, реже — сугубо политического толка.

Терроризм и диверсия не имеют между собой смысловых соответствий. Если диверсия — это попытка нанести материальный и человеческий ущерб атакуемой стороне, то терроризм подобных целей перед собой не ставит. Цель террора — запугивание населения атакуемой стороны, общественный дисбаланс, в идеале — политический кризис. И прежде всего — шум! Много шума вокруг некоей цели и выдвижение неких требований согласно этой цели. Даже если выдвигаемые цели служат лишь ширмой для целей реальных. К примеру, денег.

Но «Особь» не выдвигала требований, не обозначала никаких позиций: ни религиозных, ни национальных, ни политических, ни территориальных, в конце концов. «Особь» осуществляла террористические акты, брала за них ответственность, но никак не обозначала цели. И ничего не требовала. Казалось, что эта организация существует исключительно с целью уничтожения. В октябре 2004 года привлеченные ученые во главе с профессором Большаковым опубликовали реферат «Новые футуристы». Авторами была выдвинута идея о том, что самоцелью террористической группировки «Особь» является разрушение. И если футуристы начала XX века стремились отразить энергию распада,

передать суть разрушения, саму душу катастрофы, то террористы из «Особь» пошли дальше — они эту энергию производили. Но дальше этого утверждения Большаков и прочие не двинулись, а я, как и большинство других, так и не принял объяснение разрушения как самоцели. И по-прежнему так не думаю. Безусловно, существовала некая скрытая цель, так и оставшаяся неизвестной не только для рядового обывателя, но и для приближенных к информационным потокам людей.

Атакуя Москву, генерал Фальстат освободил заключенных в Гарибальдийских тюрьмах членов группировки «Особь» и активно их использовал. В частности, трое обвязанных взрывчаткой камикадзе из отделения «Тейсентай» спикировали на дельтапланах на главный офис ДПС, что практически полностью парализовало организованную защиту города со стороны маркерной системы. Тогда, узнав об этом, я сделал для себя вывод, что Фальстат, этот далеко глядящий представитель вырождающегося класса военной интеллигенции, и окутанная тайной террористическая группировка «Особь» связаны изначально. Не секрет, что конфликт между генералом и московским руководством достиг своего пика в апреле 2004 года. «Особь» начала действовать немногим раньше. Все возможно. Не исключено и даже вероятно, что общественные волнения и недовольство правительством, которые возникли в Москве после взрывов домов и Ярославского вокзала, были на руку Фальстату, одному из тех, кто, вероятно, должен был воссесть на московском, а значит, и российском троне в ближайшем будущем. Мера весьма кардинальная, и будущему правителю наверняка пришлось бы ответить на массу неприятных вопросов. Но путь к власти всегда устилала красная ковровая дорожка, а победителей не судят. Не впервые подобное происходит в истории государства Российского. Этот вариант многое объяснял. В том числе и тот факт, что «Особь» не объявляла о своих целях. Правда, как правило, в этих случаях ссылались на псевдоцели, прикрываясь все теми же территориально-религиозными покрывалами. Надо заметить, что «чеченский след», в частности, оказался очень удобным элементом современной политики. И вот теперь выясняется, что «Особь» уже действует на стороне Пинаса... Напрашивался вывод о банальных наемниках, но — беспричинно, на интуитивном уровне — я в это не верил. Не была «Особь» банальной организацией. Ею двигало что-то иное, непонятное, и потому пугающее.

Когда гаснут на сетчатке глаз последние размытые отпечатки только что погашенного света, пространство стремительно расширяется, как будто дали волю часовой пружине. И несмотря на совершенно четкое представление о размерах проявочной, психологически я не ощущал стен. Лишь нечеткий прямоугольник чуть менее мгlistой тьмы на месте двери служил некоей точкой опоры в этом отсутствующем пространстве. Он как бы обозначал расстояние и неотменимую завершенность.

Я лежал еще некоторое время, опираясь об этот прямоугольный лоскут светлой тьмы почти ослепшим взглядом и размышляя о том о сём в надежде, что теперь-то уж сон придет, и мои размышления сами собой переродятся в легко забываемые сновидения. Действительность, впрочем, мало чем от сна отличалась, но мне хотелось от нее отдохнуть. Даже равнодушие, привитое годами работы с элементами времени, не помогало выносить все это жуткое гротескное настоящее, творимое людьми за окнами Останкинской телевышки. Я лежал, вслушиваясь в далекие барабаны канонады. В их звучании ощущалась некая нечеловеческая гармония, это была музыка если и не самой смерти, то разрушения. Музыка Тейсинтай. Но мне она была неприятна. Все мое естество сопротивлялось этому ритму. И пусть я не был создан для жизни сумасбродного авантюриста и давно уже заживо похоронил себя в архивном безвременье — это был мой выбор! То, как я распорядился собственной жизнью, не должно касаться полупьяного уголовника, мерзавца, оседлавшего зенитную установку и вновь пьянеющего, но уже не от алкоголя, а от возможности убивать и наслаждаться убийством, от возможности безнаказанно уничтожать, развенчивать, унижать и уничтожать. Редкий, очень дорогой, но действенный наркотик, заставляющий мозговые нервные окончания оргазмировать при выплеске невероятного количества эндорфинов.

Разумеется, как и любой наркотик, этот требует постоянного увеличения или как минимум поддержания дозы. Ведь действие эндорфинов на нервные рецепторы в принципе одинаково, будь то воздействие естественного эндорфина — эндогенного опиата, или опиата искусственного. При постоянном воздействии рецепторы теряют чувствительность, и, как следствие, приходится увеличивать дозу, что, в свою очередь, вызовет еще большее притупление чувствительности. Замкнутый круг. Фактически, не обрекая себя на страдание, выйти из него нереально. Лишенный постоянного притока большой массы эндорфинов, мозг воспринимает это как недомогание организма. Он начинает сканировать нервные окончания, но обнаруживает, что организм живет и более или менее удовлетворительно функционирует. И тогда мозг начинает воспринимать любой сигнал с нервных окончаний как сигнал боли. Движение руки — боль! Поворот головы — боль! Смена положения зрачка — адская мука! Это и есть опиатовая ломка. Так она выглядит с точки зрения медицины. И хотя искусственные опиаты, разумеется, действуют мощнее и последствия их приема разрушительнее, воздействие безнаказанности и крови на человека куда более непредсказуемо. Да и относительно менее разрушительного воздействия я бы поспорил. Пусть конкретному человеку, наркоману насилия, этот моральный опиат (назовем его так) не приносит столь ощутимого вреда, зато несет куда большую угрозу другим.

Еще какое-то время сон не шел, а мысли вполне предсказуемо скатывались в сторону размышлений о загадочной сути русского бунта, варварски-отчаянного и пропитанного страхом одновременно, отчего недалеко было и до загадки души русской — темы совершенно уж кухонно-безнадежной, сотни раз пережеванной искусственными челюстями русской же интеллигенции у окон с видом на Фонтанку-Якиманку под тихий стук замусоленных граненых фужеров.

И все же, мозг — не запряженная кобыла, его ни пристегнуть, ни приструнить нельзя, и плевать ему, как правило, на хлыст, на колесо, на город Санкт-Петербург в придачу, да и на дурацкие наши дороги тоже. Он упрямо бурил темноту пунктирами отрывочных мыслей, воспоминаний, памятных дагерротипов и полузабытых фраз, сказанных канувшими в беспамятство людьми.

Краем сознания я понимал, что все-таки засыпаю, но в голове уж роились странные образы, наслаивались на расползающиеся, как сношенная ткань, мысли.

И снилась мне площадь с рушащимся столпом в самом ее центре, а на столпе — крест. Площадь, забитая крысами, и все новые и новые серые тельца проникали через арочный проем в желтой стене дома. Они-то и подтачивают столп. Просто потому, что он в центре, и потому еще, что подтачивать больше нечего. А за крысами многотонными шагами, распространяя вокруг себя протуберанцы тени, шел многоликий крысиный страх. Это он гнал перед собой маленьких живучих зверьков с острыми зубами, а те от безысходности грызли столп, не соображая своими мозгами мелкими, что на них он и рухнет и многих, очень многих погребет. А тем, кто выживет, с площади нет выхода, только в ту же арку, к крысиному страху.

И вдруг я осознаю себя привязанным к кресту, венчающему столп... И море серых спин подо мной, непрерывно шевелящееся, все ближе подбирается к моим ногам, и морды с обезумевшими в ужасе глазами смотрят в мою сторону и скалят мелкие пасти с острыми, все время растущими зубами. Им, крысам, приходится все время что-то грызть, чтобы стачивались резцы... Но крысы в моем сне не пищат, они издают странный трескучий звук, словно в мерзких глотках кто-то рвет куски пропитанного соляной кислотой брезента...

Я резко сел на кушетке, хватая воздух широко раскрытым ртом и ощущая, как ползет по спине холодная струйка пота. Картина русского бунта, трансформированная моим сном в фантазмагорическую аллегорию крысиного ужаса, все еще стояла перед моими глазами. Я часто заморгал, стараясь отогнать видение, протянул руку к столу, пытаюсь нащупать сигареты, и только тогда осознал, что странный треск, который издавали крысы из моего кошмара, не ушел вместе со сном... Я замер, чувствуя, как холодеет спина от метафизического ужаса, но спустя мгновение понял, что это всего лишь привычные уже

частые выстрелы. Но раздавались они не в отдалении, как обычно, а в непосредственной близости от башни. Останкинскую телевышку атаковали. Осознав это, я вздохнул с удивившим меня самого облегчением и, с трудом передвигая онемевшие со сна ноги, вышел в основное помещение архива.

Не разнять меня с жизнью — ей снится
Убивать и сейчас же ласкать,
Чтобы в уши, в глаза и глазницы
Флорентийская была тоска.⁵

И вновь я, как и в первую ночь этого гротескного, гоголевского безумия, сидел на грязном полу посреди архива, прижимался спиной к торцу стола и гадал — выстрелит старый парабеллум или время и бездействие убили его вместе с моей последней туманной надеждой защитить свою жизнь. Теперь, как, впрочем, и тогда, было слишком темно, чтобы разглядеть мелкие веснушки ржавчины на теле пистолета... Но не видеть — не значит не знать. Готовься к войне, как говорили мудрые варвары Рима. Ежели, конечно, все еще *si vis pacem...* Думал об этом, весь обратившись в слух. В темноте, когда мозг не отвлекается зримым, каждый звук четок абсолютен, и даже в какофонии беспорядочной пальбы и криков можно разобрать отдельные элементы, вычленив этикие полярные составляющие... А что еще остается старой архивной крысе, притаившейся в темноте со смешным ржавым, почти игрушечным пистолетиком в дрожащих руках?

Позже Вацлавски расскажет мне, как развивались события, и благодаря его смешным чертыханиям и детскому грассированию у них появится какой-то даже анекдотический оттенок. Вацлавски будет пить крепкий чай, закусывать его очередной порцией трофейных конфет и, причмокивая и отдуваясь, рассказывать, словно смакуя эту жуткую ночь вместе с чаем и карамелью. А я буду слушать и внутренне содрогаться, чувствуя странное раздвоение: на себя, наблюдающего за всем этим со стороны и четко осознающего, что все это фарс и нелепица, и на того, кто внимательно слушает капитана тигровых манипул, кивает и усмехается там, где положено кивать и усмехаться, и вполне уже способен поверить, что все и правда отчасти анекдот, пусть и с изрядной примесью чернушки. И между этими двумя личностями будет гигантский провал длиною в ночь. В очень долгую ночь насмерть перепуганного старого человека.

В этот раз заминированный периметр атаковали сразу три оснащенных минными трапами танка. В отличие от жалкой попытки прорваться днем эти три машины были защищены пластинами кумулятивной защиты, за счет чего две из трех машин пробились за периметр, тем самым расчистив два достаточно широких коридора для пехоты Пинаса. Третий танк был остановлен последним оставшимся у тигровых выстрелом из ПТУРСа. Два прорвавшихся, впрочем, также были уничтожены: первый — связкой противотанковых гранат, второй — практически одновременным выстрелом из семи «мух». «Мухи» танк не остановили, но экипаж машины был тяжело контужен, в результате чего танк пробил фальшстену холла, въехал внутрь и там замер, присыпанный кусками бетона, гипса и известки...

По двум расчищенным в периметре коридорам хлынула пехота Пинаса. В основном сброд, состоящий из уголовников и мелкого хулиганья, неотесанного провинциального плебса, падкого до революционных волнений, да наемников из разряда дешевого мяса. Однако было среди них и несколько весьма дельных руководителей, благодаря которым толпа, усеяв трупами коридоры в периметре, не отступила, а, напротив, продолжала наступать, и таки ворвалась на территорию башенного гарнизона, причем сразу в двух местах.

⁵ Цит. по О. Мандельштам. Собрание сочинений в четырех томах. Том I. М.: ТЕРРА, 1991. С. 257

Первую колонну встретили тигровые бойцы, легко ее остановили, а потом и вовсе обратили в паническое бегство. Численного перевеса нападавшим оказалось недостаточно, чтобы одолеть профессиональных военных. Все-таки не стоило забывать, что для тигровых гвардейцев война и убийство были рутиной, повседневной работой, требующей не столько мужества, сколько рефлексов.

Со второй колонной атакующих вышло занятнее. Их встретили насмерть перепуганные ополченцы. И эта встреча, надо заметить, была весьма символична: сошлись в рукопашном бою два вечно противостоящих лагеря. Это противостояние сидело в каждом из них воспоминаниями об очкарике с первой парты и хулигане с галерки, о том, как вечно запуганный ботаник, повзрослев, стал человеком благополучным, имеющим постоянный заработок, счастливую семью и не знающим страха за будущее, в то время как прошлый хозяин положения вынужден проводить сутки напролет, горбятя спину, чтобы заработать лишний доллар, чтобы просто не подохнуть с голоду; и о том, разумеется, как однажды снова встретились их взгляды, разделенные долей и юдолью, тюремной решеткой и отношением к жизни и друг к другу. Историки и социологи называют это классовой ненавистью. Схлестнулись два человеческих потока, волей войны и бунта сошлись на одном уровне два слоя общества. Ополченцы, разумеется, были обречены. Им кроили черепа саперными лопатками, арматурными прутьями, самодельными кистенями. Расстреливали в упор, резали, как визжащих свиней. И таковыми они в тот момент и казались в том ночном анекдоте. Перепуганные насмерть, слабые, необученные, трусливые, в конце концов, — на что могли надеяться ополченцы в той ночной сече?

И именно поэтому, как ни странно, они продержались до прихода тигровых... Страх заставил их выжить. Страх и благородное безумие — две болезни русской интеллигенции. Одна другую порождает, отрицает и снова порождает, заставляя сидеть в тюрьмах, в психиатрических лечебницах, уходить в бомбисты, идеализировать массы, умирать за царя и против царя, бросаться заряженными пистолями во французских гренадеров и писать пронзительные строки о русских подворотнях, сидя в парижских бистро...

Насмерть перепуганные интеллигенты в коротковатых шинелях и мешковатых бушлатах смогли простоять ровно четыре минуты, оставив на поле боя почти 75% личного состава. А потом ночь породила и исторгла Вацлавски, неожиданно утратившего лубочную свою округлость, размахивающего невесть откуда взявшимся прутком арматуры и топором, сорванным с пожарного щита, без формы, но в белой набедренной повязке, в которой он вдруг стал невероятно похож на индуистского божка. Перед жутким капитаном тигровых катился такой упругий, такой отборный ком добротного, тщательно, вручную отобранного мата, что одно только это повергало нападающих в панику. А когда из-за широкой спины Вацлавски выскочили легендарные тигры-альбиносы, исход боя был предreshен. Летя сквозь коридор вровень с тиграми, Вацлавски то попадал в полосу света от прожекторов, и тогда становилось видно пятнышко охры на его лбу, то почти исчезал во тьме, продолжая выкрикивать свою мантру, не забывая, впрочем, к месту и не к месту добавлять «Ом»: «Я блядь, таких гаспиздзев в ом и пополам гнул!!! Пасти гвал, кадыки выгызал ом падме в душу в бога мать!!!» И надо заметить, что там, в ночном анекдоте, это выглядело отнюдь не смешно, напротив — это было жутко и пахло абсолютным, божественным безумием ранних пантеонов.

— Тиг'ев еле собгали потом, — говорил Вацлавски, потягивая чай, и по-кошачьи жмурился от удовольствия, — догвались до к'ёви, касатики. На свистки только хвостами по бокам лупцуют, и г'изут, г'изут, г'изут... Еле отогнали от тел ополченцев. Все-таки... удивили меня г'яжданские, п'яво удивили, не думал, что выстоят... Надо бы их похогонить по-человечески, по-х'истиански. Жаль, капеллана нак'ило во вгемя атаки ДеНойза... Но пгизнаюсь, больше всего меня напугали ваши тейсинтаи. Эти камикадзе на дельтапланах... Аж пот хладный пгошиб, Пётг Петъевич...

— Признаться, капитан, я и сам был немало напуган, — отвечал я.

— Так вам, батенька, положено, вы г'яжданский и не пытаетесь в военное дело влезать,

что вызывает безусловное уважение с моей стороны. Но я-то бывалый вояка, я ж еще в Пгиднест'ёвье тиг'ев выводил на пий к'ёвавый, на Каябахе камлал, да что там Каябах!... А вот нате-с, испугался...

Прореху в минном периметре заделали быстро. Настолько быстро, что чуть не забыли про оставшегося за периметром Вацлавски. За этот проступок прапорщик минеров лично получил «в йожу за гаспиздзяйство». Все это время минеров прикрывали снайпера. И если бы один из них не отвлекся...

— А если бы пгозевали, что бы было, — вздохнул Вацлавски, мрачней, — ведь мы ж для войны в воздухе не пгедназначены, у нас кайдинально иная специфика...

Но один из снайперов заметил в неверных лучах зарождающегося рассвета гигантскую тушу дирижабля. Не рекламного, а из тех воздушных исполинов, на которых устраивали отели над городом. Он медленно надвигался со стороны ВДНХ, затмевая собой солидный кусок ночного неба.

— По делу бы, и этому снайперу положено в мойду сунуть. Потому как, йяз он заметил дигижабль, значит, отвлекался от п'ик'ития минегов... Но ведь он нам жизнь спас, Пётг Пет'ёвич, если газумно гассудить...

Вацлавски дал приказ гаубичникам сбить дирижабль, что и было сделано без особого труда, однако к тому времени дирижабль был уже достаточно близко. Охваченная огнем громадина рухнула не далее чем в полукилометре от башни.

Но еще до того как пылающий сноп коснулся земли, выяснилось, что за ним скрывались до поры около десятка смертников на дельтапланах. По всей видимости, наличие на башне снайперов ни для кого уже не было секретом. И потому камикадзе надеялись подойти за телом дирижабля на максимально возможное расстояние, которое позволило бы им прорваться сквозь пули СВД. Благодарю Господа, что им это не удалось. Господа и того снайпера... Мало того, после падения дирижабля смертники не успели достаточно быстро рассредоточиться, и когда в кого-нибудь из них попадала пуля снайпера и он взрывался, непременно рядом находился кто-то другой, и взрыв одного детонировал взрывчатку на дельтаплане другого... Ни один из дельтапланеристов не достиг даже минного периметра... Но ведь могло случиться и иначе.

— Да собственно, — разворачивая очередную карамельку, добавит Вацлавски, — я думаю, что после таких взрывов и земли-то нечему было достигать. Меня смущает одно, Пётг Пет'ёвич...

— Что же именно, капитан?

— Как бы этот... хм... скомканный блин не оказался лишь пейвым. Видите ли, наверняка Пинас уже в куйсе, что мы пе'ехватили его депешу и знаем о Тейсинтай. Ну, по к'яйней меге он должен пгедвидеть такой вагиант, иначе г'ёшь ему цена как политику и ст'ятегу. И я бы на его месте сделал так, чтобы мы пегестали думать о том, что в этой депеше сказано.

— Я не совсем вас понял, капитан, — признаюсь я.

— Ну, по сути, что могли эти смегтники? Ну, сколько они могли тащить на себе взгывчатки? Немного, Пётг Пет'ёвич. Возможно, если бы все они достигли башни, уцегб и был бы сколько-нибудь сег'езен. Но чтобы сквозь снайпегов тиг'ёвых, и все?... Это даже не смешно. Полагаю, что этими смегтниками нам пгосто отводят глаза.

— И чего же нам следует ждать, капитан?

— Понятия не имею, Пётг Пет'ёвич... Того и стгашусь.

Утро было кровавым. В полнеба разверзлась и росла бесконечно алая рана, а под нею — внезапно притихший город. Не просто притихший, а именно внезапно, враз отрубив все звуки, оставив только это небо перед моими глазами: не было ни канонады, ни выстрелов, ни криков. Я медленно встал и понял, что ноги совершенно затекли и до проявочной мне не дойти. Сел на стул, вытащил дрожащими пальцами сигарету, закурил. И только тогда в мир моей тишины ворвалась отчаянная, взрывающая барабанные перепонки капель плохо завернутого крана.

Восьмизарядный пистолет немецкого конструктора Люгера, сорок пять лет добросовестно отслуживший германской армии, теперь лежал разобранный на старой газете, блестя только что смазанными частями. Поодаль, на обрывке все той же газеты, лежали восемь девятимиллиметровых патронов. Присланный Вацлавски гвардеец с совершенно детским восхищением в плоских, стального цвета глазах, слишком близко посаженных на большом низколобом черепе, протирал куском войлока замок парабеллума. Сам Вацлавски стоял за его спиной и с практически таким же восхищением наблюдал за кучкой бессмысленных в таком виде железок.

— Занимательнейшая штука, Пётг Петъёвич, занимательнейшая! Вы даже не представляете, какой это был пистолет в свое время. Да и теперь пги хм... должном общении, он весьма и весьма неплох...

— А как вы считаете, — спросил я, подходя к банке с кипящим темным напитком, — до того, как ваш гвардеец привел его в хм... должный вид — он бы выстрелил?

— Скогее всего нет, — покачал головой Вацлавски, — уж больно вы его, простите, засгали. Нельзя огужие запускать, ни в коем случае, Пётг Петъёвич. Вы же надеетесь, что пги случае оно сослужит вам, так послужите и вы ему. Газобгать и смазать эту игъюшку нетгудно. И ведь однажды она, возможно, сбегежет вам жизнь, уважаемый.

— Ну, — я пожал плечами, — я человек сугубо мирный, к тому же гуманитарий. Признаться, даже в университете не уделял хм... должного внимания военной истории, исключительно в рамках программы. Но я учту, непременно учту. Давайте вашу чашку.

Спать хотелось неимоверно. Организм, измученный беспокойной ночью, проведенной в скукоженном положении на полу, взывал к милосердию; антикварный, пропитанный архивной пылью артрит терзал теперь оба колена, а по внутренней части черепа ощутимо перемещались пустоты. Но неожиданно бодрый Вацлавски потребовал чифирию и высыпал на стол еще одну горсть конфет. Они, впрочем, не отвлекли внимания восхищенного ребенка в камуфляже, занятого чисткой и смазыванием парабеллума.

— Вот вы только что, капитан, про ночной штурм говорили... С радостью и, простите, воодушевлением. — Я плеснул черной вязкой на вид жидкости в пиалы. — Ну, вам-то, человеку военному, такое привычно...

— А как же, — усмехнулся Вацлавски, аккуратно ставя свою пиалу на соседний с гвардейским стол, — от победы, Пётг Петъёвич, к победе, как говоится.

— Да-да, но я, собственно, о другом... — я стоял, болтая в чашке густоту чифирия, и пытался сформулировать мысль до возможности вербальной ее передачи, — о том, что... как бы это... О том, что вот и следующей ночью можно и, думаю, нужно ожидать нового штурма...

— Нужно, — уверенно кивнул Вацлавски, похрустывая карамелью, — стопгоцентно нужно. Но ближайшие пять-шесть ночей пусть вас это не беспокоит. Ежели атаки будут подобны ночной — отобьемся от мегзавцев...

— А если нет? Ну не дураки же там у них в штабе сидят?

— Так и мы же не дугаки, — совсем развеселился капитан тигровых, — так, Пагамонов?

— ТАК ТОЧНО, ГОСПОДИН КАПИТАН!!! — не отвлекаясь от частей парабеллума, гаркнул гвардеец. В другое время от этого отклика поразлетелись бы по всему Ботаническому саду перепуганные птицы. Но теперь в черте города после всей этой канонады птиц, видимо, уже не оставалось...

— Капитан, вы сказали, пять-шесть ночей... А потом?

— Потом, Пётг Петъёвич, у нас закончится боезапас. ПТУГсов уже не осталось, да и у агтелегистов со сна'ядами беда. Кошамаг. Шли же завоевывать! Одним уда'ём хотели Москву-матушку подчинить, никто и п'едположить не мог длительных осад. Хоёшо в башне нашелся п'ёвиант и вода...

— Вы не первые ошибаетесь с блицкригом, — не смог удержать я улыбки. — Но что

же будет после того, как у вас закончится весь... боезапас?

— А это только Богу известно, — пожал плечами Вацлавски, — а Бог — далеко.

А день, словно в пику ушедшей ночи, выдался неожиданно ветреным и ясным. Ветер выгнал скопившийся переулками зной, пригнул столбы дымов, а то и вовсе рассеял, и те уже не мешали солнцу плавить в жидкое золото окна и витрины. Замерли в нерешительности тополя с серой от пыли листвой, заискрились неровностями и чешуей отслоившейся краски подоконники. Не исчезли, но приутихли, прижавшись к окраинам, тупые удары канонады, смолкла совсем рождественская трещотка очередей. День стоял именно такой, какому и положено стоять в это время года над Москвой. Яркий и солнечный, но ветреный, так что асфальт не пропекался до сдобности и знойное марево не искажало перспективы.

— Денек-то какой, — вздохнул я, отворачиваясь от окна и медленно, чтоб не беспокоить артрита, возвращаясь за стол, — отличный денек, капитан...

— Да, Пётг Петъёвич, денек великолепный. Сейчас чаёк допью, да пойду посты п'ёвею. Не хотелось бы, чтоб в такой день нам гоило пе'е'езали.

Тигровый младенец решительно пренебрег благами умирающей цивилизации и загрохотал подкованными ботинками вниз по пожарной лестнице. Эхо дробным рикошетом семенило вслед по лестничным пролетам, вибрируя между метавшимися еще какое-то время створками дверей...

— Экий он у вас стремительный, — попытался пошутить я.

— Огёл, — довольно кивнул Вацлавски, — отличный солдат. Силен, туп и исполнительен.

— Хм... Если честно, когда он отдавал мне собранный парабеллум... Что-то такое мелькнуло у него в глазах... Право, мне показалось, что он сомневается, не устранить ли стратегически невыгодного старика-архивариуса для... хм... заполучения стратегически выгодного оружия...

— Да, бгосьте вы, Пётг Петъёвич, — отмахнулся Вацлавски, — пги мне он бы не посмел...

— Вот как? — ошарашенно пробормотал я.

— Газумеется, они же все желтой мантгы бояться, как дети... На том и автогитет дегжится. Вегнее, и на том тоже...

Я снова оглянулся на дверь. На сердце было положительно беспокойно. Этот громила-гвардеец мог шутя переломить мне шейные позвонки, просто сжав кулак...

— Да я шучу, шучу, — рассмеялся Вацлавски, — ну что вы, в самомделе. Ну не изве'ги же они!

В этом я уверен не был, но выдавил некое подобие улыбки. Капитан Вацлавски, довольно, словно сытый кот, шурясь, расхаживал по архиву с пиалой в одной руке и карамелиной в другой. Рассеченные лопастями жалюзи солнечные лучи пробегали по его мундиру, отчего он и правда казался тигровым. Я невольно вспомнил подробности ночной атаки и оброненную только что фразу.

— Послушайте, капитан, а что это за мантра такая?

— Мантга-то? Ведийская фогмула, — ответил Вацлавски, разглядывая выуженную наугад папку, — я в них, если честно, ни чегта не понимаю. Досталась мне случаем... Можно сказать, — Вацлавски как-то очень нехорошо, одной половиной лица усмехнулся, — я ее выменял.

Двенадцать молодых курсантов Охтинского военного мотопехотного училища (в планах Генштаба — двенадцать будущих тигровых офицеров, о чем, впрочем, пока было рано говорить), пробирались зарослями чертовски колючего кустарника-стланика к маленькой, по всем статьям забытой богом деревеньке. Укрывшейся, надо заметить, не где-нибудь в сибирских буреломах и не в глухих обителях далай-ламы, а всего в тридцати с копейками километрах от Москвы. Место это было холмисто, почва неоднородна, и

неровные ковры колючего стланика легко уживались на пологих склонах с проплешинами ярко-красной глины и внезапными, слепящими неподготовленный глаз полянами снежно-белой ромашки... И все бы ничего, да пробираться курсантам по большей части приходилось брюхом по грунту, поскольку засевший где-то в низине условный противник поливал холмы прицельными и далеко не условными шаровыми молниями. Молнии эти выжигали проплешины в стланике, сушили красную глину до растрескавшейся желтизны, взметали фонтаны белых ромашек. Впрочем, по курсантам условный противник пока ни разу не попал. То ли по причине правильного, выработанного за три курса училища прижимания к земле всеми частями организма, то ли и правда из-за странных амулетов, которые повешал на всех перед самым выездом прапорщик Бабаев. Курсанту Вацлавски вместе с амулетом была подвешена оглушительная затрецина за ночной уход в самоволку. Рука у Бабаева была увесистая. Однако хотя шаровые молнии и долбили холмы в стороне от курсантов-мотопехотинцев, глиной периодически накрывало.

— Да... вашу... м-мать, — хрипло выплюнул вместе с куском попавшей в рот глины замученный курсант Галицын, изо всех сил вжимаясь лицом в ромашки, — что за условный противник такой?

— А он условно условный, — усмехнулся, подползая и распластываясь по правую руку, курсант Дигунов-Таврический.

— А ты-то откуда тут пгоявился, — удивленно прохрипел курсант Вацлавски, только что выкатившийся из колючек стланика, чтобы угодить прямиком под глиняный душ, — ты же вгоде в санчасть собигался?

— А мне товарищ прапорщик сказал: допкунайте.

— Чего?

— Того! Допкунайте, говорит, на полигон, товарищ курсант. После, говорит, командно-штабных учений посмотрим. У, чабан бият!

— Что-то, господа будущие офицегы, мне эти командно-штабные учения газонгавились окончательно. Чем-то не тем о них газит, уважаемые.

— От них воняет, — согласно кивнул Галицын и медленно пополз вниз по склону. Два друга последовали за ним. Тотчас глиняная масса в трех шагах от будущих офицеров вспучилась, поднялась на воздух и частично опустилась на темные от пота курсантские гимнастерки. И так их накрыло, что из троих будущих офицеров звезды на погонах довелось носить только Вацлавски. Когда откопали остальных, спасать было уже некого. Условный противник похоронил князей Дигунова-Таврического и Галицына заживо. В братской могиле.

— Стагика звали Войналакх, и под гясой у него были капитанские погоны. Гебят-то ненароком накьило, потому как ежели бы хотел стагик, он бы нас всех одним скопом... Только я этого не знал, когда со спины ему зашел и «калаш» в затылок сунул... Очнулся в госпитале, гуки-ноги пегеломаны, в голове пустота, память тги месяца восстанавливал, какой-то негв в позвонках зажало — до сих пог под смену погоды ноет... А Войналакх однажды пгишел ко мне в палату, пгощения пгосил. Только я тогда совсем туго сообгажал, только-только отходить стал. А сообгажал бы, если честно, то навегняка в кальсоны бы наложил. Стгашной был силы стагик, нечеловеческой. Ну, а он мне эту мантигу и оставил... Как, даже не спгашивайте, Пётг Петёвич, понятия не имею. А в целом я, пгямо скажем, мантигу от бгахмы хьен отличу... Может, еще по чифийчику?

— ...Ближе к полудню капитан Вацлавски отправился проверять посты, и я остался в помещении архива наедине с тихо урчащей аппаратурой и прочей пылью. Вместе с навалившейся тишиной пришла сонливость, но почему-то не было желания ложиться спать. Я бродил без всякой цели между высокими стеллажами, старался успокоить разошедшийся не на шутку артрит, думал о чем-то и тут же забывал, о чем...

Если пройти между первым и вторым от пожарной двери стеллажами, упираешься в тупик. Там издревле стоял узкий рабочий стол, за который обычно сажали студентов-

практикантов, чтоб не путались под ногами в дни авралов и предпроверочной суеты. Сиживал за ним и я. Но это было много лет тому назад, и теперь, пожалуй, я даже не уверен, что именно со мной. По крайней мере я не припоминаю, чтобы у того «меня» сводило артритом колени. Зато очень хорошо помню четыре строки, выведенные шариковой ручкой на стене тупика:

Ложка кофе, три кубика вечера,
Нитка сна на знакомой груди,
В Зазеркалье осеннего эркера
Кто-то мертвый читал рубаи...

Ни автора четверостишия, ни того, кто его нацарапал, я не знал. Помню только, что когда узнал о готовящемся ремонте вышки, первым делом побежал сюда и переписал строки в блокнот. Архив так и не отремонтировали, и строки, врезанные в плохо отполированные стенные панели шариковой ручкой, были все так же великолепно читаемы, а о судьбе того блокнота мне ничего не известно. И ведь прошло всего несколько лет. В то время как строки эти я видел еще студентом-практикантом. В чем-то прав был старый еврей Эйнштейн, в чем-то очень и очень прав...

Я вернулся за стол, закурил. Снова, как и вчера, начали металлически бить срывающиеся с крана капли воды. Сигарета горчила, солнце начало раздражать, глаза закрывались...

«И темнотой скроена земля, и нет уж звуков — есть одно звучанье...» Как четко умеют поэты находить слова, как точно угадывают интонацию неопределенного. Может, и правда прячется под густой челкой загадочный третий глаз, в котором мало человеческого. А впрочем, чушь. Не думаю, чтобы художнику было дано больше, чем обычному человеку. Так что, полагаю, он и сам не смыслит, что создает. Что, в общем-то, тоже чушь. И не положено бы мне, старому уже, да к тому же воспитанному на сургучном социалистическом реализме человеку витать в этих облацах, да только сон, который минуту назад давил пудовыми гирями на веки, вдруг совершенно ушел в саботаж, а тусклый свет, пробивающийся в щель плохо пригнутой двери, так и крутил пылинки вздора, — куда ж тут мыслям течь. Вот и рождает усталая голова третий глаз да непонимание.

Старый человек в отличие от молодого редко мечтает о чем-то, оставаясь один на один. О чем мечтать, когда время идет на убыль все стремительнее, снежным комом с покатого склона, такого же лысого, как твой лоб, старый ты тетерев. Посему, стоит лишь пролезть хитрой мечте-одиночке сквозь позиции привычной безбудущности, как поднимает голову такой же старый, как и ты сам, цинизм и усмехаясь клюкой потрясает. Так что старику проще не вперед всматриваться, а назад оглядываться. Вот только ни дали очарованной, ни зачарованного острова там уже нет. Не то что бы все там плохо, не в этом дело. Тайны нет, непредсказуемости... А без этого чары не действуют, как двигатель внутреннего сгорания, которому нечего сжигать в своей стальной утробе. Нет топлива — нет дыма. Нет денег — нет стульев. Нет будущего — нет и мечты о будущем. Есть выключенная лампа под зеленым абажуром, неудобная кушетка да случайно заблудившийся солнечный луч. Это мог бы написать Модильяни, если бы любил темные тона.

В какой-то момент усталость сказала свое веское слово, и я погрузился в краткий и беспокойный сон. Какие-то бессвязные образы вплетались в кадры минувших суток, легко и, надо отдать им должное, вполне гармонично. Сумасшествие реальности уже не могло вызвать дисбаланс в мире ассоциативных образов. Сон был бессюжетен и напоминал младенца, отрывивающего только что съеденную кашу. Помню, как ярким желтым пятном ворвался в сон Вацлавски, у которого половина тела была тигровой. Вацлавски катался по полу и кричал, что забыл окончание мантры. Три ополченца жарили над костром башню

подбитого танка. Башня извивалась и визжала от боли. А по небу ползли низкие тучи, спелёнутые в коконы проводов... Я тогда подумал: надо обязательно записать это для архива.

На этой мысли я и был выхвачен из сна бесцеремонно и жестоко, если учитывать мой возраст и нездоровую, прямо скажем, атмосферу последних суток. Прошло несколько долгих мгновений, прежде чем я понял, что меня разбудило — в помещении архива разрывался телефон внутренней связи.

Разрывался уже, видимо, некоторое время (скорее всего, он и стал источником воплей несчастной танковой башни), а я сидел сухопутной рыбой и, хватая ртом ставший вдруг густым воздух, пытался прийти в себя. Лезвие луча потускнело, из чего я сделал вывод, что как минимум пару часов мне удалось проспать. Я нащупал ботинки, не надевая носков, сунул в них ноги и, побряхтывая, двинулся из проясочной. Телефон не унимался.

— Да, алле, — сонно просипел я в трубку.

— Пётг Петъевич, — спустя мгновение молчания странным, напряженным голосом ответил с другого конца провода Вацлавски, — вы не могли бы спуститься вниз?

— Вниз?... А... что-то случилось?

— Можно... И так сказать. Вы, Пётг Петъевич, спуститесь уж... только поскогее...

— Да-да, хорошо. Я только умоюсь...

— Не надо умываться, — оборвал меня Пётг Петъевич неожиданно резко, — спускайтесь. Повег'те, это сгочно. Спускайтесь же!

Я не спускался и уж тем более не покидал башню с того самого дня, когда Фальстат атаковал Москву своими тигровыми манипулами. Признаться, у меня и желания такого не возникало. Я вполне обжился в одинокой норе архива, и любое иное существование казалось мне мало реальным. Надо заметить, что и в прошлом замкнутое существование меня не пугало. Напротив, если я и выбирался на многолюдные мероприятия, то только за компанию, как тогда с Аней и друзьями, или же по крайней необходимости. Атмосфера уединения, которая всегда царила в архиве, меня действительно устраивала, и поэтому никакого дискомфорта из-за проведенной здесь недели я не испытывал.

Подозреваю, впрочем, что была и другая, менее явная причина. Чисто физическое положение архива создавало ложное ощущение, что он находится как бы над всем происходящим в городе, в том числе и над тем, что происходило в нем в эти дни. Надо заметить, что кое в чем это впечатление не обманывало. Достаточно мощные, специально укрепленные стены архива могли выдержать многое, в холодильнике хранились коробки с сухими пайками на случай авралов, когда работа архива не должна была прерываться даже на обеденные перерывы, а также на случай ночных вахт. В архиве была вода, и кроме того, ни из одного из основных коридоров невозможно было в него попасть. Только на лифте или по одной из десятка внутренних пожарных лестниц. Но двери и лифта, и пожарного выхода блокируются... Правда, ни в одну из ночей я этого так и не сделал.

И вот теперь, когда я шагнул в разошедшиеся двери лифта, мне показалось, что меня, словно рыбу, несет взбесившееся течение к опасному берегу. Вода схлынет, и я останусь на песке...

Холодный лифт в духе хай-тек, как это теперь принято называть, который моя ортодоксальная душа не принимала в принципе, уюта и покоя не добавлял. Он был максимально функционален, что исключало само понятие уюта, да и правда, что за уют в лифте? Каков его смысл? И все же эти холодные металлические панели, дырчатый потолок, яркий свет, которого было явно слишком много для такого небольшого помещения, — все это было мне чуждо. И хотя этот новый лифт, стремительно пронзающий этажи, был, разумеется, и удобнее, и, главное, быстрее, старый мне нравился больше. Он был обшит пластиковыми панелями под темное дерево, ехал медленно и при подъеме так натужно гудел, что казалось, будто вся Останкинская башня упирается в землю с одной целью —

вытянуть лифт из бездны лифтовой шахты. Помнится, я успевал прочесть целый кортасаровский абзац за то время, пока старый лифт поднимался на этаж архива. Кроме всего прочего, в нем никогда не закладывало уши.

В некогда гулком холле у лифтов ожидал меня нетерпеливо тот самый гвардеец, что чистил несколькими часами раньше парабеллум. Он не переминался с ноги на ногу, ни одним жестом не дал понять своего нетерпения, но в его фигуре было что-то такое, что напомнило мне сторожевого цепного пса, которому мешает сорваться и вцепиться вам в кадык лишь длина цепи. И только теперь, увидев знакомые, одновременно холодные и наивные глаза этого ребенка-убийцы, я подумал, что не стоило, пожалуй, в такое время покидать помещение архива без оружия. К тому же у меня были основания полагать, что теперь оно бы однозначно выстрелило, возникни такая необходимость.

— Пойдемте, — еле слышно произнес гвардеец, но я хоть и услышал все так, как это было произнесено, почувствовал в этом «пойдемте» отчетливое «р»: «Пройдемте». Видимо, глубинные, скрытые на генетическом уровне, поколениями взращенные рефлексy российской интеллигенции неистребимы. Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что не исключен и обратный вариант: профессиональный военный люд низших чинов привычно уже произносит любое обращенное в сторону интеллигенции словцо с характерным намеком на «р». И в том и в другом случае этот уже безусловный рефлекс имел все причины — и исторические, и социально-психологические. Другими словами, я мог рефлекторно услышать то, что рефлекторно вложил в сказанное тигровый гвардеец. Все это шальными осколками пронеслось в моей голове, но я, пусть и не обладал способностью контролировать собственную мимику, постарался не показать своих чувств. Я хорошо знал, что в среде сильных животных, к коим я никак не мог себя причислить, подобная открытость чувств воспринимается исключительно как проявление слабости. А мне не хотелось казаться в глазах моего провожатого *еще более* слабым. Поэтому я лишь молча кивнул и, не задавая лишних вопросов, проследовал за гвардейцем.

Сразу же по выходе из лифта, когда массивный торс гвардейца перестал заслонять панораму, я был поражен тем, что осталось от холла. А от холла в принципе ничего и не осталось, за исключением незнакомых бетонных стен, изъеденных оспинами пулевых отметин и черными пятнами гари. Исчезли новые, под дерево, панели со стен, не было больше ни огромных витринных окон, ни фальшколонн — только огромная серая пещера, в углу которой темной грудой притаилась туша подбитого танка. Прищурившись, я к удивлению своему увидел, что башня с танка сорвана и, почерневшая, валяется в стороне. Когда мы проходили мимо развороченной туши танка, мой провожатый ткнул рукой в оплывшую по краям неровную дыру как раз под тем местом, где по моим представлениям должен был находиться ствол пушки, и делано равнодушно, но с плохо скрываемой гордостью проговорил:

— Моя работа!

Наверное, когда мать привезла мне из Италии бескозырку с помпоном, какую носят итальянские моряки, я с тем же деланным равнодушием говорил друзьям во дворе: «Да так... Мать привезла. Из Италии».

Решив, что наступил подходящий момент, я задал волновавший меня вопрос:

— Простите... хм... гвардеец, а что случилось? Почему меня... хм... вызвали?

Это самое «вызвали» прозвучало так нелепо кстати, что я не удержался и поморщился. А ну как Вацлавски нашел себе другого, более интересного партнера по чаепитию и поглощению карамели?

— Узнаете на месте, — резко сменив тон, ответил гвардеец, и теперь уж точно не ветер выбил мерзкие хладные капельки пота у меня между лопаток. Я тут же дал себе слово ни о чем и никогда не спрашивать этих людей.

Стараясь не отставать от широко шагающего гвардейца, я тем не менее не упускал возможности оглядеться. Сверху картина была мало похожа на что-то реальное, скорее уж на теоретическую схему спорадической обороны засеженного в башне гарнизона. Игрушечные солдатики, игрушечные фортификации, и только башня — реальная. Иногда приходилось прикладывать определенные усилия, чтоб заставить себя осознать — это не схема, не теоретическая выкладка, это то, что имеет место быть в действительности, чего бы оно ни напоминало при взгляде из архивных окон.

Пространство вокруг башни представляло собой одну огромную баррикаду из наваленных бетонных плит, шлакоблоков и канатных катушек, что прикатали ополченцы со стройки поблизости. Также в баррикаду были странным образом вплетены остовы легковых машин, среди которых я обнаружил нечто похожее на мой древний «Фольксваген жук», впрочем, весьма искореженное и местами сильно оплавленное. Никаких чувств в связи с этим я не испытал, поскольку данный автомобиль был древним уже тогда, когда я его покупал. Подозреваю, что он был таковым уже в день выпуска. Хорошая машина, но потерю ее я не переживал. Трудно было даже предполагать, понадобится ли мне когда-нибудь машина, а в таком виде, являясь частью баррикады, она не могла понадобиться однозначно. И единственное, о чем я жалел в связи с увиденным, это об оставленной в бардачке книге — сборнике стихов Элюара.

Между баррикадой и непосредственно башней было оставлено кольцо шириной не более пятнадцати метров. Здесь горело несколько небольших костерков, вокруг которых устроились люди в мешковатой военной форме. Они о чем-то вполголоса переговаривались, курили в кулак и оглядывались сквозь искажающие глаза стекла очков. В отличие от них тигровые гвардейцы у костров не сидели, на ополченцев поглядывали с легко заметным презрением и в большинстве своем находились на баррикаде или же под ней. Последние — все поголовно — занимались чисткой оружия.

Мой провожатый уверенно шагал по этому кольцу, протискивался между уступающими ему место ополченцами и в конце концов, ни разу не оглянувшись, прошел к служебному входу, откуда вел длинный и гулкий коридор в сердце башни, в котором были лишь несколько дверей, ведущих в бывшие помещения технических служб. За всю мою карьеру в архиве я лишь однажды побывал здесь, да и то сразу после окончания института. Однако после известного пожара, когда верхняя часть башни, составлявшая практически треть ее длины, рухнула внутрь средней и нижней части, была проведена частичная реконструкция и частичная перестройка башни. Именно тогда появился цельный литой стержень диаметром полтора с небольшим метра, который прошивал башню от самого верха до глубины в двести тридцать четыре метра (значительно ниже фундамента), где упирался в сложную систему резервуаров, наполненных ртутью и предназначенных для поддержания равновесия всей этой монументальной конструкции. Таким образом, даже в случае сильнейшего взрыва на уровне фундамента башня должна была устоять за счет стержня. Это было самым фундаментальным изменением конструкции башни, но кроме этого, была и масса мелких изменений. Так, технические помещения стали «бывшими техническими помещениями». Почему это произошло и где теперь располагались действующие технические помещения, я за ненужностью не узнавал и не интересовался. Что касается событий после начала бунта, то насколько мне известно, именно там оборудовал себе штаб-квартиру капитан Вацлавски.

Мы шли вокруг башни, и гвардейцы скользили по мне равнодушными взглядами, иногда разбавленными толикой презрения. Ополченцы, напротив, приветливо кивали. Я обратил внимание, что даже сейчас, несмотря на теплую погоду, почти все они были одеты в шинели. А солнце тем временем светило как-то отчаянно не по-летнему, словно в последний

раз, ослепительно и в то же время мягко — как будто бежевым бархатом роняло свет на этот город. Ветер, от которого моя кожа успела отвыкнуть, приятно холодил лицо и тормозил мои значительно поредевшие за последние несколько лет волосы. И впервые за то время, как я оказался добровольным затворником в помещении архива (ведь никто не мешал мне покидать помещение), задышалось в полную грудь. Впрочем, я едва ли успел этим насладиться.

...Гвардеец распахнул передо мной дверь и кивком предложил войти. Я, разумеется, подчинился, хотя ощущение было такое, будто меня препровождают в камеру. И я с трудом подавил желание оглянуться, когда оглушительно хлопнула дверь за спиной. Сразу стало сумрачно, несмотря на многочисленные лампы дневного света, неровным пунктиром половинившие потолок коридора. К тому же воздух здесь был неприятно холодный и влажный, отчего уже через мгновение стало казаться, что тело облепила тонкая пленка.

— Вперед, — тихо скомандовал гвардеец, но даже эта тихая команда отрикошетила внезапным гулким эхом между стенами. Лишь сделав шаг вперед, я осознал, что невольно сложил руки за спиной.

— Позвольте, — проговорил я, намереваясь добавить что-то типа «по какому праву вы позволяете себе» и прочие глупости, необходимые разве что для сохранения некоего самоуважения, но совершенно не действующие на того, кому предназначаются. Вот и теперь, стоило мне приостановиться и добавить в голос строптивости, как несильный, но довольно резкий толчок в плечо едва не сбил меня с ног.

— Вперед, — с той же интонацией проговорил гвардеец.

И я пошел вперед.

Пожалуй, следовало бы написать так: и я пошел вперед, сломленный и мгновенно смилившийся с ситуацией. Не собирающийся добавлять к произнесенному «позвольте» ни слова. Это правда, хотя в тот момент я не пытался анализировать и уж тем более формулировать то тоскливое отчаяние, с которым вновь двинулся по коридору. Единственное, что я четко осознавал, это ответ на так и не заданный вслух вопрос: «По какому праву?»

По самому древнему праву, что позволяло совершать все великие и малые деяния человека, которое по-прежнему, через века цивилизации, интеллектуального и культурного развития, горького и славного опыта, остается единственным действительным правом определенных людей. Право Сильного перед Бесправием Слабого. Jedem das Seine...

Лишь коридор показался мне длиннее, чем тогда, когда я побывал тут в первый и последний раз. А впрочем, возможно, это тоже было следствием реконструкции...

Он был странным, этот коридор. Он был странным еще в те времена, когда мне довелось в нем побывать. Из его стен тогда торчали кольца, напоминая о пытках и узниках. После реконструкции странности лишь прибавилось, впрочем, несколько иного рода — скорее внешнего, зрительного. Одна стена — та, что являлась одновременно и внешней стеной башни? — была покрыта стальными панелями и выкрашена в матовый черный цвет, по которому через промежутки в несколько метров были выведены белой краской комбинации непонятных мне цифр, букв и знаков. В основном эти буквенно-символьные аббревиатуры мне ничего не говорили, но одна — «ЗАК 66 — 6 ЗАК (СВЕТ)» — показалась какой-то зловещей насмешкой. «Куда меня ведут, — подумал я, придерживая шаг у жуткой аббревиатуры и тут же чувствуя легкий толчок в спину, — чем я им помешал? За что?» Впрочем, эти мысли были практически лишены какой-либо экспрессивности — я как будто вписывал их в один из тех бланков, которые имеют значение только непосредственно в момент заполнения. До и после этого смысла в их существовании не было, да и во время вписывания букв в очерченные линиями графы смысл определялся весьма туманным образом — *так положено*... Состояние мое и мои мысли на тот момент представляли собой

что-то странное: мне положено было думать именно так, я думал именно так, но именно так почему-то не чувствовал. Я словно бы отстранился, и теперь мысли мои и мое состояние в корне противоречили друг другу, и если первые были оправданно паническими, то второе находилось в состоянии абсолютного покоя. По всей видимости, дисбаланс этот был вызван психологическим шоком: страх и неожиданный поворот событий, то есть два минуса, дали в итоге математически закономерный плюс — противоречащее ситуации и далекое от естественности спокойствие...

Вторая стена коридора была покрыта теми же самыми стальными панелями, но некрашеными. И лишь в двух местах на ней были надписи. Первая у самого входа: «Пожарный щит — 88 ТПС» (которая мне ничего, разумеется, не говорила), вторая — как раз напротив жуткой аббревиатуры с тремя шестерками: «ИЗЫДИМ 4 МЕТРА». Вкупе с аббревиатурой это звучало как призыв: «Изыдем же...» И еще эти «четыре метра», которые придавали бессмыслице некий гротескный шарм...

У первой по ходу двери (она напоминала кусок панели, вырванный из одной стены и подвешенный на другую — стальная заплатка на черном поле) гвардеец приказал мне остановиться. Я повиновался, ощущая, что все больше отстраняюсь от происходящего и превращаюсь в наблюдателя... Я не сопротивлялся этому состоянию, напротив, пытался как можно глубже в него погрузиться. Оно казалось мне единственным, хотя и весьма призрачным способом избежать ужаса в чистом виде. Правда, я не надеялся, что смогу сохранить отстраненность, когда мне начнут причинять боль. Боль — самое отрезвляющее средство, и тут никаких иллюзий я не строил и не питал. А в том, что именно это и должно произойти, я не сомневался, иначе не было смысла ни в действиях гвардейца, ни в самом факте моего вызова из архива. Впрочем, смысла причинять мне боль я по-прежнему не видел, но вполне резонно сомневался, что меня станут об этом спрашивать.

И все же. Всю информацию, которую мог потребовать у меня Вацлавски или любой другой представитель гарнизона, я бы предоставил добровольно и без возражений. А никакого другого интереса я не представлял. Так какой смысл был во всем происходящем в таком случае?

Мой конвойный — теперь я думал о нем именно так — встал чуть правее дверного проема и толкнул дверь. При этом я заметил, что к самой двери он стоит как бы вполоборота. В тот же миг в лицо мне неожиданно ударил луч света, настолько яркий, что я мгновенно ослеп, хотя коридор был неплохо освещен. Я застыл на месте, не зная, что делать, ничего не видя и совершенно не представляя, что, собственно, от меня требуется в данной ситуации. Потом чья-то тяжелая рука легла мне на плечи.

— Если ты с ним заодно, — едва расслышал я тихий шепот гвардейца, — я тебе кадык выгрызу, старая мразь...

Сказав это, он толкнул меня, еще меньше понимающего, в дверной проем, причем на этот раз сил не сдерживал, и я, ослепленный и растерянный, охнув, растянулся на полу, сильно приложившись больным коленом, плечом и щекой. Кожа на щеке, кажется, тут же лопнула...

Я услышал, как закрылась дверь, но в тот момент был полностью поглощен той самой болью, о которой мысленно рассуждал еще мгновение назад. Отстраненность, как я и ожидал, слетела мгновенно, и вместе с болью вернулся страх, пронзив тело и буквально парализовав меня. «Началось», — металось в голове стремительными рикошетами, а сам я почему-то все время ждал, что меня ударят в лицо. Ударят, разумеется, ногой, ведь я так и лежал на полу, скорчившись от страха и боли. Самое ужасное, что свет по-прежнему бил мне в глаза, и я понятия не имел, откуда меня ударят, потому просто закрыл голову руками. Но это казалось такой несерьезной защитой...

Нет ничего более противного человеческому сознанию, чем ощущение боли. Не какие-то абстрактные понятия, призванные подменять значение боли некими вербальными эквивалентами, а сама боль — непосредственное ощущение (опосредованное ощущение

человеку недоступно), когда нервные окончания по всему организму начинают вопить, взывая к мозгу о помощи. Ведь боль — это всегда некая неполадка в организме, неважно, естественная или искусственно вызванная. Впрочем, я глубоко сомневаюсь, что неполадки могут быть естественными... Более того, то, что принято называть снисхождением, сочувствием к чужой боли, есть ни что иное, как сочувствие к своей, НЕКОГДА УЖЕ ИСПЫТАННОЙ боли. Иными словами, мы сочувствуем своей памяти о боли. Человек смотрит, как страдает на пыточном столе некий хомо сапиенс, которому вбили в зуб стальной итырь, и неосознанно задает себе вопрос — что бы чувствовал я в этой ситуации? И услужливый мозг передает этот вопрос нервным окончаниям в зубе. Разумеется, боли мы не чувствуем, но мы чувствуем, где именно она могла бы быть. Гипотетическая, но локализованная боль подтверждается визуальной картинкой страдающего человека. И видя его страдания, мы морищимся и жалеем самих себя в страхе перед болью, которую испытывали бы на месте того, кого пытаются. Впрочем, визуальный ряд не обязателен, достаточно представить эту картину. Что, кстати, показательно. Наши ощущения и в том и в другом случае будут однозначны, и это ясно говорит об их источнике и предпосылках. Правда, глядя на того, кого пытаются, мы будем также испытывать некое давление того, что принято считать наработанными нормами социальной морали.

Страдание одного человека в глазах другого — неправильно, неверно, не принято в хорошем обществе. Непризнание этого есть преступление. И тут стоит согласиться — человек, который не боится собственной боли (неполадок в своем организме), психически нездоров, неполноценен. Не испытывая страха перед собственной болью, он способен без зазрения совести причинить боль другому существу. То же самое относится и к тем, кто испытывает гипертрофированные переживания и страхи по поводу гипотетической возможности боли. Известно, что отвлечься от одной боли помогает боль другая. Когда у нас болит зуб, мы стучим в стену кулаком. И боль в кулаке кажется нам порою приятной... Точно также психически ненормальный человек избавляется от собственного страха перед ощущением боли путем причинения боли другим существам. Именно поэтому убийцы с различного рода психическими отклонениями не дают жертве умереть сразу, а нередко пытаются ее сутками. Смерть при постоянном страхе боли подсознательно начинает восприниматься как один из способов избавления от нее...

Человек, приставивший бритву к шее Вацлавски, не был психически ненормальным. Хотя, пожалуй, что-то в нем было не так. В его смутно знакомом лице, которое казалось пластмассовым из-за практически полного отсутствия мимики, в его манере говорить (слишком ровно, почти без интонаций), в том, как он угловато и не очень уверенно двигался, — во всем этом чувствовалось что-то ненормальное. Он словно выполнял программу, смахивая на зомби. И все-таки не думаю, что он был психически ненормален.

— Вы Архивариус? — проговорил этот странный человек в тот самый момент, когда слепящий свет внезапно погас.

Надо заметить, что я все еще лежал на полу, грязный, испуганный и, кроме того, ослепленный. Так что я, хотя и услышал вопрос и понял его смысл, не смог в тот момент ответить. Да и картина вжатого в стул и медленно шевелящего губами Вацлавски, пустыми глазами уставившегося куда-то надо мной, и странного незнакомца, прижимавшего к его шее старинную опасную бритву, — то есть то, что я в первую очередь увидел, когда глаза начали мало-мальски различать подробности окружающего, — все это, разумеется, не способствовало нормальному восприятию. И даже когда этот похожий на зомби незнакомец повторил свой вопрос еще раз, я смог только кивнуть.

И только когда лезвие — видимо, случайно — чуть сдвинулось на шее Вацлавски, и в ложбинку под кадыком потекла тоненькая струйка крови, а сам Вацлавски даже не дрогнул, я вдруг понял, что это странное шевеление его губ и пустой взгляд говорят о том, что капитан тигровых крайне, предельно сосредоточен. Настолько, что даже слегка порезавшая

шею опасная бритва не смогла отвлечь его... И тогда, в ту же самую минуту осознания я успокоился. Сразу, вдруг, внезапно и прежде всего для самого себя. Успокоился настолько, что когда вопрос был повторен в третий раз, я произнес, пожалуй, не менее ровным, чем у незнакомца, голосом:

— Да, я Архивариус, — ответил я поднимаясь и одергивая костюм. — Что вы...

— Будет лучше, если вы помолчите, — оборвал меня странный тип и кивнул на Вацлавски, по-прежнему никак не реагирующего на происходящее. — Этот человек через несколько минут прикончит меня, поэтому просто послушайте...

— Да, но... — попытался было вставить я то, что совсем недавно поклялся никогда более не произносить. То есть все то же банальное «по какому праву». Но незнакомец снова меня оборвал:

— Просто слушайте и ничего не говорите. В моем рюкзаке — желтый конверт. Заберите его себе. Чуть позже вас найдет один человек, бывший курьер. Передайте ему этот конверт. И все. Это важно, и мне жаль, что я не успеваю объяснить вам, почему.

— И все-таки...

— Ом, — тихо, но не настолько, чтобы не быть услышанным, проговорил Вацлавски, и я снова оказался на полу. Боли не было, лишь мелькнули в глазах белые и черные полосы, а потом то самое спасение от боли укрыло меня теплым одеялом темноты, сквозь которое почти не пробивались истошные вопли разрываемого заживо незнакомца. «А ведь я его помню, — вдруг осознал я, — он как-то связан со смертью Мандаяна». Тогда газеты писали об этом целую неделю, и его лицо светилось отовсюду. Правда, не совсем то лицо, что-то было не так, но что? Кажется я потерял сознание до того, как нашел ответ...

Мне хотелось бы верить, что странный незнакомец мучался недолго. Хотелось бы, но я в это не верил. Когда меня, выворачиваемого наизнанку от увиденного, вытаскивали на улицу, тигры уже заканчивали свою работу, и все, что осталось от бедолаги — перевернутая арка грудной клетки, разрозненные внутренности и несколько неопределимых обломков костей, — обильно усеивало помещение, словно полосатые хищники поставили перед собой целью не столько сожрать человека, сколько пометить его кровью и останками максимум площади этого импровизированного пиршественного зала. Меня стошнило сразу, как только оберегавшее мое сознание забытие исчезло и я открыл глаза. Правда, сначала я решил, что это кровь Вацлавски, поскольку последнее из того, что я четко помнил, была шея капитана тигровых и бритва в руках незнакомца... Потом я увидел три фигуры, копошившиеся над чем-то бесформенным. Меня снова стошнило, а в голове какое-то мгновение бродила совершенно плоская, как ступня призывника, мысль — что же это, черт побери, такое там? И лишь когда одна из фигур оторвалась от того, чем была занята, и подняла ко мне лицо, которое вдруг оказалось лицом Вацлавски (абсолютно черные, лишенные белков глаза настороженно наблюдали за мной, а испачкавшая рот и подбородок, стекавшая на голую грудь кровь недвусмысленно давала понять, что случится со мной, если капитану что-то не понравится, поэтому я замер, стараясь смягчить конвульсии желудка), только в этот момент я понял, что выкрикнутое капитаном «Ом» было заключением жуткой тигровой мантры.

— Он сказал, — проговорил вдруг Вацлавски, и кровь еще обильнее полилась с его подбородка, — сказал, чтобы вы выполнили то, что он посыл, сказал, что так написано... вы идите, Пётг Петъевич, ни к чему вам видеть это...

Вацлавски снова опустил лицо к груде мяса, а меня начало рвать желчью, и теперь я уже совершенно ничего не мог с этим поделать. Тигры не обращали на мои мучения никакого внимания, Вацлавски тоже, и мне начало казаться, что он и не отрывался от своего жуткого, омерзительного кушанья, но он вдруг снова вскинул голову и проговорил:

— Гвайдеец, уведи айхивагиуса. Не видишь, плохо человеку?!

Это был тот же самый гвардеец, что пообещал выгрызть мне кадык несколькими минутами раньше. Теперь-то я понимал, что когда сожранный тиграми тип потребовал

встречи со мной, гвардеец решил, что я виноват во всем случившемся. Теперь он вел меня по тому же коридору, аккуратно обхватив за плечи, и терпеливо ждал, когда новые судороги сводили мои старческие внутренности (хотя выдавить из себя организм уже ничего не мог, — все, что было, смешалось с кровью в той ужасной комнате)...

Потом под ногами стало светлее. Я понял, что мы вышли на улицу. Кто-то подбежал, подхватил меня, но я все время смотрел под ноги, находясь в какой-то прострации, а перед моими глазами все еще висела четкая картина: голый Вацлавски вгрызается в бесформенную мясную тушу... По моим щекам текли слезы — то ли от пережитого, то ли от бессмысленных спазмов, которые то и дело сдавливали мой желудок.

Спустя два с половиной часа Вацлавски, подливая мне в пиалу чифирь, скажет:

— Я так до сих пор и не знаю, кто кому хозяин — я мантге или мантга мне. — И это будут последние его слова, услышанные мной. Спустя еще четверть часа его разорвет прямым попаданием из «мухи» во время очередной атаки на башню.

Случится это за мгновения до того, как капитан Вацлавски произнесет свое завершающее «Ом». Гарнизон башни, лишенный поддержки стремительных полосатых хищников, продержится всего полчаса. За этот краткий период времени десять необычных смертников пройдут по коридору в минном поясе. Все они погибнут, но и башня не устоит. Смертники будут представлять собой живые принимающие колонки. Звук, который будет запущен с передатчика, разорвет самих смертников в клочья, уничтожит все живое в окружности двухсот метров и серьезно повредит удерживающий стержень башни. Стержень не даст башне рухнуть внутрь самой себя, что было бы, кстати, приди кому-то в голову в очередной раз реконструировать ее. Нет, башня рухнет всей своей тушей, подмяв под себя часть жилого массива, в том числе и недавно построенную монорельсовую дорогу. Даже нас — меня и того самого гвардейца, которому Вацлавски отдаст краткий приказ «Агхивагиус должен выжить!» — уходивших глубинными коллекторами в сторону Ботанического сада, накроет так, что еще несколько часов я буду не в состоянии двигаться.

Но прежде чем Вацлавски произнес эти свои слова о мантре и ее власти над собой, у нас состоялся долгий разговор... Боже, дай нам днесь, как принято говорить в подобных случаях. Впрочем, в воздухе уже витало ощущение финала, и это, пожалуй, чувствовали все, а я — лишь немногим острее, чем все остальные, поскольку имел некоторый опыт наблюдений за развитием человеческой истории.

— Видите ли, мой Пётг Петъёвич, все случилось куда скорее, чем можно было ожидать. Мегзавец уложил тгех моих гвагдейцев, а это мойогого стоит. Но мне нужно было понять его цель, он ведь с самого начала т'ебовал п'ивести вас... А уж потом появилось лезвие... Но знаете, что погазительно? Он ведь заганее понял, что я его убью... ну хогошо, хогошо, сожгу, какая в сущности язница... Да-с... А потом он все в'емя огал: «Пе'едайте ему, что так написано!...» Навегное, опять вас имел в виду... Как вы считаете, Пётг Петъёвич?

— Понятия не имею, капитан... — ответил я, прикуривая дрожащими руками сигарету.

— А что в конветтике, тоже не знаете? — Вацлавски поставил свою пиалу на стол и положил рядом большой желтый конверт. Точно в таких же когда-то курьеры приносили нам корреспонденцию. Один угол конверта был испачкан в чем-то темном, и я почувствовал, что меня вот-вот снова вырвет.

— Откуда же мне знать, что в нем? Почему бы вам не открыть и не посмотреть?

— Можно, — кивнул Вацлавски, — можно, но... Может быть, не нужно... В любом случае, у нас есть в'емя на газмышления...

Но вот как раз времени у нас больше не было. Впрочем, как и заварки...

Круг пятый ДУШЕГУБ

Когда утренняя свежесть оседает на перегретом стволе «Калашникова» каплями

конденсата, уже не остается времени оглянуться. Уже через мгновение капля обращается паром. Но кто-то сует тебе в губы сигарету, вспыхивает в чужом кулаке спичка, ты прикуриваешь и торопливо ее задуваешь. Потом отсчитываешь: раз-два-три-четыре, — и стену над твоей головой щербит неуверенная, но пунктуальная снайперская пуля. Всегда на четвертой секунде. В этом нет ни музыки, ни философии, только рыжая пыль изуродованного кирпича. Очередного кирпича в похожей на дуршлаг стене того, что некогда было домом. Если оглянуться, видно, что внутри кирпич не оранжевый, а темно-красный. Почти как человек. Я улыбаюсь этой мысли, и мгновение исчезает вместе с испарившимися каплями конденсата.

Диспозиция: чертовски раннее утро, руины жилого массива, город Москва. Вот уже два часа снайпер не дает нам высунуть носа из укрытия, но мы и не особенно рвемся. Нам, собственно, некуда торопиться. В одном ухе у меня играет нарезка из раннего «Лайбаха», другое свободно. Не потому, что я, лежа на дне промозглой ямы, надеюсь услышать то, чего не услышат чукотский охотник Самук и профессиональный звукач Фиксатый. А потому, что второй наушник оторвался два дня назад, зацепившись за арматурный прут.

— Я, на, вот чего не пойму, — бормочет Гарри, затягиваясь под бушлатом, — на хрена им эта Москва сдалась? Нет, то есть, на, я понимаю, что это символ и все такое. Но в этом символе ни одного, на, здания целого не осталось. Все, что сохранилось чудом, на, поносило во время артподготовки. Чтоб этим уродам укрыться негде было. Так почему всю эту ерунду сразу не накрыли ковровым нойзом? Все равно же отстраивать...

— Кремль стоит еще, — отвечает откуда-то из темноты Брахман.

— А, ну да, — соглашается Гарри, — там же, на, Тварь.

Я тоже натягиваю на лицо отворот бушлата и затягиваюсь. На секунду огонек высвечивает рваную дыру на подмышке свитера... Никак не получается вспомнить, когда и с кого я его снял. Память, хоть и восстановилась, порой дает такие вот сбои. Помню только, как долго отстирывал его в буреющей от крови воде. Или все-таки это был бушлат?

— Вот вы, Гарри, вроде культурный человек, музыкант, — говорит Фиксатый, принимая от меня сигарету и повторяя сакральный обряд затяжки под бушлат, — но речь у вас, как у конюха, простите. Через слово — «на».

— И что, на?

— Ничего, уши режет.

— Ну, извините, фрау. На...

Гарри и правда был музыкантом. В восемнадцать лет он сколотил кантри-команду и назвал ее «Кантрибуция». До сорока лет в команде продержался только он сам, навсегда увязнув в бесконечных повторах самого себя, повторившего к тому времени всех более или менее известных исполнителей кантри, неоднократно повторявших и пародировавших друг друга. Гарри делал то, что никому уже было не нужно, за исключением, пожалуй, пары десятков человек на всей территории Москвы. Но и это он делал плохо, так что те самые пара десятков человек предпочитали слушать других динозавров, так же безнадежно увязших в этом архаичном болоте. К счастью для Гарри, он некоторое (весьма немалое) время этого не понимал. Но в день двадцатипятилетия команды на одном из порталов, позиционирующихся как рупор отечественной контркультуры, была опубликована статья, озаглавленная «Вторичность как единственный атрибут "Кантрибуции"». Это была самая точная и справедливая рецензия на творчество Гарри Поворотова. Прочитав статью, он дрожащими от праведного гнева пальцами настучал в поле для комментариев: «НиасилилЪ, на!» — и больше на этом портале не появлялся... В январе 2005 года в клубе «Матрица» Гарри Поворотов был представлен автору той злосчастной статьи. Не говоря ни слова, оскорбленный музыкант разбил об голову рецензента бутылку текилы. Когда в суде ему объяснили, что подобные действия уголовно наказуемы, Гарри только пожал печами. Последний год он беспробудно пил, потеряв единственную опору в жизни и даже не пытаясь найти новую. Так что терять на воле, кроме печени, ему было нечего. В заключении с тоски и вечного недоедания Гарри значительно похудел и написал единственную вещь, которая

действительно была небезынтeресной. Настoлькo, чтo ee дaжe кaкoe-тo врeмя крутили пo известным FM-радиостанциям. Песня называлась «Нет», и ee крайнe незамысловатый припев порoю напевал, забывшись, дaжe дежурный офицер Хуряцев:

Пусть чаша мести меня ми'нет,
О, Пелтроу Гви'нет, Пелтроу Гви'нет...
Но пусть не ми'нет нас мине'т!
Оу, йе, Пелтроу, давай, Гвине'т...

В куплете подробно описывалась судьба несчастного ковбоя, отбывающего несправедливый срок в местах заключения. Единственным развлечением бедолаги был постер обнаженной Гвинет Пелтроу. Но к этому постеру постоянно выстраивалась очередь из сокамерников, которым тоже надо было как-то устраивать свою личную жизнь. Песня была не только небезынтeресной, но и правдивой. Я сидел в той самой камере и могу подтвердить — очередь к плакату действительно имела место быть...

Кроме меня и Гарри Поворотова, в той же самой камере находились бывший военный летчик Брахман (это была его настоящая фамилия, ударение на первую «а», а звали Брахмана — Георгий Николаевич, можно Жора), чукотский охотник Самук, молчаливый и крайне необщительный, а также Игорь Фиксатый, человек необычайнейшей профессии — поставщик нойза. Настoлькo же необычной, настoлькo и запрещенной.

Я попал в тюрьму сразу с больничной койки. Никакого особенного следствия не было, да и суд, в общем, походил скорее на рутинный фарс. На меня было повешено не только убийство Лебруса, моего напарника, но и смерть скончавшегося от потери крови Томаша Кофы, известного как dj Соьер. Я согласился со всем, не раздумывая, признал себя виновным по всем статьям и вскоре получил долгожданный отдых и покой в вышеозначенной камере. Именно там я наконец узнал от Фиксатого о том, кто такой Томаш Кофа и ему подобные, и осознал всю комедийность окружающего мира... Впрочем, толку от осознания было на грош, да и тот — ломаный.

— Да вы что! Томаш Кофа — это гигант! Это монстр! Вы даже не представляете, кого вы завалили, уважаемый Душегуб. Абсолютный психический мутант, человек на сто процентов ставший принимающим динамиком, человек-колонка. Такие люди носят музыку в себе. К сожалению, остаться при этом в своем уме нереально. Ведь надо пройти не только долгую обработку нойзовой кислотой, нужно пропустить сквозь ноздри такое количество дряни, что мозг просто не в состоянии нормально транслировать все, что ему навязывают... Да... Подобных мутантов — единицы. И практически все они находятся под опекой спецслужб или коммерческих структур. Ведь это бомба, уважаемый! Он пройдет все металлоискатели, всех натасканных собак, всех медиков. А в нужный момент пропустит сквозь себя такое, что... Да что угодно может произойти!... Поэтому возможности таких людей искусственно ограничиваются. Представляете, что под силу человеку, управляющему звуком? Да практически все! А Томаш Кофа был самым первым экземпляром нойзочеловека. И самым неудачным. В то время еще не пытались ограничивать их возможности. Со временем изменения в психике Томаша Кофы перестали поддаваться контролю, и чаще всего он пребывал в каком-то своем мире, поступая по своему разумению, а не согласно указаниям... А потом и вовсе пропал. Мне кажется, что тогда-то вас и наняли его убрать. Так я это представляю. Странно только одно — почему Кофа не атаковал вас звуком?...

— А ты знаешь, что Кофа был генетически предрасположенным самоубийцей? — спросил я.

— Нет. Хотя бы потому, что это невозможно... — почесывая козлиную бородку, ответил Фиксатый. — Идеальное оружие, мечтающие умереть, — это абсурд... Напротив, в программу нойзочеловека заложена необходимость выжить. Так что вас кто-то обманул. Хотя... Это был бы жуткий гибрид. Подумайте, у человека есть власть не только над звуком, но и над причинно-следственными связями... Однако уверяю вас, Душегуб, это невозможно.

Поверьте мне. Я работал со звуком слишком долго, чтобы подобная информация просочилась мимо меня.

Гоша Фиксатый, как уже говорилось, зарабатывал на хлеб опасным промыслом — поставлял нойз. В основном в различного рода ночные клубы, где за основным нойзом, лупящим из динамиков по танцполу, легкая добавка нойза специфического была практически незаметна. Будучи профессионалом, Фиксатый добавлял на пограничные уровни слышимости необходимые ингредиенты, от которых слушатели в зависимости от требований клиента (хозяина заведения) испытывали различные желания — вновь и вновь возвращаться на танцпол, скупать мегалитры горячительных напитков, получать множественные оргазмы — или, напротив, становились крайне сосредоточенными... С помощью звука можно было сделать все что угодно, а Фиксатый мог делать почти все что угодно со звуком. Он был профессионалом с самой большой буквы. Однако Фиксатый уверовал в собственную недостижимость и начал работать на частных заказчиков-нойзманов, на чем в конечном счете и погорел... Один из частных потребителей услуг Фиксатого был найден мертвым с наушниками на голове. Любой наркотик опасен при передозировке, а у погибшего оказался, кроме того, перетянут у основания член. На Фиксатого вышли довольно быстро. При задержании напуганный до смерти поставщик звука оказал сопротивление, в результате чего три человека начисто лишились барабанных перепонки, а один — и тех зачатков рассудка, кои еще не атрофировались за счет профессиональной деятельности. Фиксатый даже умудрился уйти, но потом перепугался еще больше и добровольно сдался в ближайшее маркерное отделение ППС.

Про Самука я почти ничего не знал. Только то небольшое, что рассказывали полупешепотом остальные сокамерники. Будто бы однажды Самук возник в кабинете руководителя фирмы, которая специализировалась на реализации в Подмоскowie пушнины, и перерезал тому горло специальным ножом для снятия оной пушнины с пушного зверя. За что и почему чукотский охотник освежевал теперь уже покойного бизнесмена — не знал никто, а сам Самук молчал, флегматично поглаживая квадратные усы. Лишь один раз, глядя на красный квадрат закатного окна, охотник пробормотал: «Собака умирать, лиса радоваться; лиса умирать — собака плевать хотел». Но имела эта фраза какое-то отношение к смерти бизнесмена или не имела, я так и не выяснил.

Ну, а что касается бывшего военного летчика Жоры Брахмана, то тут все было и проще и смешнее. Вина его состояла в том, что он пропил не до конца рассекреченный Су-34. Случилось это ровно за три дня до выхода Брахмана из запоя по поводу обнаружения как-то вечером прапорщика Бабаева среди изящно разведенных ног Жориной супруги, Елизаветы Павловны Брахман. Увидев данный натюрморт, Брахман почему-то не стал никого трогать, а ударился в недельный запой. За первые три дня Жора пропил зарплату и споил дежурную смену авиатехников. За вторые три дня Жора пропил вырученные с продажи стратегического бомбардировщика деньги, которые составляли сумму, равную только что пропитой зарплате.

— Не поверите, братцы, Су-34 за штуку баксов!!! Секретный стратегический бомбардировщик, последний в семействе Сухого, способный чуть ли не в вакууме летать, — за тридцать штук деревянных... Я бы и сам, мужики, не поверил... И главное, никак не могу вспомнить, кому я его продал?

Осознав на седьмой день (символично!), что теперь его скорее всего отдадут под трибунал и расстреляют, Жора Брахман сделал для себя неожиданный, но вполне логичный вывод: он решил, что теперь ему терять нечего. И угнал вертолет. Правда, ненадолго, через полчаса вернул и сдался в комендатуру. Предварительно отвязав ноги надолго потерявшего сознание прапорщика Бабаева от вертолетного шасси. Жену Брахман не тронул...

Три дня протомился военный летчик Жора Брахман в камере при военной комендатуре, плохо спал, мало ел и готовился, не дрогнув сердцем и ягодицами, взглянуть в глаза

расстрельной команде. И ведь Брахмана действительно хотели расстрелять. Но случилось чудо. За день до того, как прапорщик Бабаев был обнаружен меж ног супруги Жоры Брахмана, министр обороны Российской Федерации Петр Иванович Сиолишвили подписал указ о сокращении летного состава ряда военно-воздушных эскадрилий Московского военного округа. В список сокращенных попал и Жора. Так что по сути в момент продажи самолета Брахман был уже гражданским лицом, а значит, судить его следовало по гражданским законам. Все это было очень запутано, и ни гражданские, ни военные чиновники толком не знали, стоит ли перетягивать одеяло на свою сторону или лучше отбросить его подальше. Ну, а пока суд да дело, Жору посадили в нашу камеру.

Так мы, собственно, и встретились: бывший военный летчик, чукотский охотник, музыкант-лузер, нойзовый барыга и генетически предрасположенный убийца.

А через день пришел генерал Фальстат.

Фальстат пришел рано утром. Настолько рано, что даже летнее солнце еще не выползло над многоэтажным горизонтом, просто кинуло полусонную горсть красного на однотипные коробки домов, как мы иногда кидаем будильнику: «Да-да, встаю уже, отвали...»

И все же в нашей камере никто не спал, да и вообще никто не спал в Гарибальдийке. Еще с вечера начали тревожно перестукиваться стены извечным межкамерным языком: как, что, почему? Никто ничего не знал. Разумеется. Лишь странный тягучий воздух, в котором тяжело дышалось, и собаки вохровские, которые весь день то валялись в пыли, то принимались жалобно поскуливать. Но те испуганно молчали...

— Что?! Как?! Почему?! — орал старший кинолог на младших кинологов.

— Никто ничего не знает, — отвечали младшие кинологи старшему кинологу.

И правда, никто ничего не знал. Самук весь день не слезал со шконки, перебирал в руке три костяных обломка, кидал их на полосатое синезеленое одеяло и изредка начинал что-то мычать. Гарри вдруг принялся наигрывать что-то джазово-кинематографическое, чем немало перепугал Фиксатого, очень чувствительного к звуку.

Ближе к ночи стало совсем невмоготу, и, перекинувшись парой слов, мы с Брахманом и Гарри совместно разобрали спинки шконок, выломали из них пруты и договорились спать по очереди. Но спать никто не лег.

И все же, несмотря на всеобщую готовность и ожидание беды, стало по-настоящему жутко, когда около часа ночи дежурные вохровцы стали разносить по камерам коробки сухпая. Серые картонные коробки с непонятными, размытыми штемпелями, углы продавлены, на боку некоторых сохранились неровно приклеенные этикетки, но буквы побледнели так, что не разобрать, и только ярко желтело гнойное пятно ровно посередине каждой этикетки — просвечивал клей, родной, канцелярский, заткнутый скрепкой...

— Это в честь чего же, позвольте узнать? — поинтересовался Гога Фиксатый.

— Это в честь праздника, — не поднимая от коробок глаз, ответил вохровец.

— Как праздника?

— Что за праздник?

— Почему праздник?

— Никто ничего не знает, — пожал плечами вохровец, — но велели сказать, что праздник. Значит, и есть праздник...

— В час ночи, — уточнил я, но вохровец только махнул рукой.

Есть никто не стал, не хотелось. Только Гарри вытащил из матраца сплюсненную пустую консервную банку из-под горошка «Бондюэль». Долго ее выправлял, вставляя между движениями рук вспомогательное междометие «на». Потом тщательно отмерил из заварочной упаковки. А потом Самук вдруг свесился со шконки и сказал, удивив всех:

— Не советую.

— Что? — оторопел Гарри.

— Начальника приходил, шконка сломанный видел. Однако промолчал. Что-то нехорошее будет, лучше, однако, не чифири, не советую. — Высказав это, он погладил

квадратные усы и снова принялся метать кости на одеяло и мычать. Гарри же молча и не раздумывая пересыпал заварку назад в коробку. Если уж Самук заговорил...

— Не нравится мне все это, — констатировал Брахман и начал наматывать на выломанный прут кусок простыни.

— А ты-то чего дергаешься, — невесело усмехнулся Гарри, отрывая от той же простыни угол, — тебя ж, на, все равно расстреляют...

— Посмотрим...

Смотреть пришлось недолго. Около двух Фиксатый дернулся и тоскливо посмотрел на окно. В ту же секунду со шконки спрыгнул Самук с ножом в руках. Никто не стал спрашивать, где именно чукотский охотник прятал его от обысков вохры.

Ну, а потом около часа по тюрьме долбили гигантскими кувалдами, сотрясая стены, сбивая известку с потолка, сталкивая людей. Удары были такими мощными, что удержаться на ногах не было никакой возможности. Мы постаскивали со шконок матрасы и старались прикрываться ими друг от друга, от стен, от пола. И все равно сталкивались, сшибались, бились, сплевывали кровью и снова сталкивались. Только Самук не стал хватать матрас. Самук вцепился в дверную ручку и не выпускал ее. Досталось ему, конечно, больше всех. И тем не менее, когда спустя час окошко раздачи пищи открылось, он успел отскочить в сторону, и тугая очередь, лупцуя рикошетами, откалывая куски от стен и аж постанывая сопротивляющимся воздухом, его не задела. И потом, когда дверь пошла ударом ноги в камеру, чертя осевшим давным-давно углом сорокопятиградусную дугу по бетонному полу, Самук выскочил в коридор первым. Он вообще был очень быстрый, этот чукотский охотник. Он был просто чертовски быстр, даже быстрее опытных тигровых гвардейцев Фальстата. И только благодаря ему мы выбрались из этой передрыги здоровыми и почти целыми...

— Тах-тах! И тах-тах! — бубнит и вальсирует странная сонная перестрелка где-то неподалеку от нас. Или кроет ленивым русским матерком неопределенно, сквозь семечки: мать-мать, дескать, перемать! Шагах в двухстах от наших руин, может, чуть дальше или чуть ближе, — расстояния, не превышающие убойную дальность пули калибра 5.45, значения практически не имеют. А это явно ближе.

Плеер щелкает автостопом, и в правое ухо начинает сыпаться пшено автоматной очереди: тах-тах-тах-тах, — неровный ритм неторопливого утреннего боя: смертельно, конечно, но все-таки лениво, для проформы, с похмельца... Наверное, кто-то там так же, как и мы, лежит в руинах, за надежным укрытием полуразрушенных, полураспавшихся стен, и передает по кругу сигарету... Период полураспада — это Фиксатый с полчаса назад объяснил. Дескать, период полураспада постигает все сущее от кирпича до бактерии, но его можно вызвать и искусственным путем. Вот руины после бомбежек — это искусственно вызванный период полураспада, один из вариантов. Гонево, конечно, но неинтересно. Особенно вот так, на холодном бетонном полу, вжимаясь в щербатые кирпичи стены под не достающим, но и не оставляющим в покое оком неведомого снайпера. Ему там тоже, небось, не очень уютно.

Лезу на пояс, переворачиваю кассету. Надо бы CD-плеер достать, в очередной раз думаю я. В правое ухо вползают мышинные шорохи, щелчки, потом вдруг странный звук, как будто кто-то у самого уха переворачивает страницу. И снова щелчок автостопа.

— ...На самой окраине где-то... в Царицыно, что ли... не помню, короче. Назывался «Битурат». Я все думал — почему? А потом до меня дошло: Бар «Битурат», — Гога рассказывает, смешно подергивая плечами, — а в меню там: коктейль «Барби Дура», «Барбекю» и все такое. Ну, поржали, а потом чувствую, мне совсем хорошо становится и совсем медленно. И этот звук как будто из глубины моей головы. Ну, думаю, я не я, если на своей аппаратуре дома повторить не смогу. Понимаете, вроде и музыка и не музыка... Не знаю, как объяснить. И вот с тех пор искал. Для себя, для души. Так-то его бы никто не купил... А потом...

Лезу на пояс, вытаскиваю из плеера кассету. Она стоит закончившейся стороной. И я

опять не понимаю, то ли память сыграла со мной жуткую шутку, выкинув полчаса жизни, то ли подменила происходящее... Брахман принимает у Гарри сигарету, затягивается под бушлат. На мгновение его лицо красной мясной маской выделяется на фоне стены, и я вижу бегущие по красному фону размытые черные буквы. Потом понимаю — это грязь. Все мы не мылись уже несколько дней, пот, копоть и грязь забились во все морщины и складочки на лице, закручиваясь в причудливую боевую раскраску. Или странный макияж для странного бала, где пот, смерть и музыка «Лайбах» в сорванном наушнике так же органично сплетаются, как облака и трубы, фонари и расходящиеся в их лучах хлопья пыли, — слишком естественно, чтобы от этого не подташнивало.

Тах-тах... И тах-тах...

Простой парень Серега Дымарев цыкнул сквозь недостающий зуб и лениво ответил:

— Хорезм-то? Знать-то знаю, только вам туда не стоит ехать, расстреляют без допроса и дознаний. А вот угостите-ка, хорошие люди, сигареточкой лучше.

— А почему же это расстреляют? — поинтересовался Гарри, протягивая пачку простому парню Сереге Дымареву.

— А там всех чужих расстреливают, — щербато улыбнулся простой парень Серега Дымарев, вытягивая три сигареты, — время военное потому что. А вот еще бы огонечку...

— А, скажем, если вы нас привезете, — поднося ему зажигалку, спросил Фиксатый, — нас тоже сразу расстреляют?

Услышав это «вы», простой парень Серега Дымарев покраснел, втянул живот и отставил мизинец той руки, в пальцах которой сжимал сигарету...

— Мы-то... Если мы-то... привезу... то не сразу, сначала-то поговорят... Знают меня там, на хорошем мы счету. Только потом все равно расстреляют. И я вас туда не повезу, у меня времени в обрез. Дела, — практически ненаигранно вздохнул простой парень Серега Дымарев и глубоко, с наслаждением затянулся. — Вот докурю и поеду сразу, — добавил Серега и даже закинул ногу на ногу, но вдруг вскочил и выдохнул вместе с облаком дыма, тыкая пальцем в Самука. — Во! Во за это поеду!

Оказалось, как мы поняли после секундного замешательства, простого парня Серегу Дымарева привлекла рукоятка чукотского охотничьего ножа.

— Нет, — равнодушно ответил Самук и покачал головой.

— Ну и хрен с вами, — обиделся водила, — тогда идите пешком. Вот вам снайпера-то яйцы поотстреливают, они свое дело-то знают. А я покурю и поеду своей дорогой. Тем более у меня и соляры на дне — сам на парах гуляю.

— Соляры, говоришь? — Жора Брахман хитро улыбнулся и подмигнул Сереге: — А если скажу, где полтонны халявной авиационной соляры припрятано, поедешь?

— Полтонны? — скосив на Брахмана глаза, переспросил Серега Дымарев. — Точно?

— Точно. Точнее не бывает.

Серега почесал затылок и усмехнулся.

— Не, ну за полтонны поеду, хули. Только быстро, а то времени мало...

— Отлично, — обрадовались мы и, взбивая пыль с дороги, побежали к кунгу.

— Куда рванули? — возмутился простой парень Серега Дымарев, у которого времени было в обрез. — Дайте докурить-то трудовому человеку! Вот люди пошли... Сплошной, бляха, эгоизм...

Нас не расстреляли. Нас встретили вспыхнувшей вдруг на хмуром небритом лице улыбкой и прокуренным криком: «Брахман, жив, собака!!!» Нас провели в скудно обставленный шатер, где на сдвинутые оружейные ящики была выставлена гигантских размеров сковорода с кипящей тушенкой и буханки серого хлеба. Нам велели есть. И мы макали в тушенку хлеб, горстями отправляли его в рот и улыбались, даже не пытаясь сопротивляться наваливающемуся сытому оцепенению и дреме. Разумеется, вместе с нами за столом оказался и простой парень Серега Дымарев, которому в аппетите никак нельзя было

отказать. Но даже с его помощью мы осилили едва ли две трети сковороды. Помню, как задремывая тут же, около ящиков, в теплом армейском спальнике, слушал полусонную торговлю:

— АКМ, новый совсем, в масле еще... — бубнил Серега.

— Нет, — позевывая, отвечал Самук.

— И три рожка...

— Нет...

— Пять рожков...

— Моя нож отец и дед давать, а твоя автомат однака на каждый угол валяться...

— Десять рожков и два штык-ножа...

На следующее утро простой парень Серега Дымарев хмуро попрощался со всеми за руку, стрельнул у добрых людей с десяток сигарет и уехал из места Хорезм. Нож остался у равнодушного к нуждам простых парней чукотского охотника Самука. А несколькими часами позже у каждого из нас появился свой собственный «Калашников», правда, без приставки «М» на конце, старого образца дура с деревянным прикладом.

— Временно, — виновато оправдывался подполковник Мурашов, старинный друг Жоры Брахмана, — обещали к штурму АКСУ привезти, но пока что-то...

— Так значит, штурм будет? — уточнил кто-то из наших, кажется, Фиксатый.

— Непременно, — кивнул Мурашов, потом оглянулся в сторону упирающихся в небо дымовых столбов на горизонте и мрачно добавил: — Вот только кому она нужна такая? Почти весь центр в руинах. Чудом держится Кремль, но думаю, как только уйдет Тварь — он рухнет. По окраинам — оползни, мутагенный мох, снова видели анаконд, в реке что-то огромное, стягивает с берегов щупальцами. Умер город... Только людей зря губить.

— Не первый раз, на, — пожал плечами Гарри, вертя в руках автомат, — и не последний. Ну, и как, эта херovina работает?

А я тогда подумал, про что, интересно, говорит Гарри — про разрушенную Москву или про зря погубленных людей?...

Темнеет, и ощутимо проступает влага: в воздухе, на коже, на цевье «калашей», на всем. Кто-то выжимает мир, как полотенце, думаю я, и утомленные милитаристы от индастриала, фашиствующие электронщики из Словении мрачно нашептывают мне в правое ухо о том, что каждый из нас рано или поздно побывает этим полотенцем. А впрочем, возможно, они говорят о чем-то другом, я никогда особенно не вслушиваюсь в тексты.

Помнится, в 1997 году «Лайбах» приезжал в Москву, играл в «Горбушке»... Тогда под конец концерта к потолку взлетели три нацистских красно-белых знамени с черным пауком свастики в центре. Меня это поразило и даже напугало. Потом я к этому привык. Так всегда было, есть и будет на *этой* земле, и мне странно, что кто-то этого не понимает после стольких уроков истории. Войны, революции, тюрьмы, расстрелы, ГУЛАГи, пионерлагеря, бумажная колбаса, изобилие, абсолютный дефицит, порнореклама в метрополитене и наркотики в элитных школах, — все это кружит над картографически-коровьей тушей страны, тычется приبلудом в вымя, спиливает ногами рога, сбивает копыта. Но проходит год-два, узурпатор (химический, биологический, политический — любой) ассимилируется, растворяется в коренном населении, и все становится так, как было ДО. Потому что народ — тот же самый. Потому что люди — те же самые. И людям этим по большому счету плевать на то, что они — народ-герой, что они — народ-строитель, что они — народ-ученый. На самом деле все, чего по-настоящему хотелось бы *этому* народу, — чтобы всегда было так, как ДО, и чтобы никогда не наступило ПОСЛЕ. Чтобы ничего никогда не менялось. Потому-то и любим глаза закрывать на очевидную несправедливость, дескать, ничего не происходит, потому что не хотим видеть, как может быть еще. А верить, что уже стало, — страшно. Вот и ходит русский человек с закрытыми глазами, счастливый от незнания, а фашизм, растоптанный русским сапогом в середине XX века, вернулся и осел в конце девяностых. И ужился, и растворился, и стал частью Руси. Как до того стали частью Руси монгольские

племена. И таких фашистов по территории республики Русь видимо-невидимо шляется, и будет шлиться всегда, во все времена. Потому что люди — те же... Так что разрушена Москва или не разрушена — никакого значения не имеет. Пройдет немного времени, и в основном все станет так, как было ДО. И лишь в частностях будет прорываться народ-строитель, народ-герой, народ-ученый. Но редко — так же, как и раньше. Никак не чаще. Как и тогда, ДО...

— Тихо! Самук, ты слышишь?

Фиксатый припадает чуть ли не к самой земле, сдвигает набок бейсболку. Откуда-то кубарем скатывается Самук и, судя по всему, тоже начинает прислушиваться. «Тах!» — тут же говорит снайперская пуля, но куда-то будто бы в сторону.

— Голос чей-то, ага, — бормочет сквозь зубы Самук, — кто-то говорит. Слова не понимаю, однако...

— Кажется, — Фиксатый даже рот открыл от напряжения, — кажется... что-то вроде: «Читаю, как есть...»

— Больно ему, — говорит Самук, — далеко, очень далеко... Земля передает, играет человек, а по правде, однако, это очень далеко.

«Тах» — отвечает ему пуля, и откуда-то сверху сыплется на плечи чукотского охотника белая известь. Самук плюет в сторону снайпера и снова ползет на свой наблюдательный пункт.

— И правда далеко, — шепчет Фиксатый, — очень далеко...

День набирает силу. Это хорошо заметно, хотя в руинах не становится светлее. Но четче тени, и ярко выделяются на темных овалах лиц белки глаз. Изредка по нашему убежищу проносится шальной заблудившийся сквозняк и приносит запах прогорклой гари. Недалекая перестрелка то смолкает, то возобновляется все с той же похмельной ленцой, давным-давно став частью общего фона. Фиксатый с полчаса назад поменялся с Самуком и уполз куда-то наверх по обвалу кирпичей. Самук сидит рядом со мной (так что я вижу паутину глубоких морщин, разлетающихся от его глаз), что-то выстругивает своим длинным ножом и монотонно напевает. Как будто заблудившийся сквозняк влетел в его горло и теперь не может выбраться обратно.

— О чем эта песня, Самук?

Самук поднимает ко мне грязное широкоскулое лицо, раздирает его белозубой улыбкой и пожимает плечами. При этом щели его глаз становятся совсем незаметными.

— А откуда ты ее знаешь? — снова спрашиваю я. Мне неинтересно, откуда он ее знает, просто надо чем-то занять голову. Пока. Убить время. Через час, может быть чуть больше, миниатюрный передатчик даст сигнал к возобновлению захлебнувшегося сутки назад штурма города. Но пока надо было как-то коротать время. И избегать тех, других мыслей, вот уже несколько суток не дающих мне покоя.

— Отец пел, на оленя ходить, — ответил Самук, опуская голову. Нож ходил по деревяшке неровными движениями, утончая ее к концу. Кусок ствола поваленной взрывом осины. Кол.

— Ты как будто на вампиров собираешься.

— Не знаю, — покачал головой Самук, — что там дожидается, однако. Пусть будет, плечо не тянет...

И снова эта рвущая лицо улыбка.

— Самук, а ты много оленей убил сам?

— Кто считать?

Я откидываюсь на своей импровизированной лежанке. Скоро начнется новый штурм. Скоро уже не надо будет сидеть в каменном мешке наедине с тем, о чем очень, до спазма в горле и увлажняющихся вдруг глаз не хотелось думать.

От города почти ничего не осталось. Окраины были разрушены до оснований, лишь

кое-где тянулись к небу бетонные ребра углов, с которых, как шкуру, содрали стены. Ближе к Бульварному кольцу кое-где сохранились руины посolidнее. Но целых зданий в городе практически не осталось. Кое-что еще держалось в центре — видимо, за счет энергии, исходящей от Кремля, да в районе ВДНХ и Ботанического сада — по непонятным причинам.

— Не думаю, что войти в город удастся сразу, — говорил Чурашов, вышагивая перед строем. — Пока там сидел Пинас, еще можно было, но момент был позорно упущен! Теперь никто не рассчитывает на блицкриг. Поэтому приказ на сегодняшний момент будет следующий. Рассредоточенными группами проникнуть за периметр Бульварного кольца и укрепиться. Держать позиции сутки и возобновить штурм с подходом второй волны с места Хорезм и других точек сбора...

— А кто будет во второй волне? — выкрикнул кто-то из толпы.

Чурашов остановился, оглядел строй и усмехнулся:

— Кому надо, тот и будет. Пока известно о нескольких группах, уже теперь направляющихся в сторону места Хорезм. В частности, едут Братья Драконы, если это кому-то что-то говорит.

Это говорило многое и многим. Лично я до того момента был уверен, что Братья Драконы — это легенда. Выдумка, какие сотнями гуляют в любых окопах и в любых лагерях любой войны. По всей видимости, так думал не только я, но и большая часть строя. По нему прошелся недоуменно-удивленный шумок, словно прошелестела газета по асфальту.

— Так все серьезно? — выкрикивает из толпы тот же голос.

— Ну почему? Братья Драконы очень веселые ребята. Очень у них удачные порой шутки бывают! — крикнул в ответ Чурашов и рубанул воздух ребром ладони.

По толпе пролетел нестройный смешок — недоверчивый и напряженный...

Подполковник кивнул, бросил в строй еще пару слов и удалился к себе в шатер. Толпа же, потоптавшись еще с минуту и погудев недовольным роем, разделилась на группы и разбрелась по палаткам и кунгам готовиться к завтрашнему штурму. От котлов полевой кухни потянулись аппетитнейшие ароматы тушеной капусты, слегка поджаренного мяса и чеснока.

— Сейчас слюной захлебнусь, — признался я, перехватывая новенький, только что выданный, еще в масле «Калашников» за цевье и проходясь по нему войлочным обрывком.

— Не могу с вами не согласиться, — ответил с пустых оружейных ящиков Фиксатый, — есть хочется невыносимо... Кто-нибудь может мне объяснить, как этот механизм разбирается?

— Во-во, на, верный вопрос, — тут же откликнулся Гарри, подходя поближе, — хотя перекусить голодному ковбою было бы весьма кстати, на.

Мы собрались в нашей палатке и в ожидании радующих душу и желудок ударов поварешкой по подвешенной рельсине внимали наставлениям Жоры Брахмана. Все, кроме Самука, который свой автомат отнес обратно и снова поменял на громоздкую дуру старого образца, с деревянным прикладом и неукороченным стволом. К тому времени, как Жора принялся детально объяснять, за что надо дернуть, чтоб цельный убойный механизм распался на мелкие и безобидные с виду составные, Самук свой автомат уже разобрал, смазал, снова собрал и теперь покрывал его приклад хитрой вязью резьбы. Со своего места я видел, как отдельные штрихи складываются в голову моржа, выглянувшую из раскола во льду.

— Автомат, уважаемые детишки, — с пылом комсомольского активиста объяснял Жора Брахман, — это не просто средство сделать своего ближнего бесценной недвижимостью, это еще и весьма тонкий, я бы даже сказал, дорогие мои ученики, капризный механизм. И в случае, если вы забудете на уход за ним, у вас появится прекрасная возможность в решающий момент оказаться без огневой поддержки и самим стать вышеупомянутой недвижимостью. Итак, детишки, открываем учебники на параграфе один: «Как разобрать автомат без помощи домкрата». Делается это следующим образом...

Я усмехнулся и пошел к выходу из палатки. Как разбирается автомат Калашникова, я знал не хуже, а возможно, и лучше бывшего военного летчика Георгия Брахмана.

Той ночью мало кто спал в лагере места Хорезм. Многие и не пытались, мутными тенями перемещаясь от палатки к палатке, смоля сигаретами прорехи в ночной темноте, отвлекая часовых. Другие ворочались в спальниках с боку на бок в бессмысленных попытках найти нишу для сна между тревогой и ожиданием. Даже водилы кунгов собрались за столом под натянутым на столбах парашютным куполом и резались в буру, отчаянно матерясь вполголоса. Чурашов не показывался, но к его палатке то и дело мотался кто-то из командиров групп: взлетал полог, и было видно, что внутри ярко горит свет. Командиры толпились у появившегося не так давно стола, на котором была расстелена огромная карта Москвы и Московской области.

Время медленно просачивалось сквозь сомкнутые пальцы полуночи.

— Вместо крови — ртуть, вместо сердца — дым, вместо тела — голос.

Я оглянулся. Фиксатый сидел все на тех же ящиках, смешно поджав ноги, и читал маленькую, размером с ладонь книгу с золочеными по торцу страницами.

— Это что ты такое читаешь, Гога?

— Бестиарий какой-то. Автор не написан. — Фиксатый пролистал книжку, посмотрел последние страницы. — Нет, не написан. Ни копирайта, ничего. Но текст занятный. Вот, к примеру: «И черен глаз электробритвы, на сотню рук одна пальпация. А имена у зверя — кодеин, безножие и смерть на трапе Ан-24». Что-то вроде современного концепт-искусства. Бессмысленность как единственный аргумент. Как всегда это где-то слишком далеко, чтобы можно было постичь отсюда, вы не находите?

— Никогда не понимал этих концептов, на, хуептов, — проворчал из своего спальника Гарри. Он в нашей палатке как раз и представлял тех, кто ворочался с боку на бок.

— Разумеется, — кивнул, не отрываясь от книги, Фиксатый, — поскольку вы как представитель... э-э-э... хм... старой школы находитесь от этого еще дальше. А вот смотрите, еще один замечательный фрагмент: «Истаявшая длань, перста как лед, по тротуару прежнего ампира, душа пророка и инстинкт вампира, и кухонный комбайн в рюкзаке...». По-моему, как минимум небезынтересно. Самук, а вы как охотник что имеете сказать по данным тварям?

— Имею сказать — хуйня, — ответил Самук, не отрываясь от резьбы.

— О, Самук, на, — вдруг оживился Гарри, — а ты на варгане играть умеешь?

— У нас каждый ребенок варган играет, — кивнул Самук.

— Во, я ж всю жизнь, на, мечтал в кантри-команду варганистов. Это же альтернативка на удобренной почве!

— Не уверен, — вставил Фиксатый, откладывая книгу, — на мой взгляд, получится та же лошадь, только немного в профиль. Да и кантри... Вы уж меня простите, Гарри, но я кроме «BlueNex» ничего нового в этой области давно не слышал, а все старое еще недостаточно хорошо забыто и порядком надоело. Разумеется, все открытия в последнее время делаются на неожиданных стыках жанров, но варган и банджо... Это все-таки не тот стык, который бы превратил два... хм... старых жанра в один новый.

— Да что ты, на, говоришь!

Я выбил из пачки сигарету, прикурил от масляного фонаря, висящего на поддерживающем купол палатки шесте, и вышел наружу. Кто-то должен был бродить мутной тенью и прожигать сигаретой прореху в ночной темноте. Так почему бы не я? В современном концептуальном искусстве я практически не разбирался, да и в музыке имел весьма узкие предпочтения. А если говорить об абсолютных приоритетах, то круче того, что делал некогда dj Сойер, он же Томаш Кофа, я никогда не слышал. И уже не услышу, поскольку вроде как прикончил Кофу собственными руками. По-крайней мере хотелось бы надеяться.

У палатки Жора Брахман, сидя на корточках, курил слабую, купленную у водил анашу. Я сел рядом, покачал головой, когда Брахман предложил мне напаснуться, и уставился в темноту. Бархатная синева в зените у западного горизонта была слегка подсвечена буровато-красным, а у восточного уходила в полную темень. Меня это вполне устраивало. Меня вообще все устраивало в эту ночь, за исключением разве что того факта, что рано или поздно она должна была закончиться.

— Не спится? — спросил Брахман, растирая по бетонной плите остатки косяка.

— Не думаю, что усну, — усмехнулся я.

— Дай-ка сигарету...

Я протянул Брахману смятую пачку, потом выбил себе вторую сигарету и прикурил от окурка. Воздух начал бледнеть гнойным туманом, и я зябко повел плечами.

— Что-то не потеемся, — кивнул Брахман, глядя в сторону.

От столов, где играли водилы, донесся совсем уж изысканный заворот. Я оглянулся и увидел, как один из игроков лезет под стол, а потом начинает неистово, через матерок, блять. Завтра они скинут группы в километре от МКАДа, развернутся и приведут машины назад к месту Хорезм. А мы останемся там.

— Пойду, что ли, вздремну...

— Угу...

Я все жду и жду, а минуты начинают растягиваться с невыносимой медлительностью. Как будто в плеере у часовщика подсели батарейки, и время начинает подтягивать. Сначала это почти незаметно, но в какой-то момент становится очевидным — в секунды можно уложить часы, в мгновения — эпохи... Кто сказал, не помню. Помню, как у Айтматова: «И дольше века длится день...»

— Деньги, — говорит Фиксатому Жора Брахман, — как соя.

— В смысле?

— Ну, вот соя — это мясо, которое растет на деревьях. Так же и раскрашенные бумажки — это золотой запас государства. Все дело в том, во что ты веришь, поднося ко рту ложку.

— Все дело в том, — усмехается Фиксатый, — что ложки нет...

— А это смотря как посмотреть, — усмехается в ответ Жора Брахман.

Самук доточил кол, внимательно осмотрел его, потом огляделся вокруг.

Сказал, ни к кому особенно не обращаясь:

— Обжечь нету. Плохо. Однако, ну и ладно...

На выступающий из стены кусок кирпича перед моими глазами падает капля. Вторая падает мне на лицо. Там, за кирпичными руинами, начинается дождь. Обычный летний дождь, как в кинофильме с молодым Михалковым. Очень хочется скинуть провонявший бушлат и подставить спину под капли. Но Чурашов не советовал. У тех, кто сидел сейчас в разрушенной Москве, имелись огнеметы. И если по штурмующим пройдутся волнами огня, то вспыхнувший бушлат можно успеть сбросить, если повезет, а свитер на какое-то время спасет от жара. Поэтому мы кутались в грязные потные одежды и ждали, глядя, как дождь дробит битый кирпич...

— Дождь, — говорит Фиксатый.

— Угу, — мычит в ответ Брахман.

Но дождь кончается уже через несколько минут, так и не принеся прохлады. Поднося к губам флягу, я стараюсь думать о дожде, подчиняя свои мысли холодной воде, текущей с неба, и насильно отгоняя их от того, о чем действительно стоило бы задуматься. Но не теперь, не сейчас, не в такой обстановке...

— Я так, на, и не понял, чего ты приплел эту сою, — возвращается к прерванному разговору Гарри, — и при чем тут Москва?

— Москва — такой же символ, — отвечает Жора, — мы боремся не за руины и тем более не за могилы предков. Мы боремся за символ города, за то, во что мы верим, когда

слышим слово «Москва». Другими словами, люди никогда не гибли за металл, а только лишь за символ металла.

— Что-то я не догоняю, на, к чему ты это?

— Да к тому, что знайсьці і згубіць — сэнс адзіны, розніца у знаках.

— Чё?

Но Жора не успевает ответить. В подвал буквально скатывается Фиксатый и с истошным воплем «Огнеметы!» валит с ног Гарри и Брахмана. Менее чем мгновением позже рядом падает натягивающий на уши воротник Самук, потом почти сразу же — я. Гарри рывком вытягивает из вещмешка кусок брезента и вместе с Брахманом суетливо пытается укутать всю нашу барахтающуюся на дне подвала, напуганную до чертиков кучу. Я, промахиваясь и матерясь, застегиваю пуговицы на бушлате. В правом наушнике обрывается «Лайбах» и своевременной насмешкой все тот же звук переворачиваемой страницы wpłyает вместе с первой волной огня и жара. Уже чувствуя, как плавятся ресницы, я ныряю лицом под брезент.

— Господи, помоги, — хрипит кто-то из наших, но я не понимаю кто.

— Твою мать, на, — совершенно четко прямо мне в ухо произносит Гарри.

...Солнце вставало медленно и натужно, словно продираясь сквозь идущие на бреющем полете тяжелые эскадрильи туч. Тучи же давным-давно впитали в себя дым и копоть и теперь асфальтовыми кашалотами жались все ниже к земле. Солнце пыталось прорваться в обратном направлении, к зениту...

— Курить — здоровью вредить, — раздался над ухом знакомый голос, — а вот угостить хорошего человека не грех. Здоров, Душегубец.

Простой парень Серега Дымарев вырuling из густых рассветных сумерек и приземлился на корточки рядом со мной. Вскоре мы уже оба дымили сигаретами. Моими, разумеется. Я молчал, Серега, разумеется, нет.

— Я минут через двадцать уже отправляюсь... Такая жизнь, брат: ни свет ни заря и в самые ебенья. Поеду за группой еще одной, типа вашей. Мурашов приказал. А вы, видать, тоже скоро, а?

— Ага.

— Ну да, в курсах уже. Ну это, я думаю, после артподготовки первичной?

— Ага.

— Ну ладно, это, пойду я... Дай-ка еще сигарету, а то дорога дальняя. И еще, где тут чукча ваш? Хочу все-таки финарь у него поменять. А то ему-то, может, уже и не понадобится, а мне в машине да по нашим временам — в самый раз. Как считаешь?

— Ага.

— Дык я в палатке гляну?

— Ага.

«Если проглянет звезда — выживу, — глядя на наждак царапающих землю туч, думал я, — хотя бы одна звезда, и все — выживу». Но тучи шли плотным строем, а сигарета все больше горчила гортань. «Нет», — отчетливо произнес в палатке Самук.

Я поднялся, попрыгал, разминая затекшие ноги, потянулся. Черкнув красным по темному бархату, ушла в щель между бетонными плитами до половины выкуренная сигарета. Тучи вдруг рванули в разные стороны, всего на секунду и ровно настолько, чтобы я успел заметить едва заметную белую точку на сером фоне. Я сунул руку в карман, выудил из шва затерявшуюся чудом семечку и кинул ее в рот. Медленно, чувствуя, как разбегаются иглы по затекшим конечностям, пошел между кунгов, замечая в чуть заметном намеке на свет тысячи мелочей: сколы и царапины на крыльях грузовиков, облупившуюся краску номеров, пригревшегося на капоте кузнечика, торопливо семенящую куда-то по другому капоту семью больших рыжих муравьев. За кунгами кучей были свалены вещи тех, кто не вернулся из первой экспедиции в Москву. Говорят, она планировалась как разведка боем. Собственно, не говорят, а говорит, а еще вернее — пишет некто Д. Карпов, единственный,

чьи вещи не были свалены в эту кучу. Единственный, кто вернулся. Со сломанной, правда, челюстью и десятком мелких осколков по всему организму. Осколки вынут, а вот нормально общаться он уже никогда не сможет, только с помощью бумаги и карандаша.

Я присел на корточки и первое, что увидел, — потертый на торцах дешевый кассетный плеер, зажатый между старым приемником и толстой книгой со стершимися буквами на переплете. «На счастье», — оправдываясь, подумал я и протянул к нему руку.

— ПОДЪЕМ!!!! ПО КУНГАМ!!! БЕГО-О-ОМ!!!! — взорвалась вдруг ночь изменившимся, до позвоночника пробирающим голосом Чурашова.

Я вскочил, заметался, потому вдруг как-то сразу понял, что надо делать, и, запихивая плеер в карман, рванул к нашей палатке.

Сквозь толчею. Сквозь крики, мат, запах утреннего пота и нечищенных зубов. Сквозь хмурые опухшие лица с испуганными глазами. Сквозь надрывное лупцевание по подвешенной рельсине. А тучи на небе уже сжимались, пряча мелькнувшую звезду.

— ПОДЪЕМ!!!!

Шатаясь, выхаркивая остатки пепла из гортаней, сбрасывая на ходу тлеющие бушлаты, выползаем из вмиг почерневшего укывища, и в ту же минуту выстрел — четко над нашими головами в оспины кирпичей — укладывает нас на землю, черными мордами в черный битый кирпич.

— Игр... кхе-кхе... играет с нами, краснокожий, на... кхе... — Гарри катается по земле, стараясь пересилить душащий хриплый кашель, с трескучей мокротой расцарапывающий гортань до кровавых язв. Мы все катаемся по земле и перхаем, перхаем, перхаем. Если приподняться над кирпичами, то еще можно разглядеть огромное трехэтажное тулово стального зверя, поливающего окрестности вырывающейся из хобота струей пламени. Но подняться не дает засевавший где-то в руинах по ту сторону улицы снайпер. Улицы, впрочем, практически нет: груды битого кирпича да упрямые углы домов с кое-где сохранившимися лестничными пролетами, — вот и все, что от нее осталось. Одно хорошо — огнеметы никогда невозвращаются туда, где уже побывали.

— А в курсе... кхе-кхе... что их... кхе... для зачистки чум... кхе-кхе-кхе, твою... чумных районов создавали. Очистка огнем, вся бай-кхе-кхе... Потом их вроде как уничтожили, а потом... хе-кхе-на... они вдруг тут объявились, вроде как... кхе... за Фальстатом пришли.

Птах-та-а-ах — пуля снайпера ложится значительно ниже, а потом поющим рикошетом уходит вверх. Мы дружно суем носы в кирпичную муку. Судя по всему, время движется к полудню. Вот-вот оживет передатчик.

— А по науке они брэндмауэрами называются, — повернув голову набок, говорит Жора Брахман, — говорят, они... кхе-кхе... С катушек съехали на испытаниях еще... кх-кх... Просто снялись с места и ушли в леса... кх-х-хх-кха... пару лет иска... кхе... ли, не нашли, а вот тут объявились.

Я медленно перекаत्याюсь на спину и нашариваю на боку фляжку, о которой вспомнил только теперь. Тут же все остальные принимаются лечить глотки. Вода течет в горло медленно, как масло, и надо терпеть, чтоб не выхаркивать ее назад. Фиксатого неудержимо рвет кровавыми сгустками прямо на кирпичи. Но вода помогает, унимает першение. Правда, сухость не уходит и кашель, пусть и реже, все еще заставляет нас дергаться на земле тряпичными куклами, которых землетрясение застало забытыми посреди улицы.

Тах — еще одна пуля взрывает одну из кирпичных куч, за которой мы прячемся.

— Я скоро, — говорит Самук и начинает медленно отползать. В его левой руке — так и не выторгованный Серегой Дымаревым нож, в правой — осиновый кол. Автомат с узорами по прикладу остается лежать в кирпичях.

Тах-тах: на этот раз пуля ложится перед самым носом Фиксатого.

— Мамочки, — шепчет Фиксатый, вжимаясь еще глубже. Теперь мы не просто черные,

теперь мы черные с оранжевым отливом кирпичной крошки. Что-то среднее между тайниками сибирских копей и Джеком, повелителем тыкв. Halloween посреди московского испепеляющего лета, под обстрелом игривого снайпера (которому, кстати сказать, начинает надоедать игра), после очищения огнем, пеплом и теплой, подтухающей водой.

Я гляжу на медленно уползающего охотника и пытаюсь нащупать на поясе плеер. Мне интересно, выжил он или нет: Но видимо, он сорвался, когда я выскакивал вслед за остальными из дымящегося кирпичного газенвагена или когда барахтался, изнывая от вылуцывающих гортань жара и копоты. Плеера не было. Только наушник все так же болтался на моей шее, абсолютно невредимый.

...Примерно сорок грузовиков, выстроившихся в колонну по две машины борт к борту, — лакомая цель, и было бы глупо ожидать, что до МКАДа нас пропустят без осложнений. Уже через четверть часа после выезда первая машина получила несколько фугасов под брюхо и тут же сгорела вместе со всеми пассажирами. Шедшая с ней в паре машина тоже было занялась, но группа в кунге успела сбить огонь.

Спустя еще несколько минут в лобовое стекло одной из машин в середине строя бросилась гигантская анаконда. Насмерть перепуганные бойцы в машине, идущей впереди, истерично вопя, изрешетили в дуршлаг кабину кунга, превратив в фарш не только анаконду, но и водителя с сопровождающими.

Наконец перед самым МКАДом на колонну стали пикировать смертники на дельтапланах. Но там уже выжидать не было смысла. Мы повыскакивали на землю и рассеялись группами между дымящихся мусорных торосов. Несмотря на общую сумятицу, грузовики слаженно развернулись и тронулись в обратный путь. Вдоль дороги осталось лишь несколько машин, хотя я ожидал, что потеря будет намного больше. Впрочем, с большей частью камикадзе справился ПКТ, установленный на крыше одного из грузовиков с усеченным верхом.

Как только машины скрылись за холмами, из-за внешней стороны Кольцевой дороги начали лупить по свалке гаубицы. Причем был страшен не так сам обстрел, как рушащиеся вокруг проржавевшие остовы машин и прочее стальное барахло, копившееся вдоль МКАДа годами. Брахман, перекрикивая грохот, приказал нам залезть в поваленный набок кузов древнего «Москвича-каблучка» и упереться ногами в верхнюю стенку.

— Вещмешки зажать между ног! Чтоб если какая-нибудь арматурина пробьет кузов, влетело по вещам, а не по яйцам!

— Один черт, на, и яйцам достанется! — проорал в ответ Гарри, пристраивая вещмешок.

Обстрел свалки продолжался около сорока минут, которые по закону жанра показались нам вечностью. Если бы автомобили после смерти попадали в ад, то примерно так, думается мне, он бы и выглядел: опаленный и искореженный металл, полыхающие и чадающие черным дымом покрывки и валяющиеся тут и там куски внутренней обшивки. Вокруг нас рушились обращенные в факелы кузова, части корпусов, огненные кольца колес пролетали фантазмагорическими «перекати-поле»... Что-то оглушительно падало на верхнюю стенку «каблучка» и пригибало все ниже ноги, а мы орали, потели от страха и усилий и ждали, что вот-вот на нас сбросит какой-нибудь мертвый бульдозер, и тогда всему настанет жуткий и болезненный финиш.

Тишина обрушилась так внезапно, что мы еще какое-то время продолжали по инерции орать и упираться ногами, хотя ничего больше не падало и не взрывалось. Свалка горела, но она горела уже несколько лет. В ее теле прибавилось дыр и искореженного металла, но это такая мелочь: металл принесут новый, дыры заделают отходами, землей и шлаком, а несколько машин, превратившиеся в склепы, не «испортят утренний пейзаж», — уляжется все, успокоится, вернутся привыкшие к условиям свалки крысы и подчистят все, чему надлежит быть подчищенным. А что касается вечной памяти, то сама свалка является ее живым олицетворением. Правда, эта память — не вечная, но перманентно обновляющаяся,

тлеющая, смердящая и привычная.

— У кого сигареты близко, — прохрипел Жора, лежавший ближе всех к дверям, — дайте, а?

Я сунул руку в нагрудный карман, достал пачку и раздал всем по сигарете. Что-то мне было не по себе, что-то в происходящем, или, возможно, в моем отношении к происходящему, было неверно, не так, как должно было быть. Но события накладывались одно на другое, не давая мне возможности обдумать, сделать выводы, понять. Я мог только подозревать и отгонять подозрения.

— Я, признаться, кажется, обоссался, — сказал совершенно ровным голосом Гога Фиксатый.

— Да нет, это тут лужа на дне, — ответил Гарри, — и еще, на, что-то по стенам все время течет.

Жора Брахман провел рукой по мокрой стене кузова, поднес ее к глазам, принялся и вдруг стремительно выскочил наружу, оглянулся поверх нашего «каблучка» и застыл. Когда мы, мешая друг другу и толкаясь, вылезли вслед за ним, оказалось, что вся наша одежда залита кровью, а на «каблучке» лежит сплюснутый «волгарь», из которого и теперь торчали ноги, руки, куски бушлатов... Точно таких же, какие были на нас самих.

— Пошли отсюда, — приказал Жора Брахман и скинул с плеча ремень АКСУ.

Две стальные машины одна за другой влетают на заваленный битым кирпичом перекресток. Расходятся и избегают лобовой встречи — случайно. До визга брони трут друг друга боками, скрипят по выбоинам гигантскими траками. Кружат все в том же заданном недавней пере стрелкой темпе ленивого вальса, от которого за версту несет трупным туманом. Это ошибка. Все, что происходит в этом месте и в этом времени, — ошибка, но эта конкретная — ошибка нарочитая, из тех, исправить которые уже не удастся. Хлопок, едва заметный за общей шумовой неразберихой, брызги кирпича и чего-то черного и вязкого. Вспышка. И вот одна машина, скрежеща по инерции и искря асфальт, заваливается набок, трется запрокинутыми колесами о груды битого кирпича и замирает в этой нелепой позе опрокинутого таракана. Вторая машина успевает отъехать от перекрестка, но вокруг ее бронированного тела коконом собирается черный дым со змеиными, шныряющими языками пламени. Машина тыкается слепым носом в остатки стены, валит ее, въезжает внутрь и застывает, погребенная под обвалом чудом сохранившегося второго этажа.

Вдруг откуда-то выныривает Самук и машет нам рукой.

— Бежать, — громким шепотом зовет Самук, — бежать быстро моя!

Я вскакиваю, раздирая ладони о рыжую крошку, хватаю свой и его «калаши», пригибаюсь, несусь через улицу. Рядом, усердно пыхтя и матерясь, топает Гарри, дальше все остальные. Мы добегает до Самука, валимся, взбивая клубы пыли и копоты между остатками стены и только что подбитой машиной. Хрипим пятью высохшими глотками.

— А там никого нет? — спрашивает Брахман и кивает на серый борт.

— Уже никого, — отвечает Самук и забирает у меня свой автомат, — и снайпер уже никого.

— Тогда я сейчас... — говорит Гарри и приподнимается на локтях.

«Тах» — поет пуля и щедро мажет по рыжине кирпича красно-черной густотой ликера. Гарри опрокидывается назад, вытягивает рывком руки, словно пытается ухватиться за что-то, вжимается в стену спиной и оседает, чертя по кирпичам широкий мазок собственной крови...

— Так будет, потому что так было. — Я вырываю из уха никчемный наушник, но голос, поселившийся в моей голове с тех пор, как я перестал чувствовать наслаждение при виде чужих смертей, не умолкает: — Просто я читаю, как есть, я не виноват. Я читаю то, что уже написано, понимаешь, Душегуб? И ты — это я, и те ребята — это я. Я создал того, кто это написал... или так написано, что я должен это читать, я не знаю. Мне жаль вас, как жаль самого себя. Но я читаю, я не могу читать... И ты должен жить, потому что я живу тобою.

Понимаешь?

— Заткнись, сука, — пытаюсь выкрикнуть я, но из глотки лезет только хриплый вой.

— Ты все равно выживешь, — говорит голос Томаша Кофы, — ты мне нужен...

— Все как-то замедляется в этот момент, растягивается. У мироздания подсели батарейки, once again. Гога бросается вперед, хватает Гарри за отвороты бушлата, но тут же отталкивает его назад, отворачивается и начинает блевать. Что-то кричит Брахман, а Самук ногой сшибает приподнимающегося Гогу на землю. И тотчас — тах-тах — прямо над нашими головами осколки кирпича высвистами лезвят воздух. И это уже не игра, это уже серьезно. Это настолько серьезно, что Гарри только что отметил ситуацию собственной кровью...

— А я смотрю как будто со стороны и ничего не чувствую. Совсем ничего, только голос в голове продолжает неустанно бубнить: «Я читаю, как написано...»

Не так давно я был профессиональным убийцей, мало того, я был убийцей по рождению — генетически предрасположенным, дитя эпохи, города, мира... Хотя мой напарник, великолепно стреляющий гей Лебрус, предпочитал слово «порождение». Собственно, смерть была единственной целью и единственным смыслом моего существования... Но что-то случилось. Тогда ли, когда я прикончил своего напарника Лебруса, позже ли, в больнице, во время долгого пребывания на жуткой грани, по одну сторону от которой — кома и бытие растения, а по другую — нормальная жизнь. Только смерть убитого мною друга вытащила меня наружу, впрыскивая раз за разом силы, изнуряя организм и спасая голову. Пуля, которую я вогнал в лоб напарнику, вызвала к жизни потаенные запасы силы, которые не только дали мне возможность уйти от решающей пули, но и выкарабкаться там, в больнице.

И я выжил. Просто как-то ночью открыл глаза и понял, что все — я вернулся, и скорее всего окончательно. Я отходил все дальше от смердящей границы, за которой еще ясно мерещилась кишащая тенями пустота. Но я уже знал, что не вернусь туда. И тогда, в тот самый момент, я повернул голову к темному окну и сказал спасибо Лебрусу. Он был хорошим напарником. Он был единственным моим настоящим другом, понимавшим, умевшим прощать. Другом, на которого надеешься не задумываясь, рефлекторно...

Потом была тюрьма, разбирательства, доказательства, вся эта ерунда, в которой я не разбирался и не хотел разбираться. Камера, переводы из одного места в другое, конфликты с местными корифеями, новые знакомые и новые правила. В конечном итоге меня перевезли в Гарибальдийскую тюрьму, а я все гадал, какого же черта? Я дерусь, я расшибаю людям носы, ломаю руки, ключицы... И ничего не чувствую... А все так просто. Я перестал быть тем, кем был и кем мне нравилось быть. Я стал человеком, умеющим убивать, а раньше был человеком, живущим убийством. Но и это не все. Я теперь не один. И это неодинокство будет длиться всю отписанную мне вечность.

«Мне не нравится смотреть, как умирают люди, — подумал я, отворачиваясь и силясь нащупать в кармане сигареты. — Теперь, когда это потеряло смысл, — не нравится. Не сам тот факт, что передо мной умирает человек, пусть даже человек, которого я успел неплохо узнать, а непосредственно процесс — лицемерие того, как умирает человек... Странно, — думаю я, отползая от изредка содрогающегося в конвульсиях тела — мертвого, разумеется, тела, — я все еще помню, как отличить одно от другого. Странно быть просто человеком. Неправильно, совсем неправильно быть просто человеком. Невозможно, потому что бессмысленно. Чем мне теперь жить, зачем мне теперь жить? С какой целью? Как не сойти с ума, оставшись вдруг без смысла жить? И зачем при этом не сходить с ума, если все равно все бессмысленно?»

Слезы обжигают, процарапываются сквозь грязь на щеках, добавляют новые орнаменты. Они рисуют решетку на коже, все больше отделяя меня от того, что раньше было моим миром.

Я не замечаю, как выползаю слишком далеко, вижу только, как кидается мне на ноги Самук и пытается затащить назад, как вдруг дергается и начинает схаркивать кровь. Как, прижимаясь к стене, начинает вставать Гога, и в глазах его такая ледяная пустота и страх, что даже мне становится не по себе. Как дает осечку его «Калашников», как он удивленно оглядывается и пытается раз за разом передернуть затвор, а тот не передергивается. Но все это продолжается очень недолго, потому что пули начинают методично кромсать его бушлат, словно делая какую-то рутинную работу. Прижимаясь к стене, палит куда-то одессит Жора Брахман. Наверное, кричит что-то... Наверное, матерится... Я опрокидываю голову как раз для того, чтобы увидеть бегущих в нашу сторону людей. Автоматически поднимаю автомат и тоже начинаю стрелять. Одиночными. Не промахиваясь. Рефлексы ведь не раковая опухль, их нельзя просто взять и вырезать.

...В лагере места Хорезм много говорили о том, что этого города не стало. Собственно, это было основной темой вечерних пересудов, когда, затарившись пивом из холодильников, мы собирались в своей палатке и начинали чесать языки о том о сем. Рано или поздно все скатывалось к ограбленной и практически до основания разрушенной столице, в которую нам предстояло войти со дня на день. Сам я редко участвовал в этих спорах, но даже и говоря что-то, я почти всегда ошибался. Ошибались все: и странный интеллигент Гога Фиксатый, и необщительный чукотский охотник Самук, и беспрестанно матерящийся Гарри, и даже никогда не унывающий Жора Брахман. Последний, будучи неизлечимым оптимистом, ошибался, возможно, больше всех. Но так или иначе, мы сходились в одном: что бы ни ждало нас там, за дымящейся свалками границей МКАДа, чем бы все это ни кончилось — ПОТОМ вырастет иной город, с иной жизнью и иными законами. Нам казалось, что новые здания, новые люди, новое время явят и новую Москву. Но мы ошибались. Мы все чертовски ошибались тогда. И вот теперь, стоя посреди улицы над телами моих друзей и моих врагов, ожидая певучего вальса — тахах — снайперской пули, я понимаю это так же четко, как и то, что мои последние минуты, возможно, уже записаны там, где и положено записывать все последние минуты. В телефонной книге Бога или на золотых скрижалях безнадежно отставших от времени архангелов — не знаю точно где, и меня это мало интересует. Я не намерен этого читать, не намерен читать так, как написано. И не дам, не допущу, что бы кто-то там, будь это Тварь, Бог или пророк Магомет, дочитали написанное и начали читать сызнова. Ни хрена подобного, утомитесь пыль глотать, уважаемые! Если я смогу, конечно. Если моих ничтожных силенок хватит, этот город никогда не поднимется из руин. Никогда! А вместе с ним и моя вечность.

Я думаю об этом городе, но не потому, что меня действительно интересует его судьба, а скорее по инерции, на автомате. Хотя, наверное, стоило бы думать о чем-то другом, о жизни, к примеру, о том, что было. Но я не пытаюсь на этот раз спорить с самим собой, я лишь стою на открытом перекрестке, с бессмысленным интересом разглядывая наполнившийся вдруг четкими и мельчайшими деталями мир вокруг меня: кирпичную крошку невообразимых цветов и оттенков, свернувшееся «перекати-поле» ржавой арматуры, осколки стекол, упрямо отражающие даже не и думавший умирать город. Я мысленно кричу: «Ну что, ты и теперь пойдешь против законов войны и сохранишь мне жизнь?!»

Да, этот город не умер, он продолжает жить своей странной, непонятной человеку — недоступной для человеческого понимания — жизнью. Он дышит и принимает как должное огонь и жертвы. Маленький бетонный божок, созданный людьми, возвращенный людьми, воспитанный людьми, питающийся людьми. Этакий город-алтарь, но не гордый алтарь перед позлащенным амвоном, а тихий, бытовой, коммунальный. Мы живем и смотрим на разрушенные здания, на полуобглоданные пламенем тела, на жалкое подобие того, что было, и не сразу, но все-таки осознаем своим не менее жалким подобием сознания, что суть не изменилась, изменилась лишь внешняя ее сторона. То, что мы считаем жизнью, называем нелепым словом «бытие». То, что легко превратить в пыль и кирпичную крошку даже нашими жалкими силенками, мы считаем сутью, единственно существенным, и из-за этого

потом кажемся такими нелепыми и смешными, когда не остается ничего, доступного нашему пониманию, а мир продолжает жить так, словно ничего не произошло...

— Надо уходить, — хрипит Жора Брахман. Его тельняшка вся в крови, но это не его кровь. Я смотрю на свои руки — они тоже в крови. Но это не моя кровь. В левой — нож Самука. Хороший охотничий нож с узким, плавно изгибающимся лезвием и красивым змеящимся кровостоком. Только что этим ножом я снова убивал. Сам охотник сидит привалившись к стене и поджав левую ногу — так сидеть жутко неудобно, но Самук мертв, ему все равно. А вокруг меня трупы в черном, незнакомом обмундировании. Откуда они? Кто они? Почему сунулись под нож? Все бессмысленно...

— Куда уходить? — спрашиваю я. И узнаю свой голос — обычный, ровный, тот самый, который я привык слышать своим внутренним ухом. Мой голос.

— Не знаю, — Жора озирается вокруг, нервно поводя стволом «Калашникова», — штурм, похоже, сорвался, надо уматывать из этого проклятого города.

— Какой штурм, — говорю я и начинаю улыбаться, — какой город, Жора, ты о чем? — Смех лезет наружу неровными толчками, как рвота. Кулак Брахмана молотом влетает мне в скулу, потом почти сразу же в висок. Я падаю и слышу, как Жора орет:

— Приди в себя, Душегуб!!! Надо уходить...

Я слышу, а сам понимаю, что ведь руку мою уже не остановить, нож Самука не остановить, что это рефлекс и что я совсем не хочу убивать тебя, старина, но ты зря меня ударил... Жора оседает, выронив автомат. Рукоятка в левой глазнице как родная, как часть тела. Часть тела, несовместимая с жизнью, — прекрасная формулировка, настолько же бессмысленная, как все остальное. Жора умирает почти сразу, он не мучается, мучаться предстоит мне. Я уже понял, что пуля снайпера — моя пуля — где-то затерялась, что я и правда выживу и что мне придется-таки вырвать листок из телефонной книги Бога и научиться жить вот с этим какое-то недолгое время, с бессмысленностью и пониманием. С погибшим из-за меня Самуком, с убитым мною Жорой Брахманом. С этими незнакомыми людьми на земле. Нет, я не жалею о смерти Лебруса, в этом убийстве был смысл, но боюсь, что это было последнее наполненное смыслом событие моей жизни. Я поднимаю с земли автомат чукотского охотника, погибшего по воле случая в чужом городе, в чужой войне, закидываю на плечо и ухожу с перекрестка. Я иду без направления и особой цели, и город наблюдает за мной с довольным любопытством, разглядывает мою грязную физиономию, разглядывает резьбу на прикладе, оценивает, подсчитывает мою стоимость. Я не думаю, что буду идти долго, но куда бы я ни пришел, в конце концов, этот взгляд будет следовать за мной, оставляя ненадолго и нагоняя вновь. Если моих жалких силенок не хватит. Если я не смогу оборвать этот взгляд раз и навсегда.

* * *

Говорят, его видели несколько раз многие годы спустя: то на одной дороге, то на другой. Он не старел, и на нем был все тот же покрытый рыжей кирпичной пудрой и местами прожженный солдатский бушлат. Он никогда и нигде не останавливался, ни с кем не разговаривал, ни о чем не спрашивал. Просто шел.

А еще говорят, что когда жизнь теряет смысл, смерть тоже его теряет. И тогда остается только идти и надеяться, что однажды куда-нибудь придешь. Правда, никто так толком и не объяснил куда.

Говорят разное, но я-то знаю, что все это чушь. Просто легенды, не более того. Я знаю это доподлинно, потому что читаю так, как написано.

Я, правда, не уверен, что мне стоит доверять... Ведь я умирал уже несколько раз, а тот, кто познал смысл смерти, никогда не сможет понять ее бессмысленности.

**Круг шестой
КУРЬЕР**

(Окончание)

Я как-то очень быстро сдал, хрипя прокуренными легкими и загибаясь от боли в боку. Стремительные фигуры Братьев Драконов, ловя рыжие отсветы на лезвия клинков, стремительно скрылись в хаотичном переплетении неузнаваемых улиц, и я, выдохшийся, остался один. И хотя плелся еще по инерции в том же направлении, было ясно как день, что Драконов мне не догнать.

Я перешел на медленный шаг и, неуверенно прижимаясь к остаткам стен, пытался высмотреть что-нибудь знакомое в окружающем меня аду, но черный, выбивающий чахоточный кашель дым застилал все непроглядным тюлем. И я сдался, свернул в ближайший просвет между грудями кирпича и витыми ловушками арматурных прутьев. Пригибаясь к земле, поплелся куда глаза глядят, уже слабо представляя, зачем я тут нахожусь и какого черта сунулся в тот грузовик. Да я и не думал какое-то время об этом. Двигался, потому что оставаться на месте было невозможно. За дымным маревом ощущалось постоянное движение, подчиняющее все вокруг, в том числе и меня. Я прислушивался к то приближающейся, то отдаляющей перестрелке и все шел куда-то, спотыкаясь, чертыхаясь вполголоса, не в силах замереть на месте. В какой-то момент ветром сдуло остатки дыма, и я увидел прямо перед собой, буквально в десятке шагов, человеческую фигуру. Увидел и тут же всадил в нее всю обойму. Однако фигура не двинулась, только от тех мест, куда попадали мои пули, отлетали куски белого камня. А я вдруг понял, где нахожусь.

Это был двор Больницы, откуда совсем недавно и в то же время целую вечность назад увез меня на своем «Инденте» Монгол. А расстреливал я гипсовый памятник «13-й жертве», около которого любил сживать с журналом «ГЕО» Немой, да и я сам, — на солнышке, отгороженные от шумной автостреды больничными корпусами, по сигарете на брата — это было прекрасное время. А главное, самое важное в том моем существовании было абсолютное, ничем не нарушаемое вневременье, когда не было необходимости куда-то бежать, кого-то убивать, суетиться, спешить... Но вполне может быть, что после событий последних нескольких недель моя память играла со мной в странные игры. Может быть, и не было ничего. А если и было, то не со мной, или со мной, но не в этом времени и не в этом месте... Странное это было ощущение.

Как не было теперь ни больничных корпусов, ни оживленной автостреды. Сплошь руины, воронки да битое стекло кое-где. И только горнист, врытый по колени в землю, все так же упрямо торчал над поверхностью, равнодушный к белковой суете, ничтожной и краткосрочной по меркам камня. Единственный, возможно, разумный гуманоид на территории этого бывшего города. Последний. Да еще стояли насмешкой над окружающим часть стены метра три высотой и столько же в длину и покрашенная в зеленый цвет больничная лавочка, прижавшаяся к этой стене. Эта лавочка настолько дисгармонировала с происходящим, что я словно под гипнозом пошел к ней, спотыкаясь о вздыбленный кое-где асфальт. Самое смешное, что держал я в тот момент в руках пустой «макар» да коротколезвенный вакидзаси, оружие исключительно парное, да и против того же «Калашникова» с десяти шагов — бесполезное абсолютно.

И все же я был уверен, что ничего не могло там со мной стать. Не могло, и все, беспричинно, безосновательно — аксиома. Я это просто знал. Более того, если бы по всей разрушенной и разоренной Москве повыврастали бы вот такие нелепые, крашенные зеленой краской больничные лавочки, все бы кончилось. И, глядишь, вылез бы из-за груды кирпичей грязный, но улыбчивый Немой и одними гласными попросил бы сигарету.

Я сел на лавочку, осмотрел «макар», сунул его в кобуру. Ни к черту он тут нужен не был. А вот что действительно было кстати — это сломанная пополам сигарета. Сломанная не потому, что я экономил или курить бросал, а просто пачку, видимо, когда в грузовик прыгал, перегнуло пополам. Сигареты полопались поперечными трещинками, и теперь надо было часто «подлечивать» эти места. Вакидзаси лежал тут же на лавке забытой игрушкой. Первая затычка обожгла горло, и пришлось долго кашлять и сплевывать на асфальт рыжую слизь.

Зато потом, когда кашель улегся и я смог просто сидеть и курить, вся эта дымная московская грязь отошла в сторону и я наконец остался один на один с вкопанным по колени трубочом.

— Как-то все слишком просто, да, нига? — спросил Монгол, усаживаясь напротив лавки прямо на асфальт. — Люди потели-строили, тратили время, деньги, нервы, а потом — БАХ! — Монгол неожиданно хлопнул обеими руками по асфальту, от чего поднялись два пыльных облачка. — Одна бомба, железная дура, на которую потратили в сотни раз меньше времени, денег, нервов... Херня какая-то выходит, а, нига Рома?

— Херня, — согласился я, — есть нормальные сигареты?

Монгол протянул мне пачку «Chesterfield», потом вытащил одну сигарету зубами и прикурил от моей зажигалки. Я повернулся к нему боком и лег спиной на лавочку. Ногам было не очень удобно, они все время как-то нелепо свисали, но вообще лежать было здорово. Под серым прокопченным небом, среди руин Больницы, в которой когда-то меня лечили, под пунктир то приближающейся, то отдаляющейся перестрелки. Лежать, забив на все на свете, полностью сосредоточившись на том, как же давно я в последний раз курил нормальные сигареты, а не горлодер из пайка.

И получалось, что совсем недавно, буквально каких-то месяц-два назад. А значит, и Больница эта стояла такой, как я ее помню, тогда же, потому что именно отсюда забрал меня Монгол, чтоб отвезти в свой коттедж на внутренней оси МКАДа. А свои сигареты я оставил Немому. И случилось это считанные дни назад. Невероятно... Теперь не было ни коттеджа, ни Больницы... Сохранился только МКАД, которому привычны с недавних пор и дым, и неизбежная копоть.

— Какая-то нелепица получается, — пробормотал вроде как даже и не мне Монгол. Я лениво повернул голову. Оказывается, мой мертвый друг тоже разлегся — прямо на земле. И теперь, рассуждая, качал правой ногой, положенной на колено левой, и размахивал, словно дирижируя облаками, дымящейся сигаретой.

— Незначительное уничтожает более значимое. Почему? Черт знает. Должно быть наоборот — значимое должно придавать значение окружающему, в том числе и незначительному, да, нига? Но не получается. Уж сколько раз я встречаю тебя в этом месте, а всегда одно и то же.

— Да ты меня встречал-то здесь только раз, — лениво ответил я.

— Не факт, Рома, не факт. Но это не главное. Главное вот это все. — Монгол махнул неопределенно рукой. — Никак не могу понять, почему все время так выходит? Нига, ты не знаешь почему? — Монгол приподнял дремлющую голову с асфальта и посмотрел на меня.

— Не-а, — сказал я. — Я что-то вообще плохо понимаю, о чем ты. Башка не варит... Хотя в любом случае я бы сказал, что не понимаю. Наверное, такой вот странный промысел. Не знаю.

— Во... И я не знаю. И никто не знает. А мне, понимаешь, очень важно узнать.

— Зачем? Во многих знаниях, приятель, многие печали, как ни крути.

— И не говори, нига, и не говори.

Да, ситуация была абсурдна. Мы лежали и говорили о значительном и незначительном. Я и мой мертвый друг. Посреди разрушенного города. В нигде, в никогда. В двух шагах от вкопанного в землю гипсового горниста. А совсем рядом, за огромной, в два моих роста, кучей щебня, бывшей некогда стеной, кто-то истошно вопил, а потом внезапно умолк. Что-то проехало там со стальным лязгом и странным шумом, как будто поток воздуха с бешеной скоростью несется по трубам. Запахло плавленной пластмассой и чем-то еще неприятным. Обдало жаром. Но через минуту налетел, коротко огрызаясь, холодный ветер, и все вернулось на круги своя, стало как прежде. Прежде — то есть минуту назад, а не месяц-два тому назад. Потому что месяц-два назад тут стояла Больница, и я угощал Немого сигаретами. А теперь все как будто то же самое, только сквозь перископ, в который ради шутки кто-то вставил кривые зеркала. То же место, но измененное до неузнаваемости, тот же памятник, но с выщерблинами от моих пуль, и, как и тогда, два человека, но вместо Немого — Монгол. И уже не я, а он угощает меня сигаретами.

— Ыма, — сказал я зачем-то вслух. — Знаешь, Монгол, мне кажется, ты слишком много заморачиваешься. Я же тебе говорил как-то — думай не думай, а все будет так, как будет. По умолчанию — самая древняя функция человечества.

— И тебя это устраивает, нига?

— А это вообще никого не устраивает, Монгол. Просто есть вещи, против которых не попрешь. Как с голой пяткой против асфальтового катка.

— А если попробовать, а, нига?

— Да можно и попробовать, только кому ты, кроме себя, что-то докажешь? Да и себе, в общем... Знаешь, какая на самом деле самая неправильная вещь в этом мире?

— Какая?

— А такая. Иногда между движением и статичностью нет никакой разницы. Между тем, что ты делаешь или не делаешь. Вообще никакой. Вот это по-настоящему неправильно. А с остальным вполне можно жить.

— Привыкнуть? Ассимилироваться, да, нига?

— Угу, типа того... А ты чего пришел-то? По делу?

— Ну, можно и так сказать, — Монгол рывком сел и отшлепал руками по груди и лодыжкам «цыганочку», — меня, брат, Ниху прислал. Хочет наш касатик тебя увидеть. Так хочет, что готов подняться наверх, то есть к тебе, на твою территорию. Так и передать велел.

— Ниху? — Я удивленно посмотрел на Монгола и тоже сел. Во время первой (и последней) нашей встречи божок городского пантеона пытался сделать меня короче на кадык, и мне пришлось в него стрелять. Другими словами — ничего располагающего к дальнейшему общению. Ни с одной из представленных сторон.

— Монгол, ты ничего не путаешь? В последний раз...

— Да-да, помню кое-что. Но тут такое дело, — Монгол пожал плечами, — очень у него важный разговор к тебе есть. Что-то там для него можешь сделать только ты, нига, и это вам нужно непременно обкашлять в ближайшее время. За ценой Ниху не постоит, так и знай. Эта скотина если платит, так уж платит, верь мне.

— Что за дело, ты, конечно, не знаешь?

— Конечно, нет.

— Понятно...

Причин доверять Ниху я не имел, желания встречаться с ним — тем более. Да и не к месту все это было в ту минуту, когда с чуть запачканного золой неба валили редкие черные снежинки копоты. На той лавочке это было не к месту. Как похоронка в розовом конверте.

— Ну что, согласен? — абсолютно равнодушно уточнил Монгол.

— Не-а, — абсолютно равнодушно ответил я.

— Так я и думал.

В небе прямо над нами, но очень-очень высоко стремительно промчались три черных дельтаплана. А может, мне только показалось, что они были черными, потому что я смотрел снизу, а солнце, пусть и тусклое из-за дымной пелены, все-таки светило сверху. Солнце ведь всегда светит сверху, как ни крути.

— Смертнички-соколики полетели, — усмехнулся с земли Монгол, — Ниху гарнир на крыльях понесли. Ниху, Ромыч, в эти дни просто гурманом стал. Потому и в город вернулся. Тебе сигарет оставить? А то мне возвращаться пора.

Я кивнул, принимая из рук Монгола помятую пачку «честера». Теперь уже и сам Монгол казался мне черным из-за того, что стоял, загораживая солнце. Как интересно, да? Черный силуэт мертвого приятеля на фоне солнца.

— Ладно, я сваливаю, — сказал Монгол, — может, подскачу попозже, если Ниху отпустит. Кстати, Ниху говорил что-то про тебя и про Тварь... Не уверен, правда, что относительно этого дела. Ладно, даст Бог — пересечемся еще.

— С каких это пор ты поверил в Бога?

— А я всегда знал, что Он есть, нига. В этом-то и беда.

Монгол, ловко перебирая ногами, начал забираться на кучу гравия, а я, глядя ему вслед,

переложил «макар» из кобуры за пояс, выбил себе еще одну сигарету и прикурил. Когда Монгол уже добрался до вершины, я поудобнее перехватил вакидзаси и позвал:

— Монгол!

— Что? — ответил он оборачиваясь.

— У тебя патроны есть?

Монгол кивнул, порылся в кармане и вытянул бумажный сверток:

— Вот. Специально для тебя тащил, кстати. Так и знал, что пригодится.

— Передай Ниху, что я буду его ждать.

— А где?

— Ну... Он же бог, пусть сам меня и найдет.

— Ха-ха! — Монгол сверкнул сверху белой трещиной идеальных зубов и, крикнув «Передам!», скрылся на другой стороне кучи.

И собственно, как-то все в тот момент изменилось, перетряхнулось... Не знаю, как объяснить... Я вышел на улицу, обогнув кучу щебня, и понял вдруг — что все это ненастоящее. Все, что я вижу, все, во что верил до этой минуты, да и сам я — не совсем тот человек, каким себя всю жизнь представлял. Я встал, отряхнул брюки и навсегда ушел с больничного двора.

А улица жила все это время, улица двигалась, московская улица даже теперь, оперившись руинами, не знала покоя.

Мимо меня, что-то отчаянно выкрикивая, пробежал человек в стеганой фуфайке. Человек палил без разбору куда-то за спину из допотопного ППШ. Я остановился, глядя ему вслед, потом услышал дробные шаги и обернулся. Мимо, грохоча подкованными ботинками, протопали несколько бойцов в камуфлированных комбинезонах с «Калашниковыми» в руках. Потом один из них остановился, прицелился, и мужичонка в фуфайке упал, плеснув черным вокруг себя. Боец же, вытянув из футляра на поясе штыкнож, сделал быструю зарубку на прикладе автомата. Меня никто не замечал. Естественно.

Да, это было естественно, хотя объяснить вербально эту странную перемену я бы не смог. И потому просто вынул из кобуры свой старый «макар», огляделся и, выбрав отвалившийся кусок стены чуть в стороне от дороги, положил пистолет на него. Пока. Временно. Ненадолго. Сейчас он мне был ни к чему. И дело даже не в том, что ложки не существует, тут Вачовски промахнулись. Дело в том, что ложка существует, но она не совсем такая, как мы привыкли о ней думать. А еще я в тот момент осознал, кроме всего прочего, что стрелять мне пока не придется. Пока. Временно. Недолго.

Солнце неожиданно вошло в раж и стало припекать во всю силу своих протуберанцев. И тут уж ни дым, ни землистого цвета облака помешать ему не могли. Оно лупило так, как будто решило слить на землю годовичную норму тепла и света. И земля засверкала вдруг тысячей маленьких солнц, ослепительно, до пробивающейся с непривычки слезы. Это отразили небесное светило множество осколков стекла, усеивавшие асфальт и до того не замечаемые глазом. Это было столь внезапно, что я так и застыл там, где стоял, удивленно хлопая глазами и восхищенно улыбаясь. Какая-то шальная пуля промчалась, вскинув мне волосы и слегка поцарапав висок. А может, это был отбитый пулей кусок кирпича, не знаю. Я оглянулся. Оказалось, что вся эта какофония света и цвета никак не действовала на пятящихся назад бойцов в камуфлированных комбинезонах. Они медленно, мелкими шажками, смешно перебирая ногами, отступали по улице, прижимая к лицам приклады автоматов и кого-то высматривая в перекрестиях прицелов. Высматривали, да не высмотрели. Сначала один, а потом почти сразу же и второй боец дернулись, откидывая руками автоматы, и стали падать, а солнечный свет, отраженный осколками в том месте, стал розовым. И я улыбнулся еще шире, потому что это было красиво.

Перехватив поудобнее вакидзаси и намотав на руку ремень перевязи, я аккуратно обошел трупы и двинулся неспешной походкой в противоположную сторону. Теперь я уже не оборачивался, когда слышал шаги за спиной, и меня несколько раз обгоняли разные люди:

вооруженные и нет, одетые в военную форму и тюремные робы, по одиночке и группами. Некоторые задевали меня плечами, а один даже развернулся и выпустил мне за спину, прямо над плечом, длинную очередь из смешного короткоствольного автомата «борз», отчего у меня в ухе еще добрых полчаса что-то гудело, не пропуская других звуков. Другие звуки, впрочем, были весьма однообразны: выстрелы, далекие взрывы, разные варианты человеческих криков и шаги, то наступающие меня, то отдаляющиеся. Я продолжал неспешно идти вперед, ни о чем особенно не думая и никуда особенно не стремясь. Лишь однажды вздрогнул, во время пальбы из «борза», — все же это было слишком громко. В тот момент настоящее попыталось вцепиться мне в глотку, доказывая реальность реального. Но краткая сильная боль в ухе полностью отвлекла меня, и настоящее осталось ни с чем.

Пару раз я останавливался перекурить. Мне доставляло огромное удовольствие забираться с ногами на особенно крупные куски рухнувших стен и дымить, шурясь на солнце. При этом я ни о чем особенно не думал, не пытался осознать происходящие со мною перемены. Я только чувствовал, что все это ненадолго, что скоро моя отстраненность закончится, я снова войду в этот мир одним из действующих персонажей, и все закрутится, завертится. А значит, уже не будет возможности вот так посидеть, шурясь на солнце, покурить, радуясь его отраженным лучам и наслаждаясь покоем. Уже в тот момент время стало вести себя странно, но я не обратил на это внимания. Так что я понятия не имею, сколько я бродил по Москве случайным свидетелем, зрителем, перепутавшим сеанс: может час, а может и несколько суток. Да и не важно это, в общем.

А потом во время последнего из таких перекуров я заметил брэндмауэр, который лязгая медленно двигался в мою сторону.

Больше всего СОУ (самоходная огнемётная установка) напоминала гигантский «перекати-поле», стебли которому заменяли многочисленные, находящиеся в постоянном судорожном движении шланги и трубы. Иногда из одной из таких труб вырывалось пламя и перекрашивало все, до чего добиралось, в черный цвет.

Помимо обычного механического гуда брэндмауэр издавал странные звуки, напоминающие басовитый кашель. Перемещался СОУ — я знал это откуда-то из прошлой жизни — на небольшой, но устойчивой гусеничной базе. Однако поскольку клубок проводов, труб и шлангов эту платформу полностью скрывал от глаз, казалось, что гигантское «перекати-поле» катится само по себе, как, собственно, и положено этим пустынным растениям. Иногда в недрах брэндмауэра что-то происходило, и тогда он начинал вздрагивать, вертеться на месте, раскидывая из недр искры — частые, как будто кто-то работал внутри клубка «болгаркой», — и спорадически поливая вокруг длинными струями огня.

Я так и не смог разглядеть тогда, при каких обстоятельствах это происходит. Смысл всех этих телодвижений я тоже не уловил. Может быть, мне попался брэндмауэр с багом, а может, у этого странного механического разума, решившего жить по своим собственным законам, был свой способ общаться с миром. Мир, увы, не мог понять язык телодвижений этого механического монстра. А жаль. Может быть, тогда брэндмауэры не были бы такими кровожадными. Если, конечно, их действия что-то обозначали. К примеру, чихание. Мог быть этот конкретный брэндмауэр простужен? Или как вариант, может, он так пританцовывал? В целом выглядел огнемёт куда менее страшно, чем я о нем думал, но я отдавал себе отчет в том, что его внешняя безобидность обманчива. Небольшого запаса знаний об этих взбунтовавшихся механизмах хватило, чтобы, когда брэндмауэр, миновав перекресток, двинулся в мою сторону, кубарем скатиться со своего места и прижаться потеющей от страха спиной к ненадежному укрытию полуразвалившейся стены. Моя радужная отстраненность рухнула под давлением лезущего снаружи ужаса. Если и было что-то страшнее Твари в осажденной Москве, так это брэндмауэры.

Создатели брэндмауэров доктор-эпидемиолог М. Расташанский и инженер А. Тикунов изобретали, разумеется, не оружие. Огнемёты были абсолютно неадекватны времени и

техническому прогрессу. Армия от них давно отказалась, хотя закрывать напалмовые заводи не торопилась. В мирных целях огнеметы практически никогда не использовались, однако на волне напавших на Дальнем Востоке эпидемий эти двое ученых смогли выбить небольшой грант и произвести на свет чудовище, в электронные мозги которого было вбито гигантское количество информации (как медицинского, так и аналитического характера). Во время первой же активации в полевых условиях машины, названные брэндмауэрами, сделали свои, несколько отличные от общепринятых, выводы о смысле существования. Покрутившись с полчаса на месте и нарушив тем самым все существовавшие регламенты и нормативы подобных испытаний, брэндмауэры для начала сожгли весь обслуживающий персонал, сопровождающую группу солдат и ученых М. Расташанского и А. Тикунова. Куда самоходные огнеметы отправились после этого — никто не знает, и массивные поиски с помощью передовых технологий и многочисленных военных подразделений ничего не дали. Брэндмауэры как в воду канули.

Разумеется, то тут, то там по планете возникали слухи о неведомом звере, огнедышащем и бессмертном, и туда отправлялись те самые военные подразделения. Как правило, слухи эти относились к той же информативной группе, что и сведения очевидцев, касающиеся снежного человека и зомбирования президента Белоруссии. За исключением, впрочем, одного факта: некоторые легенды о брэндмауэрах основывались на обуглившихся и, как правило, неопознаваемых трупах местных жителей.

Со временем о брэндмауэрах не то что бы забыли, но стали упоминать все реже и реже, пока они не покинули окончательно первые страницы деловой и новостной прессы и не заняли свое законное место на страницах желтых СМИ. СОУ упоминались не чаще, но и не реже, чем лох-несское чудовище, пакистанская волосатая женщина и пернатый змей Кецаль-Коатль, и приносили стабильный доход в этом новом, не продуманном заранее М. Расташанским и А. Тикуновым амплуа. Более того, однажды некое механическое чудовище появилось в финальной серии японского сериала о Годзилле. Чудовище звали Брэндмауэр, хотя походило оно скорее на неудачный гибрид строительного крана и члена общества анонимных алкоголиков. Надо заметить, что японская киностудия заработала на детище двух инженеров-неудачников солидный куш, не выплачивая никаких отступных за используемый образ. Ибо, как уже было сказано выше, платить к тому времени было некому. Все, кто был так или иначе причастен к проекту, сгорели в первом испытательно-очистительном пламени.

Никто теперь уже не сможет объяснить, кто оказался виновен в этом бунте механических санитаров, чего не предусмотрели ученые, о чем не додумали. Есть, правда, одно мнение, которое еще в те времена, когда интерес к брэндмауэрам не утих, мне довелось подслушать в курьерской казарме.

— На самом деле, — говорил кто-то за тонкой фанерной перегородкой, отделяющей спальное отделение от «кают-компании», — никакого бага не было, и брэндмауэры четко выполняют вбитую в их мозг программу, ни на йоту от нее не уклоняясь. Совершенная программа стремится очистительным огнем уберечь человека от смертельных опасностей. А что может быть опаснее для одного человека, чем другой человек? Багом можно считать разве что ошибку М. Расташанского и А. Тикунова, которые сделали алгоритмом существования брэндмауэров уничтожение грозящей человеку опасности вместо защиты человека от грозящей ему опасности.

— Тогда они должны были уничтожать вообще все, попадающееся на их пути, — возразил кто-то второй, — потому что потенциальной опасностью для человека является вообще ВСЕ.

— Логично, но если уничтожить человечество, ему, человечеству, уже ничего не будет угрожать. ВСЕ невозможно, во всяком случае технически трудно уничтожить. Уничтожить человечество проще. Электронный мозг выбрал самый действенный путь спасения человечества от опасности — его уничтожение. Тому, чего нет, опасность не угрожает. Я за

одно благодарен Расташанскому и Тикунову — они не догадались чистить территории с помощью ядерной радиации. В противном случае человечество уже было бы спасено. Навсегда.

Так или иначе, брэндмауэры ушли в область слухов, и уже ничто, казалось, не вернет их оттуда. Но они вернулись. «Иногда они возвращаются». Говорят, они вышли из лесов Битцевского парка вслед за Фальстатом, выжгли вокруг себя территорию диаметром в несколько сотен метров и застыли. Так и простояли до тех пор, пока Фальстат из столицы не сбежал. Изредка вокруг себя пламенем поливали, но скорее ради неведомой программной проформы (или удовольствия), поскольку ни один разумный организм, в основе которого так или иначе значился белок, к выжженному брэндмауэрами пятаку не приближался.

После того как блицкриг Фальстата провалился и сам он, спасая остатки тигровых манипул, отступил в направлении к Рязани, навеки канув для истории в небытие, брэндмауэры неожиданно ожили, проявили живой интерес к окружающему и вошли в город.

Нельзя сказать, что они кардинально повлияли на происходящее. Пинас, взалкавший славы избавителя Москвы от вояки-агрессора, потерял контроль над своими силами практически через несколько часов после захвата столицы. И также пропал для исторической науки, поскольку с тех пор никакого интереса как историческая фигура не представлял. В городе воцарился хаос, и несколько плюющихся пламенем машин сделать его еще более хаотичным не могли. Но некую колоритность привносили. Они никак не повлияли и на ход нынешнего противостояния, поскольку и с той и с другой стороны пожгли примерно одинаковое количество народа. Лишь на вторые сутки штурма у брэндмауэров появился шанс сделать что-либо значимое — именно тогда стало ясно, что обе армии окончательно потеряли связь со штабами. СОУ вполне могли стать единственными властителями этого города, резня в котором продолжалась с попеременным успехом, но со все меньшим количеством участников. Надо заметить, что к тому времени резня эта уже не была ни штурмом, ни защитой. По разным причинам оказавшиеся внутри МКАДа люди просто пытались выжить. Осознав, что Москва стала ловушкой для двух группировок, они стали прорываться к МКАДу, не обращая друг на друга внимания, подобно тому, как спасаются лесные звери от пожара. И те и другие были встречены заградотрядами, причем в данном случае стена огня (рукотворный брэндмауэр) оказалась не менее, но и не более действенна, чем огонь машин М. Расташанского и А. Тикунова. Заградотряды жгли все подряд без разбора, поэтому опять же с обеих сторон полегло примерно одинаковое количество народа.

И вот теперь брэндмауэрам достаточно было активно пройти по Москве огненным мечом и остаться единственными властителями павшего града...

Но именно в этот момент они начали город покидать. Один за другим возвращались они к тому самому выжженному пятаку в районе Битцевского парка и вновь замирали, как и прежде, во время штурма города Фальстатом. Предварительно они, впрочем, сожгли не успевший ретироваться заградотряд...

Видимо, это меня и спасло. Не доезжая нескольких метров до моего камня, брэндмауэр развернулся и потащился в обратную сторону. Как будто случайный порыв ветра заставил «перекасти-поле» изменить направление... Впрочем, почти так оно и было.

Я медленно оторвался от камня и привалился к стене, чувствуя мокрой спиной гофрированную прохладу бетона. Страх выходил из тела студеным потом и мандражом коленей. Сбивал дыхание. Секс и страх в чем-то похожи, и реакция организма на них схожая, и потерянности первых минут после возвращения к реальности одинаковая... Только ощущения разные. Радикально.

Я оперся ладонью в асфальт и начал подниматься. Видимо, какой-то кусок времени выпал из моего сознания, потому что людей, которые бежали по улице с обеих сторон, еще мгновение назад не было.

Шальная, явно не мне предназначенная пуля выбила искру из камня прямо напротив моих глаз, ударила в роговой панцирь на плече и ушла куда-то в сторону. «С возвращением», — подумал я, уже лежа на земле и отползая. Камень искрил и плевался осколками.

Время сносило куда-то за спину спорадическими скачками, рикошетило от остатков стен, оно расползлось лоскутами и в целом вело себя неподобающе пассивно. Дымные трассы выстрелов с кисельной медлительностью расчерчивали воздух смертоносными «классиками», причем чертили в обе стороны. Очень скоро стало ясно, что стреляют не в меня, что и черные силуэты с одной стороны улицы, и нелепые зеленые фигурки с другой скорее всего вряд ли знают о моем существовании. Силуэты и фигурки были заняты активным уничтожением друг друга, им было явно не до меня, но пуля, как известно, дура...

Я отползал, то и дело вминая правую щеку в кирпичную крошку, а сам думал, что это же смешно, — война силуэтов против фигурок за уничтоженную столицу, и посреди нее — я. Но смеяться я не мог — асфальтовая крошка набивалась в рот. Приходилось улыбаться сжатыми губами и тихо мычать от смеха. Крошки больно царапали щеку, а поднимать голову было страшно. И обидно. Обидно быть найденным случайной пулей в войне черных силуэтов и нелепых зеленых фигурок.

Наконец я забился в какую-то щель между двумя щербатыми кусками стены и позволил себе засмеяться. Во рту пересохло, и мой смех напоминал вороний гай. Еще смеясь, я протянул наугад руку и взял с камня свой «макар». Полежал без дела, и хватит. Время разбрасывать камни, хотя куда уж больше. Время сеять свинцовую пыль и с вороньим смешком ждать всходов дымных колосьев и исполненных «а капелла» предсмертных воплей. Белую пыль красить охрой. Чужой.

Солнце не хочет этого видеть, скрытое тучами и низкими дымами. А я не могу не видеть, у меня нет туч, я задыхаюсь в дыму, и я не солнце. Мир стремительно проворачивается вправо, панцирь перетирает об асфальт ткань рубашки на плече. И дымная прямая, отчерченная перпендикулярно времени и диссонирующая смертоносным классикам, отлетает от «макара», сопровождаясь свистом хлыста и птичьей тенью отстрелянной гильзы. Какой-то частью сознания я понимаю, что пуля, выпущенная «макаром», не может оставлять дымной трассы, но в этом месте и в это время все происходит именно так, как должно происходить. Черный силуэт удивленно посмотрел в мою сторону, оседая на колени и раз за разом вздрагивая, — но уже не от моих пуль. А земля снова проворачивается, и по другую сторону улицы оседает зеленая фигурка. Их убивают не мои пули, вернее, не сами пули. Их убивает странный ход вещей, провороты земли, удивительно неторопливое время и сухой вороний смешок. Те самые вещи, которые рано или поздно находят каждого. Все мы рано или поздно оказываемся зажатыми между двух кордонов, по одну сторону которых либо черные силуэты, либо нелепые зеленые фигурки. И это всегда глупо, и персональная территория каждого, нарушая незыблемые законы песочных замков, рано или поздно оказывается руинами. Неизменен только песок и кирпичная крошка. Да и то не факт, если вглядываться вдоль прямой времени. Если вглядеться особенно пристально, можно понять, что прямая конечна.

Выстрел похож на выпад эспадоном — клинок дымной трассы и лезвие искаженного воздуха вперед, а в сторону — гардой — отлет использованной гильзы. Поэтика умерщвления. Пожалуй, это единственный вид искусства, к которому все человечество относится с крайней серьезностью. Даже секс и кулинария — лишь его тени.

Выхаркивая смех, я крутился свинцовым шаманом на рыжем асфальте и сеял пули в оба направления. Занятые друг другом, черные силуэты и нелепые зеленые фигурки далеко не сразу обратили на меня внимание, а когда это случилось, их осталось только двое, и кто-то зеленый начал поднимать в мою сторону руку. Я не стал стрелять, я дал возможность выстрелить кому-то в черном и только потом спустил курок. В войне черных силуэтов и нелепых зеленых фигурок есть такой закон: живым остается только один горец. Потому что два горца — это уже хор, а смерть любит тишину. Вяло громыхнув, упала на асфальт пустая обойма. И тогда я перестал смеяться.

...Я и теперь не был уверен, кто мне враг, а кто друг, на чьей я сегодня стороне и имеет

ли смысл принимать чью-то сторону. И лишь одно мне стало очевидно в ту минуту, когда я, стоя на коленях, менял обойму в остывающем «макаре»: можно принимать ту или иную сторону или оставаться между двумя этими свинцовыми кордонами, можно носить черное или зеленое, можно заметить удар эспадоны или не заметить, — все это неважно. В тот момент, когда пуля дробит черепную коробку, ты один хрен перестаешь быть кем-то, перестанешь быть черным силуэтом, нелепой зеленой фигуркой, существом. Смерть — самая демократическая инстанция, если вдуматься. И самая прагматичная. Смерть — это самый яркий пример самого неправильного из промыслов земных. Ты можешь что-то сделать или можешь не делать ничего — пуля плевать хотела на все, что было до ее визита.

Я ушел с улицы, не оглядываясь даже в те моменты, когда спотыкался о демократичные трупы в черном.

Прошло еще несколько отрезков времени. Мне казалось, что я, блуждая в лабиринте московских руин, переживая перестрелки (в которые я больше не пытался вмешиваться) и прочее, все же удерживаю изначальное направление к центру города. Какой-то определенной цели у меня уже не существовало, и уничтожение Твари как таковое мало меня заботило. Эта отстраненная бесцельность придавала всему происходящему шарм странной логики, и меня это устраивало. Так что прежнего маршрута я придерживался скорее по инерции. И все же мне хватало ума задавать себе изредка вопрос — а что дальше, что потом? Правда, мне никогда не хватало ума дать более или менее вразумительный ответ. Потом будет потом, крутилось в голове, там посмотрим, утра вечера мудренее, не говори гоп...

Ни одной улицы узнать я так и не смог, да и не было уже улиц. Внезапно разлетевшийся в дали дальние, совсем не характерный для Москвы горизонт, щербинки руин на фоне тускнеющего неба и косые столбы дымов, упирающиеся в свинцового цвета зенит... нет, я не узнавал этого места, как не узнаешь мест, в которые впервые попадаешь. Той Москвы, которую я знал как свои пять пальцев, больше не было. Правда, иногда среди руин и неразберихи улиц попадались вдруг этикие лоскуты вчерашнего дня: то уцелевшая театральная тумба с чуть опаленными афишами и рекламными плакатами, то совершенно нетронутая стеклянная остановка посреди уничтоженных бетонных и кирпичных домов-исполинов, то вдруг яркой вспышкой на фоне серого холста зеленая, по-летнему присыпанная пылью крона нетронутого прихотливым огнем тополя. Но все эти лоскуты, как случайные элементы тысячи паззлов, не только не создавали какой-то общей ясности, но даже привносили свою весомую долю нелепости в окружающий сюрреалистический пейзаж войны. Было даже странно, что над этим местом не кружат стальные стервятники и не топчут битый кирпич отливающие серебряной ртутью треножки. И было что-то еще, что-то, не дававшее мне покоя своей неуместностью и даже некоторой абсурдностью, от чего я все время крутил головой, силясь поймать этот момент, и не находил. Лишь много позже, оставив далеко за спиной место боя-бойни силуэтов и фигурок, я вдруг сразу и четко понял, что это.

Небо! Его больше не стягивали жесткие узлы проводов, и хотя давили и давили с упрямой непреложностью дымы тлеющего внизу города, небо больше не казалось брюхом запутавшегося в сетях кита. Думая об этом, я свернул в руины и, обнаружив под прикрытием стен бордюрный камень, вывороченный и заброшенный сюда недавним взрывом, уселся на него. Подаренная Монголом пачка оказалась продавленной, а рубашка на груди — порванной. Когда и при каких обстоятельствах это произошло, я не помнил. Снова все сигареты были переломаны, и пришлось долго ковыряться, вставляя в распотрошенный столбик с фильтром отломленный кусок, а позже еще и периодически «лечить», чтобы дым не выходил через прорехи в расплывающейся бумаге. И все же... Этот в общем-то жутковатый трип по осажденному городу вызывал у меня только положительные эмоции, и никогда я еще не чувствовал себя так к месту и так вовремя, как теперь.

Я уже докуривал, когда над теми руинами, где я сидел, прошел на низкой, «бреющей» высоте кривобокий дирижабль. Он умирал и даже такую высоту удерживал с огромным

трудом. Остатки рекламного холста серыми опаленными лохмотьями свисали с боков, и тянулись грязными космами канаты. «Обездоленный, — подумал я тогда, — покинутый людьми, оставленный за чертой и войной и временем. Совсем недавно семенил ты по стянутому бандажом проводов небу гордый, всеми замечаемый, единственный московский небожитель. А кто ты теперь? И главное — кому ты теперь нужен? Sic tranzit...»

Я почти заснул, убаюканный таким уютным, пчелиным гудением войны. Не то чтобы окончательно отключился, все-таки усталость и ощущение близкой опасности не давали расслабиться, но пребывал где-то на едва уловимой грани между сном и явью. Мне снились те первые дни моего побега из Москвы, превращенной в котел, или точнее — в гигантский каменный желудок, переваривающий бетон, людей, богов и прочие ингредиенты собственной жизни. Да, в тот момент мне казалось, что Москва пожирает самое себя и себя же переваривает. Отчасти так оно и оказалось в конечном итоге, но только отчасти.

Мне снились жуткие подмосковные дороги, забитые насмерть перепуганными людьми, брошенным скарбом, машинами. Тогда еще из Москвы можно было сбежать, и люди шли нескончаемым потоком, неся с собой страх и ужас, который поднимал с мест и ближе Подмосковье. Я и сам плелся среди них, не представляя, куда иду. Подальше от московского безумия — это единственное, что было мне известно доподлинно.

Но даже и там, на дорогах, люди не могли скрыться от войны. То и дело налетали самолеты — не знаю, чьи, — и бомбили беженцев. Какую угрозу они, то есть мы, представляли, кому были опасны? Из лесов налетали разрозненные банды и грабили и без того обескровленных и обездоленных беглецов. Сколько обойм я расстрелял тогда? Сколько пуль отпустил на волю снимать кровавую жатву мне на душу?

Во время одного из мародерских налетов к моему «макару» неожиданно присоединились короткие хлесткие очереди стальных ветеранов Второй мировой — немецких «шмайсеров». Три человека в черных свитерах выскочили из общей массы беженцев и помогали мне своим огнем. Не думаю, что кто-то из налетчиков ушел в тот раз.

Когда все закончилось, старший (и не только по возрасту, как потом выяснилось) сказал мне:

— На дорогах сейчас ловить нечего. Толпа не даст далеко уйти: или под пулю попадешь, или под бомбы. Тут в паре километров Пироговское водохранилище. Воду не так утюжат, можно попробовать каналами уйти на Белое. Если хочешь, двигай с нами.

Я согласился.

Как оказалось, к тому моменту, как я повстречал бывшего майора ВВС Владимира Карасева, спустившегося с небес прямиком на воду, и двоих из его ребят, от Москвы удалось убраться всего на одиннадцать километров. Карасев оказался прав — дорогами, в толпе беженцев, под постоянными авианалетами и набегами лесных банд мародеров далеко было не уйти. И еще в одном оказался прав старый майор. В том, что не пытался спасти всех, не тянул за собою всю толпу. Ни к чему хорошему это бы не привело. У благих намерений такого рода совершенно определенные функции.

Теперь было нелегко восстановить ход событий, приведших меня именно в то место и именно в то время. Смутно помню, как Монгол велел мне уходить лосиноостровским направлением в сторону Мытищ, где мы договорились с ним встретиться. Еще более смутно, какими-то рваными обрывками воспоминаний — как в районе Перловки волна беженцев, в которую я влился сразу за МКАДом, была встречена одним из первых заградотрядов. Людей просто расстреливали с крыш. Дома плотно облепили дорогу, а в тех местах, где между ними были просветы, в которые можно было уйти, стояли солдаты. Паника — именно там, в Перловке, я впервые четко осознал, что значит это слово. Я и сам был частью его. Животный страх перед губительным огнем заставлял толпу (и меня как часть ее тела) бежать, давить себе подобных, спасаться любой ценой. Каким образом мне удалось выбраться из этого ада? Какими путями, какими крысиными норами? Избитый, весь в своей и чужой крови, с пустым пистолетом в руках я пришел в себя под какой-то теплотрассой. Даже не спрашивайте меня,

в кого я стрелял, я и сам боюсь задавать себе этот вопрос.

Когда-то Перловская теплотрасса была известна на всю Москву и Подмоскowie тем, что здесь создали целый город так называемые лица без определенного места жительства. С ними боролись, от них заваривали люки, заливали цементом все полости, в которых они могли скрываться. А они выживали, и их город существовал наперекор всем. Теперь он был пуст: крысы убежали с тонущего корабля и правильно сделали.

Вдоль теплотрассы я дошел почти до Северной ТЭЦ, но потом пришлось возвращаться, потому что ТЭЦ охраняли солдаты. Долго брел какими-то изрытыми воронками полями, пока не выбрался к лесам. Даже отдаленно я не представлял себе своего положения. Не знал, как далеко удалось уйти от Москвы. Как оказалось, совсем недалеко. На одной из дорог я влился в еще один поток беженцев, который, еле двигаясь, много часов спустя вынес меня на Осташковское шоссе. В одиночку я проделал бы этот путь во много раз быстрее. Но в одиночку было страшно. В толпе, впрочем, тоже. И кроме одинокого страха, который по большей части был страхом людской массы перед неизвестностью, в толпе подстерегала она, моя новая знакомая по имени Паника. Самая жуткая из всех моих знакомых.

Поэтому я согласился. Среди нескольких вооруженных и умеющих обращаться с оружием людей было безопаснее, чем в многотысячной человеческой толпе, легко превращающейся в животную массу.

...В далеком теперь уже 1987 году Карасев, налетающий достаточно для стремительно приближающейся пенсии, решил перевестись в более тихое и уютное место. Это ведь только в бескрылом обществе принято идеализировать небо, придавая ему флер романтики и прочие легендарные качества. Что вполне, впрочем, объяснимо для тех, кто навеки прикован к земле. Действительность, как обычно, не так радужна. Постоянные перегрузки, смена давления, вибрации и эмоциональные потрясения, — все это за предписанные двадцать лет выслуги сильно убивает организм. К тому же начиналась (пока еще едва заметная) волна гонений на армию, которая, в частности, привела в 1991 году к приказу, запрещающему военным появляться в общественных местах в форме. В период славной вольницы президента Михаила Сергеевича Горбачева армия деградировала до такой степени, что за год военным летчикам с трудом удавалось налетать три-четыре часа. За год! Из восьмисот семидесяти шести тысяч часов — три часа полетов и восемьсот семьдесят три часа на земле. Так выглядела только военная авиация того периода. Майор Карасев, человек, всю жизнь поддерживавший хорошие отношения со здравым смыслом, понял, что в небе ловить больше нечего. Через каких-то хороших знакомых в Генштабе ему удалось получить место коменданта при тренировочной базе ВВС на Клязьминском водохранилище. Действительно тихое и спокойное место. При тренировочной базе имелся частично погруженный в воду Ту-154, на котором отрабатывались действия при экстренном приводнении: спасение, эвакуация и прочее. Всем этим хозяйством и стал заведовать майор Карасев.

— А почему Ту-154, если база ВВС?

Мы как раз пробирались через глухой ельник, который с двух сторон зажимал Осташковское шоссе.

— А потому, что Ту-154, уважаемый, есть не что иное, как приспособленный для гражданских нужд Ту-16, в оригинале — стратегический бомбардировщик. А кто ж тебе стратегический бомбардировщик выделит для тренировок?

Восемь лет спустя, в 1995 году Владимир Карасев ушел на пенсию. За это время он успел построить на том же водохранилище приличный дом, а также организовать небольшой, но вполне прибыльный бизнес.

— Москву же не зря зовут портом пяти морей. Это, как ни странно, самая что ни на есть реальность, — рассказывал Карасев. — По каналам можно пройти и на Каспий, и к Черному морю. А я в основном по водоканалу имени Москвы к Белому ходил.

Там, на Белом море, Карасев за копейки (равные примерно стоимости новенького ВАЗа) покупал списанные пограничные сторожевики и каналами приводил в Бухту Радости

на Пироговском водохранилище, расположенном в непосредственной близости от Клязминского. Здесь сторожевики восстанавливали и превращали в прогулочные катера. Превращение, надо заметить, на кошелек особенно не давило, поскольку осуществлялось руками вверенного майору личного состава тренировочной базы ВВС.

Собственно, к Бухте Радости мы и пробирались: бывший майор ВВС, двое его ребят и я.

Чуткий до тревожных признаков, витающих в воздухе, Карасев еще загодя, наведя осторожные справки все через тех же знакомых в Генштабе, понял, что надвигаются какие-то перемены.

— А у нас на Руси как перемены, — объяснял майор, ведя нас буреломами, — так мужички сразу за колы хватаются. Традиция такая.

Недолго думая, Карасев отправился в Москву, где официально зарегистрировал филиал общественной организации «Память» при речном клубе «Бухта Радости». Это позволило ему закупить несколько партий раритетного оружия времен Второй мировой войны. Большая часть из закупленного материала была выставлена в качестве временной экспозиции в наспех организованном выставочном зале при наспех организованном клубе наспех зарегистрированного филиала. От всех подобных экспонатов коллекция Карасева отличалась тем, что каждую боевую единицу можно было прямо с витрины отправлять на Восточный фронт. Что касается состава клуба, то в него вошли лично Карасевым отобранные «юноши» от 20 до 55 лет, знающие оружие и уважительно относящиеся к экспозиции музея. На момент начала смуты клуб насчитывал около сорока человек.

Вот только точные сроки начала смуты Карасеву определить не удалось. Фальстат застал его в Москве, куда майор с двумя «юношами» отправился за очередной партией экспонатов.

— Все бросили к чертям, и к Лосиному острову, — говорил мой новый знакомый. Стояли уже довольно плотные сумерки, но продвигались мы так же быстро. Карасев и ребята знали эти места как свои пять пальцев, а меня выручал курьерский опыт.

— Бросить-то много пришлось?

— Много, но собственная шкура дороже. А так — два пулемета «максим», один «дегтярь», несколько «мосиных». Ну и по мелочи. Жалко, конечно. Особенно «мосек». Хорошая штука. Трехлинейка образца аж 1913 года. Но убойная дальность — полтора километра. И не капризная. Ты понимаешь, я бы мог через старые связи и современного барахла закупить. Но во-первых, откуда я знал, а вдруг все эти предчувствия оказались бы ерундой, зачем мне лишние проблемы с арсеналом, так? А во-вторых, такой объем легче зарегистрировать в качестве экспонатов. И по деньгам дешевле.

Через три часа блужданий еловыми буреломами Карасев вывел нас к Бухте Радости. На подходах непосредственно к владениям Карасева нас окликнули, ослепили прожектором с высокого, в два человеческих роста, бетонного забора, и только потом пропустили внутрь. Дело было поставлено серьезно.

Внутри, перед сковородой жареной картошки с мясом и потеющей конденсатом бутылкой водки, Карасев развернул карту и показал мне, каким образом он намерен на некоторое время исчезнуть из ближнего Подмосковья: тем же самым, уже изученным досконально маршрутом — каналом имени Москвы до Белого моря. Там у Карасева была договоренность с еще одним «юношеским» клубом, где флотилию бывшего майора ВВС, состоящую из пяти прогулочных пограничных сторожевиков, везущих на борту всю экспозицию филиала общества «Память», ждал старинный приятель, тоже какой-то бывший военный чин.

— Даже не верится, что от Москвы так запросто можно добраться до любого из морей, — признался я.

— Почему? Чай, не при Иване Грозном живем. Тогда так просто было не пройти, конечно. Вот, городок такой есть — Мытищи. Откуда название такое, знаешь?

— Нет, не знаю.

— При Иване-батюшке, Роман, сообщение между югом России и северо-востоком происходило как раз там. Торговцы доплывали по Клязьме до того места, где сейчас стоит деревня Тарасовка. Оттуда волоком суда перетаскивались к Яузе и уже шли к Москве. Других путей не было. А в Мытищах, брат, стояла одна из первых таможен. Мыта, мзда, дань. Отсюда и название... Ладно, пошли спать, завтра с рассветом отходить будем.

Но поспать не пришлось. Прогадал-таки со сроками старый речной волк, всего на день прогадал. Среди ночи в Бухте Радости начали рваться бомбы. Темное небо дрожало от тяжелого гудения бомбардировщиков. Одной из первых на дно водохранилища отправилась флотилия Владимира Карасева. Случайно? Да кто ж теперь разберется...

В суете, перепачканный сажей, майор успел перехватить меня и крикнуть:

— Давай, курьер, двигай к Зеленограду! Там найдешь военный лагерь, называется Хорезм. Комендантом в лагере Леха Чурашов, скажешь, от меня. Передай, чтоб ждал нас, скажи, подтянемся со дня на день.

— Понял!

Но в лагере Хорезм Карасев так и не появился. Надеюсь, ему удалось добраться до Белого моря и довести своих ребят. Остальные варианты я не рассматривал.

Где-то неподалеку оглушительно разорвалась ткань автоматной очереди, и мой сон мгновенно улетучился. Однако никакой опасности я не ощущал и двигаться с места не собирался.

Стало вдруг сумрачно. То ли ершалаимски-стремительно падал, словно сорванная штора, вечер, то ли на солнце напоззло особенно густое облако дыма. Ориентироваться во взбунтовавшемся времени было невозможно. Кроме того, я понятия не имел, как давно я уже в городе. Помню, что от места Хорезм отъезжали ранним утром, когда заря еще толком не набрала силы... Или это было зарево?... С Монголом я говорил уже днем, по крайней мере было похоже на день... А потом время размылось и перестало иметь четкие границы... Положительно, ориентироваться в нем стало невозможно, а значит, и необходимость в нем отпала.

Я решил, что в ближайшие несколько отрезков вечности никуда не пойду, так и буду сидеть на куске бордюрного камня, заброшенного в руины дома недавним взрывом (а здесь все взрывы недавние). Вот только в сером воздухе вокруг не за что было зацепиться взглядом, и я откинулся спиной на стену и стал смотреть в дымное небо. Небо в свою очередь смотрело на меня из своих дымнооблачных руин. И знаете, оно было красиво. Даже теперь, измазанное в копоты человеческого неумения просто жить, ничего вокруг себя не уничтожая и не сжигая, оно, небо, было красиво. И не из упрямства, а просто потому, что для неба это естественно — быть красивым, это вообще для всего естественно, даже для человека. Но человек по природе своей губитель и маратель, и старательнее, методичнее всего он рушит то, что естественно. До неба ему не удалось добраться. Но он научился пеленать его (или пеленаться от него?) в провода, укрывать в бетон, прятать под зеркальные стекла. Если нет возможности уничтожить, надо найти возможность не видеть. Иногда мне кажется, что всю историю человечества можно поделить на два этапа: первый — когда он пытался добраться до неба, второй — когда он учился от него прятаться.

— А мне не понять эту вашу убогую тоску по небу... И страх перед небом, — сказал Нику, усаживаясь передо мной прямо на обильно посыпанный оранжевой крошкой пол, почти как Монгол несколькими часами (днями, годами, минутами?) ранее, — эта ваша зависть к недостижимому. Зачем, курьер? Кому нужно то, что нельзя потрогать, обнюхать, перегрызть?

У меня не было желания отвечать Нику, и я не ответил. Я только повернул голову и внимательно наблюдал теперь за кисточкой, которую Низовой Художник крутил в пальцах левой руки. А он тем временем рассуждал, размахивая правой и часто пожимая плечами. Когда Низовой Художник поворачивался ко мне двумя крестами пластыря, закрывающими его пустые глазницы, я очень четко ощущал его взгляд. Такой же пустой, как глазницы

крысиного божка. Правый пластырь промок и чуть отошел, из-под него по щеке медленно стекала густая слеза гноя. У Ниху был весьма ощутимый взгляд. Но не было глаз.

— Небо и смерть — две глупые субстанции, обе определены, но обе не имеют четких границ. Разумеется, я имею в виду не воздушную оболочку планеты, а небо как оно есть для вас, хомо эректусов.

— А себя, значит, ты человеком не считаешь? — вяло спросил я.

— Я бог, — пожал плечами, ответил Ниху, — да, я человек, но я — бог. Одно другому не мешает, но в корне меняется статус и мировосприятие. Я велик, я выше этих ваших мелких и бессмысленных порывов.

Я вынул из пачки еще один обломок сигареты, отбросил фильтр и прикурил. Очень мешала кривая усмешка, не желавшая сползать с лица.

— Чему улыбаешься, курьер? — спросил Ниху, отмахиваясь от дыма.

— Смешно. Мелкий крысиный божок рассуждает о мелких человеческих порывах и называет себя великим.

— Мое величие не в том, кем я повелеваю, — пожал плечами Низовой Художник, — но вам, людям, этого не понять. Вам никогда не избавиться от этих вот генитальных представлений обо всем. Размер имеет значение: большое тире великое... Это смешно, поверь мне, курьер. Бога никогда не станут интересовать такие вещи.

Сигарета горчила и без фильтра стала слишком крепкой, но для курильщика все это не аргументы.

— А что интересует бога? — спросил я, потому что чувствовал — Ниху ждет именно этого вопроса.

— Бога... — Ниху улыбнулся и часто закивал, — бога, курьер, интересуют предпосылки и последствия. Будущее и прошлое. Вот что по-настоящему интересно, курьер, вот что стоит внимания. Главные вопросы бытия: что посеял и чем станет посеянное после того, как ты его пожнешь.

— И надо так понимать, именно поэтому ты попросил о встрече?

— Я не прошу! — визгливо воскликнул Ниху и махнул кисточкой. По полу тотчас прошла глубокая и пугающе ровная трещина. Видимо, внезапная и нездоровая смена настроений тоже являлась божественной прерогативой. — Я повелеваю!

— Ты повелеваешь крысами, — сказал я и не скрываясь положил руку на «макар». Да, Ниху бог, но он и человек — одно другому не мешает, но в корне меняет отношение к влетающей в лоб пуле.

— Крысы, люди — какая разница? — снова пожал тощими плечами Ниху, настороженно следя за моей рукой. — Ты должен для меня кое-что сделать, курьер, вот почему я соблаговолил подняться из моих славных подвалов наверх.

— Не припомню, чтобы брал у тебя что-то взаймы, крысиный божок. Я тебе ничего не должен.

— Но тебе придется сделать то, что нужно мне. Потому что тебе, курьер, это нужно не меньше.

Ниху торгуется, подумал я. Ниху торгуется, а значит я действительно ему нужен. По крайней мере пока. Я убрал руку с «макара», снял с губы окурок и выбросил за стену.

— Что ты хочешь от меня?

— Тварь. — Ниху стремительно опустился на четвереньки и подбежал ко мне. — Ты встретишься с Тварью, курьер. Ты все равно с ней встретишься, это предопределено. Я тебя... — тут он с трудом смог выговорить, — попрошу кое-что передать Твари. От меня...

Я пожал плечами. Встреча с Тварью перестала меня интересовать и беспокоить, но тот факт, что она все-таки состоится, оспаривать не имело смысла, я и сам это чувствовал. С нее началась эта история, на ней и должна закончиться. Гармония змея Уроборос, кусающего свой собственный хвост. Все должно вернуться на круги своя. Так или иначе. Вопрос только во времени и в месте. Но я так же четко осознавал, что теперь, отбросив большую часть себя, я шел на встречу с Тварью иным человеком, с иными целями и иным мировосприятием. Это

могло быть важно. А могло не значить ничего.

— Говори, — велел я Нику, поднимаясь с камня.

Ник поморщился, но решил пропустить мой тон мимо ушей. Видимо, я действительно был ему очень нужен.

— Скажи... Попроси Тварь... не заканчивать. Не ставить точку. Попроси, она поймет. Скажи ей, что это вовсе не обязательно, что это просто глупо — ставить точку. Нет, не говори, что глупо, — тут же поправился Ник, — скажи... скажи, что это... просто скажи, что это не обязательно, Тварь поймет.

— Но я ничего не понял. — «Макар» лег в кобуру с «вкусным» шорохом. — Ты сказал, что это нужно мне. Я пока этого не вижу.

— Увидишь, — снова часто-часто закивал Ник, — как только встретишься с Тварью. Ты многое тогда увидишь, больше, чем положено простому человеку. Больше, чем можешь себе представить. Больше, чем могу себе представить даже я.

Я поднял голову и снова посмотрел на небо. Оно было все так же сумрачно, по-прежнему занавешено густыми дымными облаками и по-прежнему красиво...

— Нику, если ты меня обманул, если пытаешься использовать меня в своих целях, я вернусь. Если окажется, что мне это не нужно, я вернусь. Я все равно вернусь, но на этот раз — конкретно к тебе. И в «макаре» будет серебро, поверь мне.

— Я не обманывал тебя, — сказал Ник, — но ты зря угрожаешь богу, курьер.

— А я человек, Ник. И ничто человеческое мне не чуждо...

Позже выяснится, что из осажденного города за свинцовую стену МКАДа смогла прорваться только одна группа. Она состояла из бойцов всех четырех изначально участвовавших в конфликте лагерей. Костяк группы и основную ударную силу составили остатки тигровых манипул генерала Фальстата. К ним примкнули наиболее дисциплинированные части наемников Пинаса, состоящие, по большому счету, из бывших профессиональных военных. Последние были по численности примерно равны тигровым гвардейцам, поскольку понесли значительные потери за последние несколько суток. Значительно меньшую по численности часть группы составляли примкнувшие бойцы, вошедшие в город за последние сутки. Их потери можно было смело именовать катастрофическими. План зачистки города мелкими диверсионными группами оказался роковой ошибкой, поскольку за Пинасом в то время еще стояли реально боевые подразделения, а не только уголовный сброд и мелкие наемники, как считало командование атакующих сил. Ну и, наконец, последними в группу неожиданно вошли некогда принадлежавшие ДеНойзу байк-части. Действительно боевыми единицами их назвать было нельзя, но понимая, что в данном случае они бьются за собственную шкуру, денойзиты дрались яростно и не отступали. Сколотил, подчинил себе и вел группу тигровый капитан Томас Ланкер, известный под прозвищем Тамерлан. В 1995 году его танк первым вошел на окраины Грозного, и именно его манипула позже в течение двух недель ожесточенных боев удерживала центр столицы непризнанной суверенной Республики Ичкерия, понеся минимальные потери.

В этот раз минимальными потерями обойтись не светило, это Тамерлан понимал. Однако буквально усеивая путь своими и чужими солдатами, он умудрился вывести оставшуюся часть группы за МКАД. Во время отхода от города (байк-части оторвались и исчезли в окружающих лесах, там же, где несколькими днями раньше растворился сам ДеНойз), группа Тамерлана напала на лагерь Хорезм и сожгла его. Таким образом, история вновь прошла по кругу, лишь слегка изменив масштабы. Но для нее, как и для богов, размер значения не имеет. Факт остается фактом — новый Тамерлан сжег новый Хорезм, остальное — мелкие подробности и лирические отступления. Единственным, кто уцелел во время резни и огненных плясок Хорезма, был водитель военного кунга, простой парень Серега Дымарев... Он, кстати, прожил долгую и счастливую жизнь, помимо всего прочего, пристрастившись к коллекционированию холодного оружия.

В общей сложности Тамерлану удалось вывести из осажденного города руин около тысячи человек плюс почти столько же он потерял во время прорыва. Позже все выжившие, за исключением Тамерлана, будут расстреляны как военные преступники, сам же капитан Ланкер успеет застрелиться. В газетных некрологах будет часто упоминаться речка Волховец и Вторая Ударная армия генерала Власова.

По сути, этот момент можно считать окончанием осады города и битвы за Москву в целом. Войска, окружавшие до того город по периметру МКАДа, вошли в разрушенную Москву, и на сей раз зачистка прошла быстро и почти без потерь со стороны регулярных сил. Благо в городе к тому времени оставалось чуть более пятисот человек от всех лагерей, все разрозненные и потерявшие представление о происходящем. Зачистили всех. Как водится, ведь история любит ходить по кругу. Куда исчезли брэндмауэры, никто попрежнему не знает.

И вот я снова шел по улицам покинутого людьми и снова обретенного ими города. В кровавой агонии, в безумной страсти разрушения, в чередовании страха перед себе подобными и ненависти к себе подобным люди вернулись к началу начал. Прошли очередной круг. Но там, в начале, были только камни, обугленные остовы столбов и дым, затмевающий солнце. Огромные грабли, на которые человечество наступает то изнеженной левой, то мозолистой правой ногой, снова хлопнули от всей души по оловянному лбу глупости и неумения анализировать собственные ошибки. Добились ли люди чего-то значительного, разрушив этот не самый скверный город? Обогатились ли важным опытом? Не знаю, на первый вопрос ответа у меня нет. Возможно, и в разрушении есть некий высший смысл, но я с трудом разбираюсь со смыслами на уровне своего роста, что уж говорить о высшем. А вот опыт... К чему он людям, если, накапливая, мы складировем его пыльными томами на перифериях архивов и забываем?

И вот я снова шел по мертвому городу, которому, естественно, предстояло снова вознестись над холмами в прежней, а может и иной стати, и думал: «Зря. Зря все это, зря все это так. Глупое ты животное, человек, глупое и мелкое. Тебе кажется, что, разрушая, ты утверждаешься, но ты лишь самоутверждаешься в собственных глазах, подобно ребенку, который стянул у отца сигарету и забрасывает первое семя рака в свое тело. А сколько у тебя было этих посевов, человек? Способен ли ты сам себе ответить на главный вопрос бытия, человек? Зачем?»

Кремль рос передо мной за горбом щербатого, покореженного, но все еще висящего над рекой моста. Теперь его не скрывали высокие многоэтажки, не прятали рекламные щиты и тела рекламных дирижаблей. Только разруха и беда окружали древнюю неколебимую крепость, такую смешную в наш век баллистических ракет, такую ненастоящую, но вот же — живую и, кажется, почти вечную. Правда, и в ней появилось что-то ущербное, но отсюда, издали, я не мог разобрать, что именно. А расстояния вели себя странно и непредсказуемо. Лишенное привычных городских ориентиров зрение то и дело ошибалось, обманывало, и Кремль рос, но в то же время как будто и не приближался.

Человек сидел на поваленном фонарном столбе и смотрел в мою сторону. На нем был старый темно-серый костюм в рыбью косточку, сильно испачканный и помятый, но все-таки именно из-за костюма он смотрелся как нельзя некстати среди руин и щебня. Он был стар и измучен. И я не ожидал встретить в этом месте кого-то вроде него. А когда увидел, вдруг четко осознал, что это отнюдь не случайная встреча, что время случайных встреч для меня прошло. По крайней мере пока. Ненадолго.

Старик смотрел в мою сторону и неуверенно улыбался. Он поглядывал на мое непомерно разросшееся плечо и отводил глаза. Согласен, нотрдамский горбун посреди разрушенной Москвы тоже выглядел бы абсурдно. Однако страха в его глазах не было, и это меня удивило. Любая встреча в этом месте и в это время таила потенциальную опасность, и нужно было выжить из ума, чтоб не осознавать этого.

— Здравствуйте. — Я постарался тепло улыбнуться, чтобы не напугать бедного

старика, на долю которого, по всей видимости, и без того пришлось немало передраг. Он ответил все с той же неуверенной улыбкой:

— Здравствуйте...

Все-таки, видимо, вечерело. В воздухе помимо привычной уже серости появились оттенки синего, к тому же начал задуть свежий ветер.

— Как вы думаете, — глядя в сторону Кремля, спросил старик, — в городе кроме нас кто-нибудь выжил?

— Я видел людей, но не знаю точно, как давно это было. Время ведет себя странно. К тому же...

Я замолчал, не зная, стоит ли рассказывать потрепанному и утомленному старику о том, как я обошелся с зелеными фигурками и черными силуэтами. Но он был совсем не глуп, этот так старик.

— Вы их... хм... убили, я думаю?

— Да... мне пришлось.

— А меня вы тоже убьете?

— Почему вы так решили?

— Не знаю. Мне кажется, здесь все только и думают, как бы поскорее перебить друг друга, чтобы вся эта история поскорее закончилась. А ведь история никогда не заканчивается.

— Откуда вы знаете?

— Я историк. Профессиональный историк. Был архивариусом в Главном архиве Москвы... хм... в Останкинской телебашне.

— В телебашне? Странно, я никогда не слышал об архиве города. Может быть, это была засекреченная информация?

— Да нет, в общем. Я думаю, дело в другом... — Старик достал из внутреннего кармана пиджака пачку «Winston» и предложил мне. Мы закурили. — Знаете... хм... Я ведь очень хорошо знаю Москву, это, так сказать, моя профессиональная обязанность. Должностная, если хотите. Но... Я не узнаю этого города. И дело, знаете ли, не только в том, что он разрушен. Москву рушили и сжигали, и от этого она не переставала быть Москвой. Но... хм... этот город и Москва, и не Москва. Не совсем та Москва, которую я знаю. И я этого не могу понять.

— Вы просто очень устали. Простите, как вас зовут?

— Харомский Петр Петрович.

— Роман, — назвал я свое давно забытое имя, и старик ответил с неуверенной улыбкой:

— Очень приятно.

— Так вот, Петр Петрович. Вы просто очень устали. Но потерпите, очень скоро вся эта история действительно закончится. Может быть, начнется новая, я не знаю, но надеюсь, у нас у всех будет возможность отдохнуть. И у вас тоже.

— Это было бы... хм... славно. А скажите, те люди, которых вы видели и... хм... убили... Наверное, в противном случае они убили бы вас?

— Не знаю, не думаю. Просто в тот момент я знал, зачем это делаю. Был какой-то смысл. А теперь я его забыл. Знаете, Петр Петрович, за эти сутки произошло много странных вещей, и со мной в том числе. Я как будто бы научился жить по-новому... Но я вроде бы и потерял что-то важное. И у меня все время такое ощущение, что я нынешний все дальше отхожу от себя настоящего.

— Да, я, кажется, понимаю, о чем вы. — Архивариус кивнул и аккуратно затушил окурок об камень. Рука у старика была морщинистая, в пигментных пятнах. — Мы все что-то потеряли и что-то приобрели. Кто-то больше, кто-то меньше... Вы знаете, меня спас один солдат, из тигровых. Сначала он очень плохо со мной обращался, заставил в какой-то момент почувствовать... хм... унижительное бессилие. А потом вывел меня коллекторами... очень-очень глубоко под землей. Я ведь даже не знал, что такие существуют. Хотя... хм... должен

был, теоретически. Там, в коллекторах, нам повстречался октопус. Знаете, это морское животное, и в пресной воде оно обитать не может. Но я не ошибаюсь, и не примите мои слова за бред. Там действительно был октопус. Я думаю, он за пищей выполз в коллекторы, ведь, наверное, многие пытались выйти из Москвы этим путем. Но я думаю... хм... Я думаю, что никто так и не вышел. И этот солдат, знаете, он остался и дал мне время уйти... Я вышел тут... хм... И теперь просто не знаю, что делать и куда идти. Этот город... А вот относительно того, что вы теряете самого себя, Роман, это ведь очень... хм... очень нехорошо. Человеку необходима возможность быть самим собой, необходима как воздух. Ведь только в этом случае он способен принимать решения, только в этом случае он осознает, что, приняв решение, должен будет за него ответить, не важно... хм... оказалось оно верным или нет...

— Я понимаю вас, Петр Петрович. — сказал я вставая, — но я кое-что потерял. Кое-что выбросил. Мне казалось, что то, что я выбрасываю, — символы меня самого, моих неудач, того, что случилось, и того, о чем мне не хотелось вспоминать. Мне казалось, что таким образом я обновлюсь. Ладно, мне пора...

— Вы уходите? А что же делать мне?

— Я бы на вашем месте никуда не ходил. Просто посидите здесь, дождитесь, когда стихнут выстрелы, а потом... потом действуйте по обстановке.

— А вы?

— А мне надо туда, — я махнул рукой в сторону Кремля, — я же курьер, и мне... мне кое-что надо туда доставить.

— Вы курьер?! Тогда, наверное, тот человек был прав. — Архивариус медленно поднялся и протянул мне желтый пластиковый конверт, которого я не заметил раньше. — Вот, это вам, наверное.

Я взял конверт и не стал медлить — вскрыл сразу. Случайности для меня на ближайшее время закончились, а от закономерностей все равно не спрятаться. В конверте лежали мои документы, очки, старая бейсболка и плеер, — все, что я выбросил из машины тогда, той сумасшедшей ночью... Собственно, это вроде бы было несколько часов назад, но я знал — время обманчиво в эти сутки. И несколько часов вполне могли быть (и были по ощущениям) несколькими вечностями...

— Откуда это у вас, Петр Петрович?

— Мне передал... другой курьер... Он, хм... Он погиб... тоже. Я подумал, что это ваше, вы ведь курьер. Хотя курьеров много...

— Но это действительно мое, — кивнул я, — спасибо, что сохранили. Это очень важно, Петр Петрович.

— Важно?

— Да... Круги, знаете ли, замыкаются. Как бы мы к этому ни относились... Ну, мне пора. — Я встал и протянул архивариусу руку. Его рукопожатие было слабым. — Берегите себя, Петр Петрович. И постарайтесь выжить.

Нужно было развернуться и уйти не оглядываясь. Я бросал старика, который вернул мне часть меня самого, на почти верную смерть, но сейчас происходило то, что происходило, и от меня практически ничего не зависело. Это не оправдание, конечно, но я развернулся и ушел. Не оглядываясь. Уже около моста я прицепил к ремню плеер и обнаружил, что один наушник оторвался. Наверное, когда я выбрасывал плеер из кабины кунга Братьев Драконов. Я нажал на «play» и сначала услышал звук, похожий на тот, который издает переворачиваемая книжная страница, а потом наивные звуки Криденс дичайшим диссонансом с происходящим закружились в моей голове простецким блюзом.

Я так пока и не понял, за счет чего мост удерживался и не рушился в реку. Казалось, фантастический гигантский младенец, этакий Гаргантюа, перепутал его с пряником и неумело пообкусывал краями — где-то больше, где-то меньше. Мраморных и чугунных перил больше не было, и эркеров, памятных по фильму «Место встречи изменить нельзя» не

было тоже. Само тело окаменевшей радуги, которое всегда напоминало мне черепаший панцирь, было испещрено многочисленными воронками, выбоинами, трещинами асфальта. От того Москворецкого моста, вид на который писал в свое время Куинджи, теперь не осталось ничего. Жалкий каменный скелет, неведомой силой удерживаемый на весу (может той, благодаря которой еще держался не менее потрепанный — теперь я это отчетливо видел — Кремль), — в нем не осталось ни драконьей стати, ни тяжеловесности, напротив, появилась некая загадочная грация и легковесность, характерные для всего, находящегося на пороге умирания.

(Впрочем, несколькими годами ранее, под Багдадом, массивной артатакой были скрыты тысячелетние развалины Вавилона, что уж говорить о каком-то Москворецком мосте, который ни в одном Священном Писании так и не был упомянут.)

В центральной своей части, на пике изгиба, мост был поврежден особенно сильно, бока обвалились и висели лишь за счет упрямых арматурных жил. То, что осталось, напоминало переброшенную над пропастью доску, и я невольно вспомнил коротасаровскую «Игру в классики» и передачу пакета мате над пропастью улицы. Прямо перед доской спиной ко мне и свесив ноги в разлом, восседал Монгол. Ветер трепал его дреды и относил в сторону сладковатый дым. Монгол курил травку.

Я осторожно подошел к провалу и сел рядом. Монгол был мертвым последние несколько лет и мог позволить себе безбоязненно сидеть над любыми высотами. Я же намеревался прожить еще как минимум несколько часов.

— Будешь? — Монгол протянул мне косяк, но я только покачал головой:

— Не хочу. Давай сразу к делу. Меня ждал?

— Опять торопишься, а, нига? — Монгол улыбнулся и щелчком отбросил выкуренный едва ли до половины косяк. — Торопиться, Рома, нужно при ловле блох и при аморальном поведении с чужими женами, так еще Джа Растафари говорил, а про Джа Растафари пели Боб Марли и Майк Науменко, так что ему верить можно... Тебя, конечно, жду, тут еще долго никто ходить не сможет. Почти никто. Мост вот-вот обвалится, но ты перейдешь, мне тоже верить можно.

— Ты здесь, чтобы про мост и Джа Растафари мне рассказывать?

— Угадал. Про Джа Растафари уже рассказал, теперь буду рассказывать про мост. Вернее про мосты...

— Монгол...

— Ты слушай, нига Рома, это важно. И не торопись. Сейчас время играет на нашей стороне, бро.

На Москву пикирующим бомбардировщиком рушился первый вечер новой эпохи. Вчера был ее последний вечер и последняя ночь. Сегодня история города начиналась сначала, и неведомые коленвалы раскручивали причинно-следственные связи, так интересующие крысиных божков. Что-то сеялось, чтобы века спустя быть пожатым. В ту минуту, когда Монгол начал рассказывать мне о мостах, зачистка старого была закончена и части регулярных войск скорым маршем двигались в сторону центра столицы, к ее сердцу — нерушиму Кремлю. И они еще успевали увидеть его таким, каким видели мы с Монголом: неверно стоящим на ногах израненным старцем, дни и даже минуты которого давным-давно были сочтены, и только то ли склероз, то ли упрямая гордыня все еще заставляли его выситься над этим миром, хотя, по сути, его время прошло вместе со вчерашним вечером и вчерашней ночью. Кремль рухнет в тот момент, когда войска подойдут к набережной, и это будет последнее шоу великого города. А шоу, как и история, не имеет логического окончания, шоу должно продолжаться. Город отстроят, и он вновь возвысится, вновь будет править. Но это будет уже другая Москва, с другой историей, с другими людьми, в другом времени и в другом месте. А моя Москва, этот странный город полубогов и полулюдей,

умирала. Умирала от ран, умирала от старости. Умирала, потому что ее время кончилось и пришло время новой сказки. А то, что сказки иногда бывают жуткими, ничего не меняет. Спросите у Гофмана, спросите у братьев Гримм, спросите, в конце концов, у Шварца. Если, конечно, встретите их. А если нет — просто поверьте мне на слово.

— Ты, конечно, помнишь былинку про Калинов мост, — говорил Монгол. — Он был не толще волоска, этот мост. И по нему, по этому мосту, рано или поздно приходилось пройти всем героям. Так положено, у сказок, нига, свои законы. Если верить многоуважаемому знатоку сказок, Проппу, то этот мотив идет от представления, что мир мертвых отделен от мира живых тонким, иногда волосяным мостом, через который умершие переходят в иной мир. У индейцев инка мертвые уходят в страну немых. Они тоже должны перейти по волосяному мосту, и при этом им помогает собака. В Северной Америке тоже есть представление о мосте, он покоится на рогах гигантского буйвола. Когда кто-то вступает на этот мост, буйвол опускает голову. У эскимосов есть сказания о тонком как лезвие мосте, который ведет через пропасть в страну мертвых. Даже в парсизме (понятия не имею, что это такое) говорится, что на четвертый день после смерти душа при восходе солнца доходит до места суда у моста Тшинват. Очень часто героям помогают перейти через мост помощники, а злодеи помощников не находят и погибают...

— Значит там, — я кивнул на Кремль, — смерть?

— Зачем так патетично, нига? — Монгол снова улыбнулся. — Не надо все так уж прямо воспринимать. Просто у каждого времени и каждого места — свои законы, свои точки отсчета и финишные ленты. Тебе придется эту ленту сорвать. — Сказав это, Монгол встал и отошел от провала. Я торопливо последовал за ним.

— Тогда зачем ты мне все это рассказывал?

— Тянул время. Ждал его. — Монгол смотрел в ту сторону, откуда только что пришел я. — Видишь ли, нига, я много раз пытался избежать этого момента, но не получается. Там, где есть мы, всегда есть и он. Понятия не имею, как он находит дорогу к этому месту. По всем законам оттуда, откуда идет этот парень, сюда прийти невозможно. А он приходит, нига, он всегда приходит. И всегда с последним патроном.

Я никогда до этого момента не встречал поднимавшегося по мосту человека, его лицо мне ничего не говорило. Но до его появления все происходящее вписывалось в более или менее понятную схему, однако этот странный тип выпадал из стройной системы, которая так или иначе приближала мою встречу с Тварью.

Сам я уже не рвался выяснять канувшее в прошлое — слишком многое произошло и слишком многое изменилось во мне. Мир, мой мир, разрушен и сожжен, даже солнце его с трудом пробивается к земле, укрытое на этот раз дымом и копотью. А проблемы сожженного мира — смешны и нелепы. Но Монгол был прав, у сказок — свои законы, и коли уж закрутило меня в этот водоворот, выход из него только вниз или только вверх. Случается, что это одно и то же.

Идущий к нам человек в армейском бушлате с подпалинами, с грязным от копоти и пыли лицом, с уверенно сидящим в руках автоматом (деревянный приклад покрыт грубоватой резьбой) никак не вписывался в сложившуюся схему. Но это ничего не меняло.

— Знакомься, — криво улыбнувшись, сказал Монгол, — человек этот наделал некогда немало шуму. Так же, как и ты. Но между вами нет ничего общего, нига. А вот между нами, между мной и им, нечто общее есть. Только смотрим мы на эту общность с разных точек зрения. Имени его я не знаю. А люди называют его Душегубом. Не беспричинно, поверь мне, Рома. А теперь, — Монгол хлопнул меня по плечу и кивнул на узкий пролет моста, — теперь уходи. Или он тебя убьет.

— Эй, ты торопишься? — издали крикнул Душегуб.

— Тороплюсь! — крикнул я в ответ и встал на узкий перешеек. Монголу я поверил безоговорочно. Там, внизу, пенилась растревоженная река, а между мной и ею качались на арматурной сетке куски камня и чугуна.

— Так торопишься, что даже нет времени перекинуться парой слов с приятелем? — снова крикнул Душегуб. Он приближался быстрее, чем я мог себе позволить шагнуть над пропастью. Я не ответил, полностью сосредоточившись на каждом следующем шаге. За меня ответил Монгол:

— Душегуб, ганман хренов, вот уж не знал, что ты такой общительный. Может, со мной поговоришь? Я знаю много историй про мосты и Джа Растафари...

— Монгол?...

— Вижу, ты узнал меня, нига. Одно сердце, брат, одна любовь...

— Я думал, если уж я кого-то убиваю, то это надолго.

— Все верно, Душегуб, ты очень хорошо меня тогда убил. Ты даже скормил меня крысам Ниху. Но бывают обстоятельства, нига, бывают обстоятельства...

— Так ты мертвый? Зомби?

— Был им до сегодняшнего дня. Но Ниху понравилось, как я служил ему, и он подарил мне жизнь. Правда, ненадолго...

Я как раз делал последний шаг, переступал с узкой части на широкую, когда услышал выстрел. Монгол упал не сразу, сначала его кинуло на паутину арматуры, и там, цепляясь вслепую за куски мостового камня, Монгол поднял голову и прохрипел:

— Вот видишь, Рома, всему свое время... Я помог тебе перейти, а Душегуб перейти не сможет. Потому что злодеи не находят помощников и срываются с моста... Он хороший злодей, но все-таки он злодей...

Монгол умер еще до того, как долетел до поверхности реки. Я знал это, хоть и не видел этого, точно так же как знал, что лишний элемент не способен ничего изменить. Поэтому я спокойно смотрел на Душегуба. Тот стоял у узкого перешейка и удивленно разглядывал автомат.

— Надо же, — поднимая глаза, сказал Душегуб, — последний патрон... Обидно, он должен был достаться тебе, кривобокий. Это, конечно, ничего не меняет, так что не торопись уходить, курьер...

— Я не тороплюсь, — ответил я, складывая руки на груди и ладонью правой нащупывая под мышкой рукоять «макара», — просто мне любопытно, с чего ты на меня так злишься.

— А ты тут ни при чем, — улыбнулся Душегуб, делая первый шаг над пропастью. И от этой улыбки по моей коже побежали мурашки. — Просто не нужно мешать Твари сдохнуть самостоятельно, не надо ее убивать. Я плевать на нее хотел, но никто, кроме нее, не сможет закончить всю эту затянувшуюся херню. А все должно иметь логический конец. Поэтому я убью тебя, и все придет к тому, к чему и шло изначально.

— А ты никогда не слышал, что у истории не может быть логического конца?

— Слышал, но это ничего не меняет.

— А к чему все шло изначально?

— К пустоте, курьер, к пустоте. Ты когда-нибудь слышал в наушниках, как кто-то переворачивает страницу? Это очень страшный звук, курьер, но раньше я не мог понять его значения, а теперь понимаю. Он значит, что еще не все закончено, что все страшное еще впереди. Что страницы будут переворачиваться и переворачиваться. Что может быть еще хуже...

— Ты сошел с ума, парень.

— Я таким родился, — Душегуб уже дошел до середины пролета, и я начал вытягивать «макар» из кобуры, — и я соответствую этому миру как никто другой. Но ему, я имею в виду мир, пора уже поставить точку, он свое откоптил. Все, что у него осталось, — это ты, я и Тварь. Тварь закончит начатое, а я сделаю так, что бы ей никто не мешал.

— Не думаю, что могу тебе это позволить, — вздохнул я и рывком вытянул «макар» на волю. Но выстрелить не успел.

Монгол был славным малым. Станный, безбашенный, даже мертвый, он был живее многих живых. А других друзей у меня и не было. Он появился в моей жизни на

космическую секунду и исчез, как водится, навсегда. Но в самый последний миг этой секунды он подвесил на паутину арматуры стальной шарик банальной армейской гранаты Ф1. А узкому перешейку, этому мосту между смертью и жизнью, большего не требовалось. Не думаю, что Душегуб умер сразу. Надеюсь, что нет...

Работал одно время у нас в Конторе человек по прозвищу Шляхтич. Может, и правда поляк, не знаю, у нас кто только не работал, все цвета бенетона, от горького шоколада до мандаринов. Шляхтич был отличный курьер и мог со временем пробиться в элиту. К тому же прирожденный бродяга. Мы все были бродягами — в силу профессиональной необходимости и укоренившейся привычки. Но Шляхтич был бродягой по призванию — в дороге он был счастлив, а статики не переносил, как фотопленка засветки. Я даже не уверен, было ли у Шляхтича постоянное жилье: в перерывах между трипами мы пересекались исключительно в казармах Конторы: он либо читал, либо валялся с огромными наушниками на голове и явно маялся. Говорил Шляхтич мало и редко, не припомню, чтоб перекинулся с ним больше, чем парой слов кряду. Друзей у него не было, но это в среде курьеров — в порядке вещей. Большую часть жизни мы проводили в дороге, в одиночестве или со случайными, минутными спутниками. Некоторые, правда, работали парами, но это было редкое исключение, распространенное в основном среди гей-пар, и курьеры в массе своей их сторонились. Шляхтич исключением не был и работал в одиночку, часто брался за рискованные маршруты и не провалил ни одного трипа. Собственно, это все, что я знал о Шляхтиче в то время.

А потом он вдруг исчез.

Задавать вопросы у нас, по понятным причинам, было не принято. К тому же случались долговременные трипы, я уж не говорю о периодически возникавшей необходимости залечь на матрасы — курьерская служба перманентно ходила по грани закона. Ну и риск, которому подвергали себя курьеры, берясь за опасные доставки, тоже не стоило оставлять без внимания. Не так уж много курьеров доживало до старости.

И только несколько лет спустя выяснилось, что Шляхтич уволился из Конторы. Уволился сам, что зело меня удивило. Такое случалось, и не редко, но почти всегда в первые месяцы работы, когда человек осознает, что жизнь курьера ему не по плечу. Вечная дорога, вечный непокой, никакой стабильности, о семье можно и не заикаться. Подобное положение дел многих ломало. Но никто и никогда не подумал бы, что минусы нашей службы могут сломать Шляхтича. В конце концов, повторяю, если кто и был прирожденным курьером, так это он. К тому же, как уже было сказано, — одним из лучших. Такие, как Шляхтич, не увольнялись без особых причин.

Впрочем, не стану утверждать, что долго ломал над этим голову: чужая душа потемки, а проблем мне с избытком хватало своих. Очень скоро я просто забыл про Шляхтича.

И вот однажды во время очередного трипа (в восточную часть России, в маленькое поселение под Владивостоком) мы неожиданно встретились.

Я зябко топтался, кутаясь в бушлат, и курил рядом с радикально заглохшим антикварным «уазиком», который мне выделили в местном леспромхозе вкупе с чадающим утренним перегаром водилой. Преодолев примерно полпути до места назначения, «уазик» заглох намертво, и реанимировать искру в его пожелтевших от сырости и общего человеческого равнодушия свечах не могли ни технические потуги похмельного водилы, ни его же трехэтажный мат, ни мои пинки коченеющими ногами по грязным колесам. Стояли мы уже около часа. Некоторое время я развлекал себя поиском местных радиоканалов на знавшей лучшие времена магнитоле, но мало-помалу кабину выстудило, и я выбрался потоптать ногами хлипкую снежную кашу конца октября. Было промозгло, и от холодного мокрого воздуха то и дело кидало в судорожный озноб. Изредка с сопок налетал пронзительный ветер, от которого не спасали ни унты, ни ватные штаны, ни тем более поднятый воротник.

И вдруг в этом богом оставленном медвежьем углу у меня начались галлюцинации.

Выглядели они как изрядно потрепанный «Кадиллак» пошловатого розового цвета, летящий над разъезженной грязной дорогой под вопли обглоданного червями звездного трупа Элвиса Пресли. На крыше «Кадиллака» была установлена фантасмагорическая рама с противотуманками четырех разных цветов, которые вспыхивали и гасли в совершенно неопределенной последовательности. Басы на магнитоле, похоже, вывернули на полную катушку, так что «Кадиллак» зримо вибрировал. Как можно выжить в салоне этого автомобиля, я не представлял. Как мог оказаться «Кадиллак» мамы Элвиса Пресли на грязной ухабистой дороге, зажатой между сопками безымянных гор у черта на рогах, не представлял тем более. Но когда автораритет притормозил рядом с «уазиком» (отчего сюрреализм ситуации стал только очевиднее), а из «Кадиллака» вылез Шляхтич с отросшими по плечи волосами, в обшитой бахромой джинсовой куртке, в круглых ленноновских очках и предложил подвезти — в эту конкретную минуту я серьезно задумался о влиянии восточноазиатского климата на мое психическое самочувствие...

Однако топтаться на мерзком осеннем холоде было еще хуже, и я торопливо перекинул рюкзак из «уазика» на заднее сиденье «Кадиллака», решив, как часто делал, подумать о происходящем завтра. Шляхтич сжалился над моей головой и первым делом вырубил музыку. Жизнь стала приобретать более или менее приемлемые формы.

Дорога предстояла дальняя, а Шляхтич оказался неожиданно разговорчив. Последнему, думается мне, немало способствовал сладковатый душок ганджи, который я уловил, забравшись на пассажирское сиденье рядом с водителем. Сам я во время трипов по неписаному закону курьерской службы не употреблял ничего, кроме (крайне редко и исключительно в оздоровительных целях) спирта, официально предписанного и входящего в содержание пакетов «НЗ».

Покрытые медвежьими сопками склоны гор, сливаясь в одну сплошную буро-зеленую стену, неслись по бортам розового «Кадиллака». Машину Шляхтич не щадил, кидал в рытвины и на ухабы, скорости не снижал даже на самых неровных участках и лишь слегка притормаживал на поворотах. В результате раритетная машина то и дело взмывала над трамплинами колдобин, дребезжала всеми суставами и определенно мечтала вернуться в гараж мамы Элвиса Пресли. Что касается меня, то я в полной мере оценил преимущества и необходимость ремня безопасности.

Салон «Кадиллака» был отделан все в той же придурковатой манере с душком легкого гламура и хипповатого кича. С зеркала свисали десятка два брелоков с изображением Мао Цзэдуна в различных ракурсах и загадочными иероглифическими надписями («Мат в основном», — пояснил Шляхтич). На солнцезащитных щитках висели косо приклеенные лентами прозрачного скотча черно-белые порнографические рисунки, упор в которых делался на неопределенного возраста азиаток в стиле хентай (или как это называется, когда Сейлор Мун призывает силу Луны, попутно избавляясь от одежды и грозно потрясая совершенно не детским выменем). И наконец по потолку «Кадиллака» был растянут матерчатый постер с изображением Адольфа Гитлера, рекомендующего употреблять исключительно «Дитер-колу». Гитлеру черным маркером были пририсованы обезьяньи уши, а в ногах шла кривобокая, скачущая надпись: «BE CULT OR BE DEAD».

— Шляхтич, а какого хрена ты уволился? — спросил я, когда мы перечислили всех знакомых курьеров, руководство и девчонок из бухгалтерии.

— Вообще-то это долгая история, — пожал плечами Шляхтич. — Но если кратко... Я же давно понял, что вся эта суeta курьерская — не по мне. Не в смысле трипов — это мне как раз нравилось, а в том смысле, что все определялось какой-то необходимостью, причем необходимостью посторонней, к которой я был в принципе вполне себе индифферентен. Но по сути, что я еще умею? Для меня дорога — это все. Дома сидеть не могу, стены давят, тоска дышать не дает. А на трассе за рулем я на своем месте. Только я же распиздяй и вообще слабак по части характера, а в Конторе было тепло, кормежка, деньги. Очень трудно от этого отказаться. На хорошее, как говорят мертвые самураи, быстро подсаживаешься. Только мне это все время не давало покоя, с самого начала в башке зудело. Понимаешь, я

любил дорогу и сейчас люблю, а любую необходимость терпеть не могу. Ну и, короче, в какой-то момент меня все достало, и я уволился. Оказалось, что к тому моменту денег на моем счету такое количество, что на жизнь с лихвой хватит. Я же почти не тратил, жил в казарме и в трипах, одевался на складе, только на книги и диски уходило что-то там, но это копейки...

— А теперь, выходит, ты счастлив?

— Теперь я живу и в принципе живу так, как считаю правильным. По-настоящему. Про счастье ничего не скажу, не уверен, что знаю в нем толк. Но я в дороге многое понял. Самое главное — люди живут неверно, просто в корне неверно. Вечно ноют, что мир говно и жизнь говно, и при всем этом, заметь, пипец как боятся умирать...

— А ты не боишься?

— Боюсь, конечно. Я хоть и полубог, но все равно человек. Речь вообще про другое... В этом своем страхе они стараются что-то оставить после себя, этаким суррогат жизни после смерти. Как будто картина или книга — это продолжение жизни. Хрен знает, может и так, не спорю, но на мой взгляд проблема в том, что люди просто не умеют жить. Вернее, они не прикладывают достаточно усилий, чтоб этот мир и эта жизнь престали быть говном. Я это очень четко понял, старик, потому, наверное, что моя нынешняя жизнь и мой нынешний мир — это не говно, это великолепно. И мне *по-настоящему* страшно умирать, я не хочу со всем этим расставаться. Вот и стараюсь сделать наоборот, не подменять жизнь постсуррогатами, а жить и пропитываться жизнью так, чтобы там, куда мы попадем после всеобщего холокоста, этой памяти хватило надолго. Понимаешь?

— Наверное, понимаю, — кивнул я, закуривая, — и даже отчасти соглашаюсь. Вот только как быть с тем, что ты, по большому счету, никому не нужен, и тут о тебе никто не вспомнит? Это же важно... И вдруг все то, что ты называешь постсуррогатом, — это маяки, по которым у тебя есть шанс вернуться?

— Ты сам-то в это веришь? — спросил Шляхтич, тоже выбивая из пачки сигарету.

Я пожал плечами:

— Не знаю, мне не приходилось об этом задумываться. Но мне эта мысль кажется приятной. Может, потому, что моя жизнь и мой мир — тоже не говно, и я, делая то, что делаю, чувствую себя на своем месте? Не уверен, что имеет смысл что-то менять в моих отношениях с жизнью.

— А тебе это не кажется бытовухой? Ну, типа разговоров о первостепенности разума и бытия? Не кажется, что ты живешь во имя бесполезных вещей? Для ТЕБЯ бесполезных?

— Да нет, в общем, не кажется...

Больше мы к этому разговору не возвращались. Говорили о другом: о жизни, о событиях и снова об общих знакомых. «Кадиллак», один в один как тот, что подарил своей маме Элвис Пресли, катил меж заросших тайгой, иссеченных шрамами рек и расщелин, заваленных многоцветным буреломом сопок. Разумеется, всего этого из салона машины было не видно, но я чувствовал, что несмотря на негостеприимный климат, там, наверху — хорошо. Мой мир имел свои приятные стороны, и хотя и негатива в нем хватало с избытком, менять что-либо я не хотел. Пусть цветет теми цветами, какие ему больше нравятся, как противотуманки на машине Шляхтича. Меня, конечно, устраивало то, что я пропитываюсь этим миром, и этой памяти хватит надолго. Но мне также хотелось оставить что-нибудь после себя, этаким маячок, по которому, хрен его знает, вдруг доведется вернуться... И может, что-то из моих необязательных дел окажется впоследствии вполне себе обязательным. И я, сыграв пару партий в сочинский преферанс с быкоголовым приятелем, выберусь из лабиринта обратно. Но даже если и нет... Даже если и нет, если мне нравится то, что я делаю, если мне нравится жить вот так — есть ли смысл что-то менять? Я не говорю о статике, о персональном болоте. Здесь Шляхтич прав. Болото убивает человека, превращает его в ленивую холоднокровную рептилию «не-хочу-учиться-хочу-жениться». Но если ты все еще в состоянии находить в топи броды, если тебя не оставляет надежда, что именно этими бродами ты рано или поздно выйдешь на твердую землю, то есть ли смысл менять одну топь

на другую топь? Мне по кайфу искать землю. Но тут уж каждому свое.

С тех пор Шляхтича я не встречал. Наверное, он и теперь колесит где-нибудь между параллелями и меридианами, слушает Пресли, курит ганджу и смотрит на мир с улыбкой. В чем-то я ему даже завидую. Но его дао — это его дао. И я, не встретив в жизни ни одного мертвого самурая, могу, разумеется, ошибаться. А могу и угадать, ведь жизнь — это такая смешная беспроектная лотерея, в которой шансы у полубогов, полулюдей и курьеров примерно одинаковые.

А вот Пресли я так и не полюбил. Говно, по-моему...

Будет день, и будут спички. Мир умрет, мы потратим четверть часа на поиски места под новым светилом и начнем жить дальше. Это нормально. Миры меняются, они рождаются и умирают, некоторые — в дикой агонии, в предсмертных судорогах, другие — тихо, во сне... А люди остаются прежними. Человечество, как выяснилось, куда долговечнее создаваемых им (и для него) миров. Тот же Шляхтич, уверен, и не заметит этой смены тел небесных, так и переедет, пересекая часовые пояса и государственные границы, из одного бытия в другое. Да и я, если доведется выжить, очень скоро про все забуду, а если и вспомню, то как о давным-давно прочитанном романе в мягкой обложке, содержание которого вспомнить так же трудно, как имя лифтера в доме моего детства. Можно, но трудно, да и незачем, если честно.

В том месте, где некогда изгиб моста плавно и практически незаметно переходил в асфальт дороги, теперь зияла сквозным провалом огромная трещина. Я замер, четко понимая, что, сделав еще один шаг над пропастью, вернуться уже не смогу. Так и стоял, пока в стороне кто-то не вздохнул громко с такой неподдельной печалью, что случись это в зале кинотеатра, уборщики после сеанса еще долго выгребали бы из проходов мокрые от слез и соплей носовые платки. Я поднял глаза и понял, за счет чего еще удерживался мост, не падая в грязную пучину Москвы-реки.

Когда-то он сидел на площади Маяковского, под часами ресторана «Пекин». Сидел, прикованный гигантской цепью к вделанным в землю монументальным кольцам. Вздыхал Зеленый тогда точно так же, как и положено, собственно, вздыхать драконам с подрезанными крыльями. В общем, это было только драконье тело, суть давным-давно умерла.

И вот кто-то перевел его сюда, вделал кольца в мост, и теперь Зеленый упирался всеми четырьмя лапами в асфальт, удерживая мост от падения. Сила тяжести тянула мост вниз, а мост в свою очередь тянул Зеленого. Я не знаю, сколько уже времени изуродованный людьми дракон упрямо удерживал гигантскую каменную тушу моста, но силы его явно были на исходе... Когда наши взгляды встретились, я прочитал в его огромных глазах единственную просьбу, просьбу уставшего живого существа, которому так и не дали толком пожить. Просьбу прервать, наконец, это нелепое, непонятное разуму вольной крылатой рептилии существование садового гнома. Я не стал медлить и лишь задержался на мгновение для того, чтоб мысленно прошептать: «Спасибо...»

Как только я перешагнул через провал между мостом и дорогой, Зеленый втянул вонзенные в асфальт когти, и рушащийся в реку мост унес его с собой.

«Ну вот и все, — подумал я и двинулся к кремлевским воротам, — ну... вот и все».

За спиной в последний раз вздохнул умирающий дракон моего мира. Вздохнул и затих. Навсегда.

ТАМ, ГДЕ ПАДАЮТ КАМНИ

Время, следуя своими вполне предсказуемыми путями, вжало раскаленное ядро солнца в щербатую линию горизонта. Гладь Москвы-реки успокоилась, и теперь трудно было поверить, что еще четверть часа назад ее берега соединял черепаший панцирь Москворецкого моста. Вода поглотила, успокоилась и упокоила. Я медленно развернулся и

двинулся к пизанской тени покосившейся Спасской башни. Стрелки на ее часах (как странно называть стрелками эти гигантские лопасти) застыли где-то в районе 6:00, словно намекая мне в очередной раз, что граница все-таки имела место быть и я ее перешагнул. Намек бессмысленный, поскольку я ни на секунду об этом не забывал. Просто усталость, накопившаяся за эту долгую историю, вновь пробудила во мне равнодушие. Впрочем, это было другое равнодушие, не то, что жило во мне с того момента, как я покинул Москву в самом начале неудачного блицкрига генерала Фальстата (все блицкриги на этот поистине вечный город так или иначе оказывались неудачными). Теперь это было равнодушие смертельно уставшего человека. Я осознавал, что потом (если оно будет, это потом) вернутся и горечь утраты, и попытка осознания. Но не теперь, не сейчас. Уставший организм из последних сил сопротивлялся, самоустраняясь от эмоций. И это было правильно, это было, черт побери, единственно правильным в этой совсем неправильной истории. Слишком много было нелогичного, ненужного, неоправданного за последние несколько месяцев. Так что эти минуты на закате одной истории мира и перед рассветом другой ничего не решали и не исправляли, но они были правильными. И они были чертовски нужны мне в тот момент. Передышка, секунда на вздох.

— Ты слишком рано задумался о передышке, — хриплым, потрескавшимся, как краска на жестяном подоконнике, голосом сказал кто-то в трех шагах за моей спиной.

В следующее мгновение на говорившего смотрели три глаза: два моих, покрасневших от усталости и бессонницы, и один стальной, калибра 9 миллиметров, глаз «макара».

Первое слово, которое приходит мне на ум, когда я пытаюсь описать Слепого Сторожа Пристани, — старец. Он был не просто старик, в его иссохшем как древний пергамент теле, казалось, запросто уживается память тысячелетий. И если бы Солнце было человеком, мне кажется, примерно так оно и выглядело бы теперь. Жалкие лохмотья какой-то военной (или морской) формы заменяли ему одежду, а длинные, ниже плеч, волосы были настолько седыми, что казались почти прозрачными. Что же касается взгляда лишенных зрачков глаз, то в этом плане сам повелитель крыс Ниху казался щенком перед Слепым Сторожем.

— Я знаю, кто ты такой, — сказал я, хотя понятия не имел, откуда это знание. Но думается мне, любой, кому хоть однажды приходилось слышать о потерявшем дополнительный шанс Слепом Стороже, узнает его, едва увидев. Уж поверьте мне на слово.

— Это хорошо, — медленно кивнул Сторож, — у нас слишком мало времени, чтобы тратить его на пустые представления. А теперь, юноша, убери свою пицаль. Не забывай, у меня осталась только одна жизнь, и эта жизнь тебе еще пригодится.

Я сделал, как велел старец: ствол пистолета мерзко проскрипел по панцирю вздвухнувшегося плеча и лег в кобуру. Солнце наполовину скрылось за горизонтом, раскалив небо и воду Москвы-реки до обжигающего зрачок багрянца.

— У нас мало времени, — повторил Слепой Сторож и медленно, словно боялся распасться на составные части (чему я бы ни на мгновение не удивился), развернулся. — Пойдем к башне, Курьер. Пока идем, можешь задавать вопросы. Только учти, вопрос о Твари должен быть задан последним.

— Почему?

— Потому что, может быть, когда мы придем к башне, задавать его ты передумаешь.

— Тогда мне, собственно, и не о чем больше спрашивать... Хотя... — тут я оглянулся на пылающую воду реки, — я правильно понимаю, что моя история закончилась?

— Заканчивается, — многозначительно поправил меня Сторож и ткнул в небо узловатым пальцем цвета крепкого чая, — заканчивается, юноша. В этом времени и в этом месте. Но ты, видно, так и не стал умнее за последние месяцы... История, неважно, большая история целого мира или маленькая история одного человека, никогда не кончается. Никогда. — Он остановился, повернул ко мне голову и повторил: — Никогда, юноша. А если это маленькая история, от которой зависит множество других — и маленьких, и больших? Как же она закончится, а? Другое дело, что всему свое время и всему свое место. И здесь твое время заканчивается. Осталось сделать один мелкий выбор, и в путь.

— Какой выбор, Сторож?

— Мы договорились, что вопрос о Твари будет последним.

— При чем тут Тварь? Разве ее время и место не заканчиваются вместе с моими?

Старик снова остановился, чтобы окинуть меня неодобрительным взглядом лишенных зрачков глаз, и укоризненно покачал головой.

— Ты слишком тороплив, — сказал Сторож, и я невольно вспомнил медлительных энтов из эпической саги английского профессора филологии. — Ты торопишься даже там, где торопиться уже не надо. — Старец отвернулся от меня и снова двинулся к башне. Он шел такими мелкими шажками, что в одном моем шаге умещалось три его, и от этого казалось, что идти мы будем вечно. — Впрочем, вы, молодые, — все такие. И Монгол был таким, и Душегубец. Даже Томаш, при всем своем безумии, был тороплив, выуживая эту историю из звука. А ведь безумие и мудрость так же близки друг другу, как зловоние и тонкий аромат. Не удивляйся этому сравнению, курьер, в былые дни я работал парфюмером, а позже провел много лет в зловонных катокomboх. Мне ли не знать в этом толк? Я тебе больше скажу: даже автор всей этой истории был крайне тороплив. Вернее, оба автора.

— А что, одну историю могут написать два разных человека? — спросил я.

— Ну конечно, — старец пожал хилыми плечами, — почему бы и нет? Вот только слишком у них все запутано получилось. Мелкий человечешко, обычный банковский клерк, скучал на работе. И от скуки взял да и написал книгу. А в этой книге упомянул о свихнувшемся музыканте, который овладел тайной звука настолько, что смог создать целый мир. Правда, для этого ему пришлось несколько раз умереть. Он даже убийц себе сам нанял. Там все сложно получалось, убить его должен был тот, кто потом умрет от руки убийцы. Но в целом, главного Томаш добился — его таки убили, иначе бы ничего и не получилось.

— Как это?

— Долго объяснять, — проворчал Слепой Сторож, — это случилось в других вариантах. Я и сам толком не разобрался, юноша. Запутано все сверх меры. Опять же от спешки.

— Между прочим, Бог создал Землю за семь дней.

— Так ты не сравнивай те дни и эти. Ты, когда время найдешь, поинтересуйся, к примеру, что такое Вавилонский год. А потом говори о днях Бога.

— Извини. Что было дальше, после того, как музыкант создал мир?

— Да создал и создал, что уж теперь. Если верить календарям, то случилось это не далее как год назад. Да. Но любое создание, юноша, — это камень, брошенный в воду. Упал-то камень, может, и год назад, но это ничего не значит. По воде побежали круги: в одну сторону — прошлое, в другую — настоящее. Создавая сегодняшний день, Томаш невольно создал и вчера, и множественное завтра. Таковы законы создания. Только Бог может создавать вечность с самого начала, ну, так на то он и Бог.

— А дальше?

— А дальше оказалось, что в мире, созданном Томашем Кофой, живет мелкий человечешко, банковский клерк, который от скуки взял да и написал книгу про то, как Томаш Кофа, свихнувшийся музыкант, создал мир, в котором живет мелкий человечешко, банковский клерк, который крайне скучал на своей мелкой клерковской должности в мелком банке, отчего однажды взял да и написал книгу. И так без конца. Один круг накладывается на другой и рождает новую волну. И каждая предыдущая волна отличается от предыдущей, и сколько теперь вариантов у истории, никто не знает. Я уж не говорю о том, что теперь уже никто не вспомнит, кто же из них был первым — клерк или музыкант. Яйцо или курица.

Мы все шли и шли, а башня, казалось, оставалась на том же расстоянии, что и прежде. Даже мелкими стариковскими шажками мы бы уже успели доковылять до нее и обратно. Но как и время несколькими часами раньше, расстояния теперь играли со мной в собственные игры.

— Никак не могу понять, при чем тут я? — признался я, нашаривая в кармане сигареты.

— Как это при чем? — удивился Слепой Сторож. — А при чем тут другой курьер, убитый тигровым капитаном? А Архивариус? А Душегубец и Монгол? У каждой истории есть свой главный герой. Ничего хорошего в этом нет, но это факт — герой должен быть. Монгол это понял. И Душегубец понял, только слишком поздно. А Монгол... Ну, ему просто не везло с дорогами, — старик равнодушно ткнул пальцем вниз, — и с героями. Не то что Архивариус, съеденный курьер и еще парочка-другая героев были менее главными. Просто и истории бывают разными, и у каждой есть варианты. Удалось поймать удачу за хвост и перебраться в волну, которая поближе к месту, куда упал камень, — считай, повезло. А не удалось — пробуй с самого начала. Уж сколько кругов Монгол навернул, пока до тебя добрался...

— Ну и при чем тут все-таки я?

— А ты, юноша, в самом что ни на есть эпицентре. Ты оказался именно в том месте, куда упал камень. Так если и везет, то раз в жизни. Монголу вот повезло. Он тебя нашел и правильно сделал. Не торопился, думал. Когда пришлось кое-что подправить, отправил тебя вниз, — старик снова ткнул пальцем в сторону асфальта, — туда, где волны тише. Уговорил Ниху открыть тебе его тропы. Но крысочеловечишко себе на уме, непредсказуем, мерзавец. А какой славный мальчуган был сначала... Пока ты бродил там, Монгол понял, что самому ему не справиться. Или это он позже понял, во второй раз... Ну, неважно. Главное — он рискнул, ушел низами в другую волну. Времени у него особенно не было, искал того, с кем уже приходилось работать. Монгол понимал, что тот, другой курьер, не сможет сыграть главную скрипку. Но на вторых ролях выступить мог, причем как никто другой. Кто ж катакомбами пройдет, если не ваш брат курьер? То-то... Только и ты оказался тот еще орешек, раньше времени из катакомб начал выбираться. Там вы и должны были с тем курьером пересечься. Только ведь по-писаному не все выходит. Монголу пришлось юлой вертеться. Только он того курьера выследил, как понял: надо возвращаться. Средств Монгол не выбирал — времени не было. Слишком ты, юноша, тороплив оказался. Потому, когда ты из угодий Ниху-то выбрался, пришлось Монголу попугать тебя.

— Вот черт, — пробормотал я. — Значит, это Монгол в меня стрелял?

— Он самый, — закивал старец. — Само собой, убивать он тебя не собирался, так, крылья подпалить. И то верно, разлетался ты к тому времени. Немного, конечно, не по-монголовски вышло, ну, так на то ты и главный герой, чтоб свою линию гнуть. А все равно время Монгол выиграл, пока ты в больнице лежал, — это, кстати, он на тебя патруль навел, иначе как пить дать съели бы тебя монахи, — Монгол все дела успел обделать. Нашел одного старого, еще по студенческим временам знакомого, и оставил ему груз — пакет с твоим барахлом. Что уж особенно символичного в нем было, я так и не понял, юноша, думаю, ты и сам толком не разобрался, но тут уж не мне судить. И курьера того Монгол нашел и уговорил его помочь. Своеобразно уговорил, прямо скажем. Там тоже история славная была, но тебе до нее дела нету. Потом, правда, вышла загвоздка. Уж что там внизу с тем курьером было, я не знаю, у меня как раз смена на Пристани была. Но я подозреваю, что он встретил там Монгола, вернее, еще одного Монгола. Может, того, что был раньше, а может, того, что будет позже, — тут сам черт ногу сломит. Но тот, второй Монгол, если он был, конечно, отправил курьера прямиком в волну Архивариуса. На кой ляд курьер отдал ему пакет, я и сам не знаю... И Монгол не знал, но пришлось ему с этим делом повозиться. Он даже письмо от имени этого идиота Пинаса составил, чтоб события ускорить. Это было как раз в те дни, пока ты отсиживался на МКАДе. Ну, как бы там оно ни было, а Архивариуса ты все же встретил. И он отдал тебе пакет. Все, что тебе оставалось — перейти мост и встретить Тварь.

— Зачем?

— А затем, чтоб новый камень упал в воду и пошли новые круги. Всегда есть люди, которые идут против волны, не согласные просто жить по кем-то другим написанным правилам. Которые пытаются написать свои. Глупо, конечно. Вот и Монгол такой. И Душегубец. Кстати, этот Душегубец чуть все карты не попутал. С ним вообще-то темная

история. Он был изначально вроде тебя, просто главным героем в какой-то совсем уж далекой волне. Только тут есть казус один хитрый. Получается, что чем дальше волна, тем она ближе. Это как когда абсолютный плюс равен абсолютному минусу. Как уж получилось, что Душегубец поперек волн пошел, не знаю. Хотя догадка имеется.

Слепой Сторож остановился, чтобы перевести дыхание, а я, наконец, прикурил. Солнце окончательно скрылось за горизонтом, и темная синева отвоевала большую часть неба. Стояла обычная ночь середины лета. Спасская башня не приблизилась ни на шаг.

— Думается мне, — заговорил снова старец, — что там, где появляется Монгол, непременно должен появиться и Душегубец. У каждого Каина свой Авель. Для равновесия, что ли... Природе, юноша, свойственна гармония. Природе любой истории. Монгол хотел создать свою волну, а Душегубец — погасить волны. На самом-то деле, если копнуть поглубже, что то, что другое — одно, но Душегубец с Монголом знать об этом не могли. Я знал. Но меня они спрашивать не стали. Да и ладно. Всему свое место и свое время. Так вот, в тот момент, когда ты переходил мост, появился Душегубец и убил тебя. Последним патроном и убил. Мастак он в этом деле был, не чета многим. А потом и Монгола прирезал в придачу да и скормил Ниху.

— Подожди, старик, как же убил, если...

— А вот так, юноша. Как есть и убил. Голову тебе разворотил и на дно Москвы-реки отправил.

— Не понимаю...

— А что понимать-то? Пуля в голове — самая понятная штука. При любом, надо заметить, дискурсе. И пришлось Монголу в самое начало волны возвращаться и начинать все заново. Только уж на этот раз под пулю встал он. Каин и Авель, то-то же. Вот и выходит, что стал этот мост не то Калиновым, не то Каиновым. Хотя я уже говорил — суть одна и та же. Монгол и Душегубец братья, ни у того, ни у другого выбора не было. А там, где нет выбора, выбрать особенно трудно, да...

Как только Слепой Сторож договорил, я понял, что мы стоим рядом со Спасской башней. Расстояния наигрались всласть и отправились на заслуженный отдых.

— Твоя история, — усмехнулся, глядя в пространство, старец, — заканчивается. В отличие от ее. — Узловатый палец ткнул в направлении лежащей в руинах Москвы. — Ее история не закончится никогда. Иначе и воду мутить не стоило, не так ли? Ведь герои могут меняться, но Тварь должна жить...

Там, за расколом Москвы-реки, лежал разрушенный, но отнюдь не поверженный город. И как бы цинично это ни прозвучало, во всей этой руинности чувствовалась некая рутинность. Как будто каждая воронка от взрыва, каждый скол на стенах от недавних осколочных ливней, каждая борозда в асфальте с привычной лентой говорили: «И это тоже пройдет». Хотя говорила это, конечно, сама Москва, вполне победимая, но и бессмертная: «И это тоже пройдет, а я останусь». Я вдруг вздрогнул, вспоминая японца. И как он говорил о Пинасе, освободившем Тварь, которая позже пожрала его... Пинасе, который ненадолго освободил Москву от манипул Фальстата и был сожран собственным войском.

— Так и есть, — просипел старик, — все пройдет, а она останется. Она — это камень, достигший дна. Она, юноша, это город вне истории и историй, просто город, просто жизнь. Плохая ли, хорошая, тут не нам с тобой судить. Да и разная она все время. Вот вернется Бог, ему и решать. А ты пока загляни-ка. — Старик кивнул на башню, и я оглянулся.

То ли я был так увлечен рассказом старика, то ли этой несурзной, совершенно неуместной в бурокирпичной кремлевской кладке двери до этого момента и не было вовсе — клянусь, я готов поверить во что угодно. Но когда я обернулся, то увидел, что в камень вмурованы постаревшим, идущим трещинами бетоном стальные петли стандартной вагонной двери. И старик ткнул своим пальцем, так похожим на палец грифа, в стекло с закругленными углами:

— Загляни-ка, герой, загляни.

Я подошел вплотную к двери и заглянул. Хотя, в общем, уже знал, что увижу. Там, за

дверью, в прокуренном тамбуре стоял я. А впрочем, я ли? Просто знакомый человек из зеркала, который шевелил губами, словно разговаривал сам с собою.

— Круги, юноша, они круги и есть, — проговорил старец, — рано или поздно, в самом конце непременно вернешься к началу... Это как в книге — дочитал героя до конца, отправил его тем самым в начало. Да. А теперь можешь спрашивать о Твари.

— Ее не было, да? Никакой Твари не было?

— Ты не перестаешь меня удивлять, — недовольно покачал головой Слепой Сторож, но готов поклясться, что слепые глаза его в тот момент улыбались, — как же это не было, если и ты ее видел, и она, — кивок в сторону Москвы, — тоже?

— Я не понимаю...

— Да что тут понимать? Здесь твоя история кончилась, там — еще не началась. Твое время и твое место — там. Правда, ты уже не будешь главным героем, но не все же коту масленица.

— Я не понимаю, — снова повторил я, и в этот момент тучи в небе разошлись и выглянула ослепительно яркая полная луна, бросив на стены Спасской башни две тени: сгорбленную тень старика и мою — тень вздыбившегося на задние лапы варана.

— Без Твари никак, — улыбнулся Старик. — На-ка вот, это тебе. Пригодится.

Слепой Сторож протянул мне второй вакидзаси. Я медленно надел оба клинка: красный — за правое плечо, черный — за левое. Вакидзаси — непарное оружие, но тут уж дело вкуса.

— Я могу отказаться?

— В принципе можешь, — кивнул Слепой Сторож. — Но для начала тебе придется уговорить их.

Я обернулся, чтобы посмотреть туда, куда смотрел лишенными зрачков глазами Слепой Сторож Пристани.

Они медленно шли по Красной площади, и яркий лунный свет серебрил их катаны. Семь Братьев Драконов, те, кого призвали убить Тварь, и те, кто постарается сделать свое дело. Если получится.

— Значит, выбора у меня нет, — понял я.

— Нет, — покачал головой старец. — Истории должны начинаться и заканчиваться. Хотя на самом деле ни то ни другое — невозможно. Круги — они на то и есть круги.

Я кивнул, снова оглянулся на Братьев Драконов. Я знал их поименно. Камбэй, Кацусиро, Ситиродзи, Горобэй, Хэйхати, Кюдзо, Кикуджиро. Каждый мальчишка знает эти имена. По крайней мере в моем времени и там, где, как я считал, мое место. И еще я знал, что:

Первым будет Хэйхати...

Потом Горобэй...

Затем Кюдзо и Кикуджиро...

Но останутся еще Камбэй, Кацусиро и Ситиродзи. И сделают свою работу, иначе они не были бы легендами. А значит, во всем этом не будет смысла. Для меня. Старик оказался прав.

— Ладно, — сказал я, — увидимся.

— Торопись, как всегда, — усмехнулся Слепой Сторож. — А вот этот конвертик тебе не знаком? Нет желания черкнуть пару строк приятелю?

Старец протянул мне конверт. Тот самый конверт, который передал мне во время возвращения из больницы Монгол.

— Я не знаю, что писать, — пожал я плечами. Теперь оба они были покрыты одинаковыми роговыми наростами. — И не вижу смысла. До встречи, старик.

— Ты молодец, — сказал старик.

— Почему?

— Потому что труднее всего сделать выбор там, где выбора нет...

В тот момент, когда Братья Драконы внезапно бросились в мою сторону, преодолевая пространство мелкими, но стремительными шагами опытных воинов, я отвернулся от Слепого Сторожа и толкнул дверь. Ведь истории никогда не заканчиваются. Тут старец был

прав. Истории никогда не заканчиваются, просто всему свое место и свое время.
Свое место.
И свое время.